



МОСКВА

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

1979

ШАРАФ
РАШИДОВ

СОБРАНИЕ
СОЧИНЕНИЙ
В ПЯТИ
ТОМАХ

МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1979

ШАРАФ РАШИДОВ

СОБРАНИЕ
СОЧИНЕНИЙ
В ПЯТИ
ТОМАХ

ТОМ ВТОРОЙ

СИЛЬНЕЕ БУРИ

РОМАН

Авторизованный
перевод с узбекского
Ю. КАРАСЕВА

МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1979

С (Узб) 2
Р 28

Художник
П. ПИНКИСЕВИЧ

Р $\frac{70303-180}{028 (01)-79}$ подписное

© Иллюстрации. Издательство
«Художественная литерату-
ра», 1979 г.

СИЛЬНЕЕ БУРИ

РОМАН



ГЛАВА ПЕРВАЯ
УРЮК В ЦВЕТУ

Муратали проснулся, как всегда, на рассвете. Он спал во дворе, на высокой суге, и первое, что он видел по утрам, были длинные, раскидистые ветви урюкового дерева. Сквозь листву проглядывало темно-голубое небо с последними тускнеющими звездами.

Некоторое время Муратали лежал, любуясь цветущим урюком. Цветы сливались в бело-розовое облако, скрывавшее робкую зелень листьев, только что вылупившихся из почек. Это дерево посадил еще отец Муратали, самый бедный из всех дехкан Катартала. Лишь в конце жизни, когда он вступил в колхоз, довелось ему узнать, что такое счастье.

Глядя на склонившиеся над ним ветви урюка, Муратали вспоминал слова, сказанные отцом перед смертью: «Моему урюку — сто лет цвести, сто лет обильно плодоносить. И ты, сын мой, живи сто лет, и пусть твой труд тоже одарит людей щедрыми плодами...»

Каждый день начинался для Муратали одинаково: мягкая рассветная мгла, ветви урюка... Он привык к этому, и, если бы, проснувшись, не увидел над собой этих ветвей, жизнь показалась бы ему неуютной, оскудевшей.

Нынче день предстоял хлопотный. Муратали быстро оделся, погремел пестиком рукомоиника, пристроенного под урюком, и отправился за водой.

Дом Муратали притулился на склоне одной из гор, у подножья которых, словно в чаше, лежал кишлак. Далеко вгору, меж склонами, протекала река. Начало свое она брала высоко в горах, по пути прихватывала студеной воду горных ключей, отпивала из прозрачно-бирюзового озера, рожденного множеством маленьких родников. По озерным берегам густо разросся тал; оттого и само озеро, и речка, и кишлак пазывались Катартал.

Речка была маловодна, а летом и вовсе пересыхала. Старики, собираясь по вечерам потолковать о том о сем, подышать свежим и чистым, льющимся с гор воздухом, с сожалением говорили: «Если бы и воды, как воздуха, было у нас вдоволь, мы превратили бы наш Катартал в цветущий сад!» Они завидовали алтынсайцам, разбившим у себя сады, цветники, огороды; им хотелось, чтобы и их кишлак утопал в зелени. Но для этого нужна вода, а воды не хватало. Лишь в немногих дворах одиноко высились плодовые деревья: они и скрашивали пейзаж и в то же время оттеняли его суровое однообразие. Самым большим, самым красивым было урюковое дерево Муратали, но сколько труда и времени уходило у старика на то, чтобы растить его и холить! Если бы Муратали каждое утро и каждый вечер не спускался к реке, не носил из нее кувшинами прохладную воду и не поливал дерево, оно давно бы высохло. Особенно трудно старику приходилось летом, в жаркие, добела раскаленные дни, когда солнце с ненасытной жадностью высасывало из озера и реки всю воду. В такое время, рано утром, Муратали отправлялся за водой в горы. Он переходил от одного родника к другому, бережно, стараясь не потерять ни капли, нацеживал в кувшины драгоценную влагу. Старик порой сам томился

от жажды, но не было дня, чтобы он не напоил дерево, посаженное отцом.

В то утро, держа в одной руке глиняный кувшин, а в другой — медный, Муратали осторожно спустился по узкой извилистой каменной тропинке к реке и наполнил кувшин водой. Подниматься обратно было труднее. Рассвет лишь брезжил, старик смутно различал на крутой тропе серые, влажные от росы камни. Он шел медленно: с каждым шагом нести кувшины становилось тяжелей. Белая рубаха на старике взмокла от пота. Уже у самого дома Муратали поскользнулся и упал. Глиняный кувшин раскололся, а медный, выскользнув из ладони, со злорадным дребезжанием покатился вниз по камням тропы. Муратали, поднимаясь, охнул от жгучей боли: он содрал кожу на локтях, на коленях. Вытерев рукавом лицо, обтерев о штаны мокрые руки, ворча и вздыхая, старик поплелся вниз искать кувшин. К счастью, кувшин не докатился до реки, застрял в прибрежной гальке. Муратали снова наполнил его водой и снова стал взбираться вверх, но уже не по змеистой тропинке, а напрямик, по крутому склону. У него ныло все тело, кувшин оттягивал руку, но досада придавала старику силы, и Муратали упрямо карабкался, хватаясь свободной рукой за редкие кусты, за каменные выступы. Вот наконец и дом! Муратали толкнул ногой калитку и вошел во двор. Налив неполный чайник, он поставил его на огонь, а остальную воду отнес заветному дереву.

Злость его не проходила. Он открыл дверь в комнату дочери. Михри спала сладким сном. Старики сердятся, когда их дети слишком долго нежатся в постелях, а Муратали в то утро надо было к тому же сорвать на ком-нибудь свою досаду. Он понимал, что дочери следовало хорошенько выспаться: она задержалась вчера на комсомольском собрании, вернулась за полночь, — но дурное настроение взяло верх над отцовским сочувствием.

— Эй, вставай! — крикнул Муратали. — Разоспалась! Меньше надо разгуливать по почам.

Отец по утрам часто бывал не в духе, но Михри не обижалась — каждый день он вставал ни свет ни заря, хлопотал по двору, а потом до позднего вечера работал в поле. Наматается за день, а отдыхом так и не насладится: стариковский сон короток. Так можно ли обижаться на него за сердитое ворчанье, которым он иногда облегчал душу?

— Вставай, вставай! — торопил Муратали. — Небось опять разгуливала со своим Керимом! Тебя уже не раз с ним видели. Смотри, дочь, осрамишь меня на весь кишлак!

Когда отец ушел, Михри не спеша оделась, заплела длинные косы, бегущие по спине двумя тугими черными струями, умылась, взяла вешик и, не слушая отцовских попреков, принялась подметать двор.

Видя прилежание дочери, Муратали успокоился и с тайным удовольствием оглядел свои скромные владения. Двор, такой крохотный, что летом его покрывала тень урюкового дерева, окружен дувалом из горных камней разных оттенков и размеров. К дувалу прижался огорожок; скоро он зазеленеет всходами лука, помидоров, пряного, пахучего райхона, душистого джанбыла, а также хны и усьмы — забавы молодых девушек. Взгляд Муратали задержался на урюковом дереве...

Могучее дерево — гордость хозяина — покровительственно распростерло свои ветви над цветниками, над супой, покрытой огромным выцветшим ковром, над низеньким ветхим домом, слепленным из глиняных катышей. И двор и дом постороннему человеку показались бы неказистыми, но для Муратали они дороже всего на свете; и где бы он ни был — он, как о самом родном и желанном, вспоминал о доме, о сандале, на котором можно понежить старческие кости, о своем урюковом дереве. И эти воспоминания согревали сердце.

Покончив с уборкой, отец и дочь позавтракали на супе. Хлопковые поля находились за несколько километров от Катаргала. Дорога туда была ровной, удобной, но, чтобы вовремя попасть на свой участок, Муратали приходилось выходить из дому пораньше. Правда, он уже привык к большим расстояниям: пшеничные поля, где он работал до освоения новых земель, находились далеко за горой, и добираться до них было еще трудней, чем до нынешнего участка.

Утро разгоралось. Небо над горами окрасилось в нежно-алый цвет. В ущельях и лощинах лежал розоватый, чуть подсвеченный лучами восходящего солнца туман, но уже открылись взору вершины дальних гор, и на них сверкали снега, словно золотые узоры на бухарской тубейке.

Поднявшись на супу, чтобы убрать посуду, Муратали так и застыл, словно зачарованный, глядя вдаль, в ту сто-

рону, где раскинулись колхозные земли. Отсюда, с глиняной супы, хорошо видна была дорога, тянувшаяся от Картартала до Алтынсая. Сколько раз проходил он по этой дороге, размышляя о предстоящем дне, планах и делах бригады.

Даже отсюда видно, как осторожно пробирается между горами дорога. Вот она миновала Ширинбулак. Вот наконец вырвалась на простор, пересекла серую ленту шоссе и устремилась к алтынсайским хлопковым полям. Полей этих Муратали отсюда не видит: они расположены чуть правее, за выступом горы. Перед глазами у него — только степь, вызеленная первой травой, усеянная пестрыми цветами. Чем дальше, тем суше земля; она опалена дыханием Кызылкумов, насквозь продута зпойными ветрами. Почва здесь твердая, комковатая, покрыта лишь жалкими пыльными вихорками полыни. Это целина. А за ней — красные барханы пустыни, которая уходит далеко-далеко, за туманный горизонт, и потому кажется бесконечной.

Целина... Земля, веками ждущая хозяина. Муратали вдруг вспоминаются слова секретаря райкома партии Джурбаева, с которыми он в прошлом году обратился к колхозному собранию: «Вы сняли богатый урожай с недавно освоенного Алтынсайского массива. Попробуйте теперь поднять всю целину — и она одарит вас еще щедрее. Целинные земли хранят клад, который всех нас — навечно! — делает зажиточными».

Все это — и хлопковые поля, и целинная степь — тоже владения Муратали. Он еще раз окинул их хозяйским оком, подумал о том, сколько труда придется положить, пока откопают они бесценный клад, и вдруг спохватился, что опаздывает на работу. Михри, поджидая отца, уже стояла за калиткой. Муратали отнес в дом посуду, вскинул на плечо кетмень и заспешил было к дочери, но не успел сделать и нескольких шагов, как калитка отворилась и во двор вошел давний приятель Муратали — Гафур. Муратали остановился, ошеломленно уставившись на нежданного гостя. Он давно не видел Гафура и с трудом узнал его...

Одежда гостя являла собой диковинное зрелище. На ногах старые калоши, густо оплетенные веревками. В старые шерстяные носки заправлены добела выцветшие, заляпаные грязью солдатские брюки. Ватник поновей и по-

крепче брюк. А весь этот маскарадный наряд венчала совсем новая, видно только что купленная тибетейка.

Гафур подождал, пока хозяин вдоволь насмотрится и надивится, оскалил в улыбке желтые зубы и шагнул навстречу Муратали. Друзья обнялись и только после этого поздоровались за руку.

— Ай, хорошо, что вернулся! — радостно воскликнул Муратали. — Давно на воле?

— Да уж порядочно. Помотало-таки меня по белу свету, а теперь вот в Алтынсай решил вернуться. Вчера тут объявился. — Гафур нахмурился. — Думал, хоть дома отдохнуть душой и телом. Думал, племянница пожалеет меня, протянет руку помощи. Да не тут-то было! Шел к родным, а встретили, как чужого...

— Подожди, дорогой! Ты же отсидел сколько полагается. Что было, то прошло. Неужели Айкиз до сих пор не может забыть о прошлом?

— Какое там! Сама же оклеветала меня, упекла в тюрьму, а теперь и знать не желает. Каменное сердце у нее, каменное!

Муратали слушал, недоверчиво покачивая головой, а Гафур, приняв это за выражение сочувствия, распалившись, в мрачных красках расписал свою встречу с Айкиз.

А встреча эта произошла так. Айкиз занималась своими делами в сельсовете, когда к ней неожиданно-негаданно заявился Гафур. Он был пьян, еле держался на ногах. Уставившись на Айкиз налитыми злобой глазами, Гафур насмешливо прохрипел:

— Ну, здравствуй, племянница! Чего же ты не навещала своего несчастного дядюшку, не носила ему передач? А?

Айкиз, не протягивая руки, кивнула на стул.

— Садитесь, пожалуйста, и объясните, что вам от меня надо.

Гафур покачнулся, оперся руками о стол и, приблизившись к Айкиз, дыша ей в лицо винным перегаром, зашептал с ненавистью:

— Чего мне надо, племянница? Ты разлучила меня с друзьями, с домом, сделала несчастным, опозорила, а теперь спрашиваешь, чего мне надо? Меня нынче и родной сын знать не хочет! Обида кипит у меня в душе!

Взгляд его помутнел, губы дрожали... Айкиз, стараясь сдерживать себя, примирительно предложила:

— Сядьте, успокойтесь. Чтобы излить свою обиду, не было надобности являться сюда пьяным.

Гафур совсем было уже сел, но при последних словах Айкиз подскочил, словно на стуле лежали горячие угли.

— А ну покажи свою власть, племянница! Позови милиционера, вели снова отправить меня в каталажку. Скажи им: твой дядя — преступник, он на радостях выпил лишнее!

Айкиз, не обращая внимания на разбушевавшегося Гафура, писала что-то в блокноте, а Гафур, совсем потеряв самообладание, стукнул кулаком по столу и крикнул:

— Эй, племянница, слушай меня! Разве я убрал твой ячмень незрелым? В чем-нибудь провинился перед тобой? Нет, племянница, это ты у меня в долгу! Это ты бросила в родного дядю камень клеветы! Но помни: я не робкого десятка!

Айкиз невесело усмехнулась. Она-то думала, что Гафур после всего, что с ним случилось, образумится. Ведь он сам признался в суде, что воровал колхозный хлеб. Признался, да, видно, не раскаялся и все это время копил в своем сердце темную, мстительную злобу, которая хлестала сейчас через край, словно мутный арык после ливня. Подняв голову от блокнота, Айкиз по-прежнему спокойно спросила:

— Что же все-таки вам от меня надо?

Спокойствие племянницы обезоружило Гафура. Он приутих и попросил, чтобы Айкиз подыскала ему какую-нибудь работу, полегче да поспокойнее, ну, хотя бы на мельнице, подальше от людских глаз. Айкиз смогла пообещать ему только одно: после того как его примут в колхоз, ему разрешат наравне со всеми работать в поле. Гафур настаивал на своем, но и Айкиз не отступалась:

— Выбирайте одно из двух: или кетмень, или ступайте на все четыре стороны. Никто вас здесь не держит.

Слово за слово, Гафур опять раскричался, осыпая племянницу упреками. Тогда Айкиз сказала, что она и зпать не хочет своего дядю, а Гафур заявил, что у него нет больше племянницы. На том и расстались, Гафур бросился разыскивать председателя колхоза Кадырова, но тот задержался на ферме. Перебирая в уме, кто бы мог ему посочувствовать, Гафур вспомнил о Муратали и, поднявшись утром пораньше, отправился в Катартал.

Сейчас, рассказывая старому другу о своей встрече с

Айкиз, Гафур смочил свое повествование обильной слезой, круто посолил его вымыслом, поперчил проклятиями, и Муратали, как вежливый хозяин, отведал это одобренное острыми приправами угощение, но не выказал особенного одобрения и утешил гостя по-своему — положил ему на плечо сильную, натруженную руку и ободряюще произнес:

— Не увывай, друг, здоровому человеку любая работа впрок! На что тебе мельница? Иди лучше ко мне в бригаду. Поставлю тебя звеньевым. Наша бригада славится на весь колхоз, товарищ Джурабаев хвалил нас на районном слете.

Гафур, вздохнув, кисло проговорил:

— Спасибо, дорогой. Как ты скажешь, так я и сделаю. А уж бог тебя отблагодарит...

Михри стояла, прислонившись к калитке, читала вчерашнюю газету и то и дело с нетерпением поглядывала на отца и Гафура. Поймав один из таких взглядов, Муратали заторопился, взял Гафура за локоть и виновато сказал:

— Ты уж извини меня, дорогой, некогда мне, на работу опаздываю. Хочешь, пойдем с нами.

Прятели, беседуя, вышли за калитку и зашагали вслед за Михри. Солнце уже припекало; от молодой травы, протившейся с утренней росой, тянуло теплым ароматом. А далекая степь, чтобы напомнить о себе, выслала навстречу путникам знойный, пылкий ветерок. Гафур, щурясь от пыли, ударившей ему в глаза, усмехнулся:

— Говорят, вы скоро в пустыню жить переедете?

Муратали помрачнел.

— И до тебя дошел такой слух? Это верпо, колхозникам из горных кишлаков предлагают переселиться поближе к новым землям. Мы в этом году целину хотим поднять, — объяснил он и, кивнув на Михри, с горечью произнес: — Вон дочь моя уже записалась в переселенцы. А об отце не подумала!

Михри, слышавшая это, подошла к нему и, чуть смущаясь, с упреком сказала:

— Отец! Я же советовалась с вами...

— Советовалась! Сначала записалась, а потом пришла за советом. Стыдно, дочка! Совсем от рук отбилась...

Михри покраснела, опустила голову и упрямо возразила:

— У нас все комсомольцы подали заявления.

— Вот, вот! — вспыхнул Муратали. — Куда все, туда и ты. Отца не слушаешь! Старым людям не веришь! Ай, дочка, а если все начнут с крыш бросаться — ты тоже бросишься?

— Я и о вас думала, отец, — не сдавалась Михри. — Ведь до новых земель далеко.

— Ничего! Ноги у меня крепкие, не жалуюсь.

— Но ведь Айкиз...

— Помолчи, дочка. За то, что Айкиз подумала о целине, спасибо ей. Хорошее дело затеяла. Земля пам нужна, земли у нас мало. Но родной кишлак я не покину! Здесь могила моего отца! Здесь дом, который он строил в поте лица своего! Это земля моих предков, и никуда я отсюда не уйду. Слышала? Не уйду. И ты не уйдешь! Хоть всю бумагу испиши на заявления — все равно останемся в Катартале. Пусть переселяются Айкиз, Алимджап, Керим — со всей своей родней, близкой и дальней.

Они подошли к шоссе, откуда уже видны были недавно распаханые, отливавшие коричневым блеском хлопковые поля и кишлак, весь в легкой кисее весенней зелени. Муратали замолк. Эти поля были политы его потом; в этом селении жили люди, вместе с которыми он растил хлопок, добывал воду, добывал и растил счастье — себе, Михри, Родине. Он любил эту землю и молчанием выражал свое уважение к ней...

Путникам пришлось остановиться: у Гафура развязалась веревка на калоше. Он, побряхтывая, принялся поправлять ее, а выпрямившись, повернулся к Михри и сказал вкрадчиво, назидательно:

— Ты, девушка, не перечь отцу. Грех противиться воле старших. Вы, молодые, все торопитесь, мчитесь сломя голову куда глаза глядят. Ты не спеши, обдумай все хорошенько, прислушайся к мудрым речам отца. Куда ты тянешь его? В голую степь? Да там только беркутам приволье. — Гафур сердито засопел и хмуро добавил: — Вашей Айкиз лишь бы перед начальством выхваляться. Но дехкане — они не дураки, их в пустыню силком не затащишь. Я сказал — ты увидишь.

— Вы же не знаете, сколько уже подано заявлений. Гафур махнул рукой.

— Заявление что? Пустая бумажка! Народ еще оду-

мается. Кому охота бросать свой очаг? И мой тебе совет, девушка: возьми свое заявление обратно. Не огорчай отца.

— Да как же я...— задыхаясь от волнения, сказала Михри, но отец гневно оборвал ее:

— Молчи, бесстыдница!

Михри, побледнев, плотно сжала губы и так дошла до хлопковых полей, не вымолвив ни слова.

ГЛАВА ВТОРАЯ СВЕТЛЫЙ РОДНИК

Жарко... Полуденное солнце, словно забыв, что сейчас лишь весна, а не лето, палит вовсю. Айкиз вернулась из района, проскакав на Байчибаре несколько километров. Лицо ее покраснелось. Спешившись, Айкиз привязала коня, а сама направилась во двор, к арыку, освежиться после долгой, знойной дороги. Во дворе было прохладней... Легкий горный ветерок шевелил молодую листву тополей и тала, колыхал цветы, разнося по всему двору густой дурманящий запах. Близ арыка, среди цветов, в тени шелковицы стояла широкая деревянная кровать. Умывшись студеной водой из арыка, Айкиз присела на кровать и задумалась... Когда устанешь и разомлеешь от жары, хорошо сидеть вот так, не двигаясь, наслаждаясь покоем и прохладой, смотреть на воду, по которой крохотными белыми челнами плывут лепестки яблонь, и не спеша думать, вспоминать...

Глядя в арык, она думала о муже своем, Алимджане, а горный ветерок и журчащая арычная струя словно подпевали ее мыслям, прозрачным и чистым, как вода в арыке, на дне которого ясно виднелись разноцветные камешки.

Алимджан был сейчас далеко. Два года назад он поступил на заочное отделение института и недавно уехал на весеннюю сессию. Он часто писал Айкиз, и каждая строчка его писем дышала заботой и любовью; но письма не могли замечать самого Алимджана. Айкиз припомнились долгие вечерние беседы здесь, дома, встречи с мужем в сельсовете, в правлении, в поле. Он делил с Айкиз ее радость, спешил ей на помощь, когда было горько и трудно. Вместе, рука об руку, боролись они за обновленный Алтынсай, и любовь, наполнившая их жизнь новым счастьем, придавала им сил, веры и отваги; ведь любовь подобна

светлому роднику, бьющему из глубин земли: он превращает пустыню в сад, паливает соками цветы и деревья, он творит весну.

Как хотелось Айкиз, чтобы муж был сейчас рядом! Именно сейчас, когда приняла она на свои плечи великую заботу...

Дело в том, что слова Джурабаева о кладе, который таит в себе целинная степь, запомнились не только старому Муратали. Над ними задумалась и Айкиз. Песколько лет назад алтынсайцы провели к своим полям воду, и земля отдала им богатым урожаем. Но рядом с напоенными влагой полями лежали другие; там гулял только колючий ветер да горькой сиротой чахла под солнцем полынь. Айкиз верила: эту не тронутую плугом землю тоже можно покрыть ковром хлопчатника. При малых затратах колхозы ее сельсовета получили бы большие доходы.

В конце зимы Айкиз стала подолгу пропадать в степи. Каждый раз, останавливаясь у полезащитной лесной полосы, зеленевшей на рубеже степи и пустыни, неприветливо смотрела она на подернутые крупной рябью барханы; на рыжих медлительных орлов, старожилов пустыни; на пятна соли, белой коростой выступившей на теле Кызылкумов.

Когда-нибудь и пустыня будет побеждена, но начинать надо было с целинной степи. И начинать немедленно, уже этой весной. Наизусть заучив каждую морщинку в степи, Айкиз повела туда отца и инженера Смирнова. Поддержка старого Умурзака-ата, у которого был большой жизненный опыт, и знающего русского ирригатора укрепила намерение Айкиз. Она посоветовалась с Джурабаевым, и тот поручил ей, Смирнову и Погодину, незадолго перед тем назначенному директором МТС, разработать и представить на бюро райкома конкретный план освоения целины и переселения колхозников из горных кышлаков на новые земли. В помощь этим энтузиастам по просьбе Джурабаева была выделена группа инженеров-проектировщиков.

Когда план был составлен, Айкиз, Погодин и Смирнов подготовили докладную записку. Ее обсудили сначала на бюро колхозной парторганизации, потом — на правлении колхоза.

Бюро и правление одобрили план. Лишь Кадыров сидел молча, мрачно нахохлившись, исподлобья, с затаенной неприязнью поглядывая на Айкиз, увлеченно говорившую

о выгодах, которые сулит колхозу освоение целины. Кадыров не выступил ни за, ни против, ограничившись брошенной с места насмешливой репликой:

— Мышь и без того еле пролезает в пору, так еще решила прицепить к хвосту решето!

Айкыз удивилась этим словам. «Кто-кто, а ведь Кадыров лучше всех должен понимать, что даст колхозу освоение новых земель,— подумала она.— Неужели он и теперь не понимает, какое это доброе дело для людей?»

Когда колхоз осваивал Алтынсайский массив, Кадыров тоже не скупился на насмешки, на мрачные пророчества и не очень-то скрывал свои сомнения в том, что колхозники найдут воду и вырастят хлопок на растрескавшейся от зноя земле. Однако пророчества его не сбылись: дружный коллектив алтынсайцев добился своего, а Кадыров, авторитет которого в глазах колхозников очень упал, получил нагоняй. И если бы не вмешался новый председатель райисполкома Султанов, горячо вступивший за Кадырова, тому пришлось бы расстаться с председательским постом. Но все обошлось для него благополучно, постепенно он снова обрел спокойствие и уверенность в себе. Колхоз рос, набирая силы; а ведь это он, Кадыров, был председателем колхоза; и когда заходила речь о колхозных достижениях, Кадыров самодовольно заявлял: «Мы прорыли канал!.. Мы нашли воду!..»

Кадыров привык к почетному положению председателя крепкого колхоза. Он пожинал урожай, возвращенный другими, но совесть его была спокойна: нельзя же отделять себя от колхоза, рассуждал он. В конце концов Кадыров сам уверился, будто все, что сделали колхозники, они сделали при его энергичном, непосредственном участии, и окончательно успокоился. Теперь он прочно сидел в седле, прочпей, чем прежде, и считался с ним больше: из председателя колхоза-средняка он вырос, согреваемый лучами чужой славы, в руководителя большого хлопкового хозяйства. Перемены в его положении сказались даже на его внешности: в ремне, перетягивавшем черную шерстяную гимнастерку, пришлось проколоть не одну новую дырочку; лицо округлилось; подбородок утrojился; глаза превратились в узкие щелочки, а на них все напористей напоззали упругие подушки багровых щек. Изменилась и мапера Кадырова говорить с людьми, выступать на собраниях: он произносил слова с такой ленивой, высоко-

мерной важностью, будто давал их в долг. Впрочем, много он в долг не давал, считая, что его скупые реплики весят больше, чем иные длинные речи.

Словом, Кадыров преуспевал.

А люди говорили о нем по-разному, ведь людские толки — что степь: тут и колючка тебе попадет, и горькая полынь, и яркий, радующий глаз цветок, и мягкая трава, раболепно стелющаяся под ветром... Так и в Алтынце. Многие поговаривали, что председатель зазнался, забыл о своих промахах; Кадыров возражал на это: «Да, я ошибался, верно! Но я признал свои ошибки. С тех пор выпало много снега, и он замел все следы».

Нашлись и подхалимы, восхвалявшие опыт и бескорыстие председателя. С ними Кадыров, конечно, не спорил, только улыбался благосклонно.

Айкиз не по душе было самодовольство Кадырова. Но в то же время она и радовалась: ведь то, что Кадыров кичился успехами колхоза, означало признание им правоты Айкиз. Он сам, своими глазами увидел, как мечты, по его словам несбыточные, стали реальными свершениями, он примирился со своим недавним поражением — а это, право же, хорошо! И пусть он, как павлин, распускает хвост веером, пусть украшает себя золотистыми перьями чужой славы. Ей, Айкиз, слава не нужна. С нее довольно того, что мечта ее стала явью и теперь даже такие, как Кадыров, уверились в силе народа.

Она не сомневалась в том, что Кадыров с радостью ухватится за план освоения целины, сулящий новые лавры самолюбивому председателю.

И неудивительно, что реплика, брошенная Кадыровым на правлении колхоза, озадачила Айкиз. Правда, открыто Кадыров не выступал, но Айкиз, почувствовав его скрытое сопротивление, предположила, что он даст бой на бюро райкома.

Так оно и случилось... И случилось в отсутствие Алимджана. А ей так нужны были его поддержка и совет!.. У нее гора свалилась бы с плеч, если бы она даже просто увидела любимого... Она ясно представила себе, как приходит домой, уставшая от раздумий, от споров со своими противниками, а Алимджан встречает ее доброй улыбкой и, выслушав взволнованный рассказ, мягко обняв за плечи, говорит: «Ты права, моя радость... Не беспокойся ни о чем, ты права...» Боже, да ей и не пришлось бы ничего



ему рассказывать — ведь если бы он был здесь, он сам знал бы обо всем, он бы вместе с ней боролся с Кадыровым!

«Вместе...» Какое это чудесное, лучистое слово!

Айкиз вздохнула. Вода в арыке лепетала и лепетала о чем-то своем, листья тополей доверчиво перешептывались друг с другом и с ветром. У всех были свои тайны... Айкиз тоже думала сейчас о самом сокровенном, мысли ее текли в лад прозрачной струе арыка и, казалось, спешили вместе с ней далеко-далеко — к любимому, к Алимджану.

От сладких, грустных мыслей пробудил ее скрип калитки.

— Есть кто дома? Письма пужны кому-нибудь?

Айкиз легко спрыгнула с кровати и побежала навстречу юному почтальону, тощему, как голая ветка тутовника. Одной рукой он катил велосипед, призывно треща звонком, в другой держал письмо. Айкиз выхватила у него конверт, пробежала глазами обратный адрес и только после этого спохватилась и поздоровалась с юношей. Тот усмехнулся снисходительно: он еще не вышел из школьного возраста и потому ставил себя выше людских страстей. Повернув велосипед, он величественно удалился.

Айкиз, прижимая к груди письмо, поспешила в дом. Вбежав на айван, она подсела к небольшому столу и, с трудом уняв волнение, разорвала конверт.

Алимджан, казалось, догадался обо всем, что волновало Айкиз, и спешил согреть ее сердце своей любовью, своей заботой. Он пытливо расспрашивал о делах, о здоровье Айкиз и Умурзака-ата, благодарил жену за то, что она поддержала его в решении учиться; писал, что ему сейчас и трудно и радостно; жаловался, что тоскует без Айкиз, и в конце письма просил сообщить ему как можно подробнее о судьбе «целинного» плана, об обсуждении этого плана на бюро райкома.

В конверте оказалась и фотография Алимджана. Айкиз долго рассматривала ее. Алимджан за это время будто помолодел. Видно, запятия не отбили у него ни сна, ни аппетита. Лукаво щурясь, Айкиз покачала головой и погрозила карточке пальцем: «Ай-ай, дорогой муженек, уж не лодырничает ли ты в городе, уж не проводишь ли дни в легкомысленных забавах?» Но тут же и рассмеялась:

настолько невероятным показалось ей это предположение. Уж кого-кого, а Алимджана никак нельзя было заподозрить в легкомыслии. Порой он был слишком даже серьезным. И сдержанным. Мужчине ведь и полагается быть сдержанным в своих чувствах...

И Айкиз вспомнилось, как однажды осенью, уже после свадьбы, увлекла она Алимджана к укромному роднику, Ширинбулаку. Это был излюбленный ее уголок. С Ширинбулаком могло соперничать лишь миндальное деревце в горах, где встречались они когда-то с Алимджаном. В детстве она играла у родника с подругами, позднее приходила сюда собирать цветы, читать, готовить уроки.

К этому-то роднику и захотелось ей пойти вместе с мужем.

После свадьбы, как это часто бывает, любовь их вошла в спокойное, прочное русло: ведь за нее теперь не нужно было бороться и не нужно было жертвовать для нее ни временем, ни делами.

Айкиз, однако, до сих пор не могла привыкнуть к тому, что она жена, что у них с Алимджаном общий дом и ничто уже не мешает им без остатка отдавать друг другу свою любовь. В любви Айкиз к Алимджану все еще заключена была и девчоночья беспокойная влюбленность... Она любила его и сильнее, чем прежде, и в то же время так же нежно, как прежде, до замужества.

В тот день, вернувшись с работы и дождавшись возвращения Алимджана, она взяла его за руку и молча потянула за собой.

— Куда ты, Айкиз? — с улыбкой запротестовал Алимджан. — Дай хоть в себя прийти.

— Алимджан!.. Я целый день сама не своя. Так соскучилась по тебе... Пойдем... Пойдем к моему роднику. Я так давно там не была!

— Вот чудачка! Разве нам дома плохо? Ты же устала, глупенькая. До лирики ли сейчас?.. Отдохни. А я ужип приготовлю. Посидим поболтаем. Нам ведь есть о чем поговорить.

Айкиз вдруг нахмурилась, губы у нее дрогнули, а скулы, как всегда, когда она волновалась, чуть порозовели.

— Ну и не падо. Я пойду одна.

Алимджан рассмеялся.

— Девчонка!.. Ну, совершеннейшая девчонка! Вот уж

и обиделась. Губы надула. И это Айкиз, гроза бюрократов!.. Ты и с посетителями так себя держишь?

— Как сердце подсказывает, так и держу.

— Горячее, беспокойное сердечко!..

Алимджан пристально, с нежностью смотрел на жену. Как она расцвела за последние месяцы!.. Лицо пополнило, а кожа стала еще чище и прозрачней, чем раньше, и лицо от этого словно светилось... Скромное, строгое платье плотно облегалo фигуру, линии которой обрели женственную четкую плавность. А жесты, каждое движение Айкиз сохранили прежнюю девичью порывистость, которую ей далеко не всегда удавалось скрыть за внешним спокойствием.

Алимджан привлек жену к себе.

— Пойдем. Куда скажешь, туда и пойдем.— И добавил уже тише, с трудом преодолевая смущение: — Я для тебя на все готов... родная моя...

У Айкиз сразу стало весело на душе. Так уж всегда бывало: стоило Алимджану сказать о своей любви, и Айкиз тут же забывала о недавних обидах, сомнениях, усталости... Вот и сейчас лукавые огоньки вспыхнули в ее глазах, она еще крепче сжала руку Алимджана, а когда они вышли со двора, отпустила ее и озорно крикнула:

— А ну догоняй!..

— Айкиз! Народ же на улице!..

— Догоняй, трусишка!

Она припустилась бегом по дороге. На улице, вопреки опасению Алимджана, никого не было, хотя вечер только еще входил в кишлак мягкой, торопливой поступью.

Родник Ширинбулак паходился за старым колхозным садом, ближе к горам. Кристально чистая вода выбивалась из-под огромного камня, словно грудью навалившегося на родник. Вода размыла небольшую ямку и залила ее, образовав маленькое, прозрачно-радужное озерко, а из озерка узким, спокойным ручейком стекала к дороге и бежала вдоль дороги вниз, к колхозному саду, орошая ближние участки,— на большее ручейка не хватало. Летом родник был холодным как лед, а зимой его бурливая струя казалась такой теплой и сладкой, что, раз отпробовав ширинбулакской воды, уже нельзя было забыть ее вкус. Недаром народ дал роднику имя «Ширинбулак» — «Сладкий родник».

Алимджан пагнал Айкиз у самого родника. Трава вез-

де давно пожухла, пожелтела и лишь вблизи воды была зеленой-зеленой. Айкиз, которая, казалось, ничуть не устала от быстрого бега, ловко перепрыгнула через травяной коврик, остановилась на песчаном берегу родника, нагнулась над маленьким водоворотцем, светлым, незамутненным, хотя в нем, как мошкара над кустами, бестолково кружились песчинки. Подождав, пока приблизится Алимджан, Айкиз плеснула в него из пригоршни холодной водой. Алимджан отшатнулся, но тут же выпрямился и, подзадоривая жену, сказал:

— А ну еще! И попробуй теперь назвать меня трусом!

Айкиз плеснула в него еще раз. Он даже не шелохнулся. Тогда она подбежала к нему, достала платок и, обняв мужа одной рукой за плечи, бережно вытерла ему лицо и шею. И сразу у нее сладко закружилась голова...

— Алимджан!.. — горячо прошептала она. — Как я счастлива, как я счастлива, как я счастлива!

Алимджан осторожно отстранил ее, краска смущения залила его лицо.

— Не надо так, Айкиз. Это ты дала мне счастье. Но я... я не умею говорить об этом.

— И не надо уметь!.. Ничего не надо. Только будь всегда со мной. И люби меня...

Они вернулись домой поздно, шли по дороге медленно, молча, и Алимджан заботливо поддерживал жену за талию — счастливый, серьезный, благодарный... Айкиз разила его своей по-девичьи откровенной пылкостью, и у него было такое чувство, словно сегодня впервые обожгла их любовь своим чистым, жарким огнем, который не потушить никаким ветрам.

А сейчас он смотрел на нее с фотокарточки, и Айкиз говорила ему о своей любви...

«Алимджан!.. Верный, надежный друг! Мне все, все в тебе дорого — и твоя стыдливая нежность, и сдержанность твоя, и серьезность. Был бы ты другим — и я не любила бы тебя так беззаветно. Алимджан!.. Как радостно произносить твое имя! Вот я повторяю про себя: Алимджан, Алимджан! — и сердце полнится счастьем, и светлей становится вокруг, и хочется вприпрыжку побежать к Ширинбулаку, хочется улыбаться людям, хочется, чтобы все на земле были веселы и счастливы, хочется самых трудных дел, а еще хочется любви твоей, поддержки и похвалы...

Как я тоскую по тебе, верный мой Алимджан, свет очей моих, самая надежная моя, крепкая, как гранит, опора!..

Я знаю, ты не изменишь ни мне, ни высокой своей цели. И надо поскорей ответить тебе, обрадовать вестью о моем — нет, о нашем успехе!..»

Айкиз с сожалением отложила в сторону фотографию мужа и села за письмо. Некоторое время она сидела, подперев еще не остывшую щеку твердым маленьким кулачком, припоминая со всеми подробностями, как прошло заседание бюро: ведь в письме к мужу ничего нельзя упустить! Но вот перо быстро и уверенно забегало по бумаге.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ ПИСЬМО

«Мой дорогой, мой родной Алимджан!

Только что получила твоё письмо, а в нём и твою фотографию. Какой ты умница — ты будто видел, как мне необходимо твоё слово именно сейчас. О том, как я скучаю по тебе, как жду твоего возвращения, ты, любимый, наверно, догадываешься. Я лучше расскажу тебе, как пло обсуждение в райкоме нашего нового плана. Из телеграммы, которую я послала тебе, ты уже знаешь, что наш план утверждён. Но получилось всё не так, как мы с тобой думали. Постараюсь описать тебе, как всё проходило. Ты наберись терпения, потому что напишу я тебе такое длинное письмо, каких никогда не писала. Так много хочется сказать тебе, родной.

Бюро собралось, как обычно, в кабинете Джурабаева. Ты этого кабинета не узнал бы: его недавно побелили, убрали из него всё лишнее, он стал просторнее, светлее. На стенах — портреты. В углу на этажерке с книгами — огромный куст хлопчатника. Посередине кабинета — два стола; вместе они напоминают молоток с длинной ручкой. Один из столов — тот, что подлиннее, — покрыт повеньким ярко-алым сукном, это придает кабинету какую-то праздничную торжественность.

В окна стучали ветки яблонь; из того окна, что выходит на улицу, видна была залитая солнцем площадь с выстроившимися в ряд «легковушками». С улицы веяло вес-

ной, и на сердце у меня было по-весеннему звонко и чуть-чуть тревожно...»

В кабинете, кроме членов бюро, собрались председатели алтынсайских колхозов, директор и агроном МТС, инженеры-проектировщики, работники водхоза.

О плане освоения целины докладывал Смирнов. После первых же его слов в руках у собравшихся зашелестели блокноты: выступление Смирнова всех заинтересовало.

«Ты знаешь его манеру выступать,— с добродушной иронией писала Айкиз,— он говорит так, будто спорит с кем-то. Так и теперь: протерев белоснежным платком очки, он принял воинственный вид и ринулся в пастушество».

И дальше Айкиз подробно излагала речь инженера.

— Товарищи! — начал Смирнов. — Почему мы пришли к вам с этим планом именно сегодня? Почему не думали о целине раньше, несколько лет назад? Да в том-то и дело, что думали, по думы наши, как зимнее солнце, светили, а не грели. Район наш,— и вы это прекрасно знаете,— страдал от безводья. И только недавно мы с боем отвоевали у горных рек воду для наших полей. Но если раньше земля пропадала без воды, то теперь вода пропадает без земли! В жизни всегда так: одно цепляется за другое; мечты свершаются, а свершения рождают новую мечту. И нет остановки на нашем пути в будущее.

Взгляд Смирнова стал вдруг колючим: казалось, инженер услышал чье-то скептическое возражение. И он, насмешливо прищурясь, обратился к невидимому оппоненту:

— Но может быть, нам следует отложить это дело? Не торопиться с освоением целины? Ведь этот год не последний; в запасе у нас, как сказал поэт, вечность. Что ж, можно, конечно, и подождать, время терпит. К тому же из всех человеческих занятий ожидание — самое бесплодное. Но сколько мы будем ждать? И почему мы должны ждать? Если в запасе у нас вечность,— значит, решение того или иного вопроса можно вечно откладывать? Нет, товарищи, то, что можно решить сейчас, надо решать сейчас. Мы все обдумали, взвесили, подсчитали и пришли к выводу: да, надо поднимать целину нынешней весной. И уже следующей осенью колхозы соберут хлопка больше, чем в прошлом году. Наши люди станут жить лучше, богаче. Да и страна наша станет богаче. Имеем ли мы право лишать самих себя этого богатства?

Поспорив с безмолвствовавшей аудиторией, Смирнов внес конкретные предложения: сначала надо поднять еще на несколько метров плотину Алтынсайского водохранилища и соорудить круговую дамбу; второе, главное мероприятие — освоение целинной степи, прилегающей к тем землям, которые были засеяны хлопком прежде; а уж это выдвигает перед районом третью задачу: создать в целинной степи новые поселки и переселить туда колхозников из горных кишлаков: «Ведь там безземелье, не жизнь у них — маета!»

Указка Смирнова сповала по висевшей на стене карте. Все слушали инженера внимательно. Пристально следили за его указкой. Джурабаев задумчиво поглаживал свою рано поседевшую голову. Было тихо-тихо.

«Только яблони шелестели за окном, напоминая нам о весне, горячей поре пахоты и сева. А я еще услышала далекий, волнующий душу гул тракторов... Или мне это показалось?»

После того как Смирнов рассказал об объеме предстоящих работ, о ресурсах, о предполагаемых затратах, Джурабаев, поднявшись, спросил, есть ли желающие выступить, имеются ли вопросы к докладчику.

И тут над столом вознеслась грузная туша Кадырова.

«Прости меня, Алимджан, за эту «тушу», — оправдывалась в своем письме Айкиз. — Если бы я писала тебе до бюро, я не употребила бы этого слова. Ты знаешь, я не люблю Кадырова, но в последнее время у меня не было причин враждовать с ним.

Когда-то он сопротивлялся нашим планам, а потом стал гордиться тем, что они проведены в жизнь. Мы начали, он вместе с нами продолжил наше доброе дело. Колхоз теперь получает хорошие урожаи, и мне казалось: когда мы вступим в битву за еще большие урожаи, Кадыров поддержит нас. Ведь он понял, какие выгоды колхозу, людям, да и ему сулит освоение новых земель.

Но Кадыров... Меня насторожил уже один его вид: лицо и шея у него побагровели, на лбу выступил пот, глаза помутнели от угрюмой злобы; казалось, на него взвалили тяжеленный жернов, и он зол на тех, кто заставил его тащить эту пошу...»

Важности, однако, раис не утерял и начал свою речь в правоучительном, покровительственном тоне.

— Запасимся, дорогие товарищи, заносимся!.. Или вы забыли о прошлом? У некоторых, и верно, память короткая. Девичья память.— Это был камешек в огород Айкиз, и Кадыров даже хохотнул, но как-то неуверенно: видно, сомневался, поддержат ли его другие.— Но мы-то помним, каким крепким орешком оказался для нас Алтынсайский массив! Едва разгрызли... Что и говорить, дело мы сделали хорошее. Не пожалели пота, вырастили хлопок на новой земле!.. Но если мы каждый день будем резать по барашку, так никакого стада не хватит! Если каждый год совершать подвиги — можно и выдохнуться. Посудите-ка сами: не успели мы отдохнуть, набраться сил, насладиться плодами своего труда, и уж надо снова закатывать рукава! Может, Умурзаковой и приятно витать в облаках. Она вам пообещает звезды с неба достать! Но мы практики, а не мечтатели. На свете мы прожили побольше Умурзаковой, всякое повидали и самую приманчивую мечту прежде на зуб пробуем: не фальшивая ли?.. Ведь не все золото, что блестит.— Оратор вытер платком толстую багровую шею и, отдышавшись, продолжал: — Я, конечно, не против освоения целины, товарищи. Но целина — это вам не Алтынсайский массив: ее с наскока не одолеешь! Если даже земля там и плодородная,— а многие в этом сильно сомневаются,— то все равно: откуда мы возьмем средства, людей, машины?.. Я уж не говорю о переселении колхозников. Плохо вы знаете людей, товарищ Умурзакова! Не так-то просто сдвинуть дехкапина с насиженного места. Да к тому же, как я понял, для них надо строить новый поселок? А может, мы сегодня уж и коммунизм построим, чтобы не затягивать дело? Как, товарищ Умурзакова?.. Вам мало задач, которые стоят перед нами сегодня, вы хотите признать их у завтрашнего дня?.. Но завтрашний день торопить не надо, он сам к нам придет! И я так скажу, дорогие: протягивай ножки по одежке. Дай бог нам текущий план выполнить. А с целиной придется обождать. Живем-то и правда не последний день.

«В общем Кадыров затянул старую песню. Он все время обращался почему-то только ко мне, да еще на «вы»; но не его наскоки обозлили меня. Мне обидно, что я ошиблась в своих предположениях. Я-то думала, что Кадыров теперь с нами, а он снова встал на дыбы. И я не могу понять, почему...»

Айкиз в письме к мужу трудно было объяснить поведение Кадырова, потому что не знала она, какие чувства обуравали его душу...

Когда слова попросила Айкиз, Кадыров побагровел еще больше: казалось, с его тугих щек, с наголо обритого, гладкого, как бильярдный шар, затылка вот-вот закапает рдяная краска. Он взглянул на председателя райисполкома Султанова, который что-то писал в своем блокноте, потом перевел взгляд на Джурабаева. Секретарь райкома постучал кончиком самописки по мраморному пресс-папье, призывая к порядку (хотя в кабинете и так было тихо), и поощрительно кивнул Айкиз. Кадыров, словно ожидая удара, по-бычьи нагнул над столом голову...

Айкиз поднялась, перекинула за спину тяжелую черную косу. Во всей ее фигуре, чуть подавшейся вперед, чувствовался напряженный порыв, как у птицы перед полетом; скулы порозовели, но голос звучал тихо и спокойно:

— Признаюсь, товарищи, выступление товарища Кадырова меня озадачило. Уж кому-кому, а ему-то, кажется, известно, каких успехов можно достичь, торопя завтрашний день, стараясь приблизить будущее... Если бы мы раньше не действовали смело и решительно, если бы примерялись к старой одежке и ждали, пока яблоки сами упадут нам в рот, то в колхозе «Кызыл юлдуз» не было бы сейчас хлопка, у колхозников трудодень не прибавил бы в весе, а товарищ Кадыров надолго остался бы председателем колхоза-середнячка. Кадыров заявил тут, что он не мечтатель, а практик. А мы — и практики и мечтатели! Мы оптимисты! И мы сумеем освоить целину, товарищи! Ведь больно смотреть на эти пустынные, заброшенные и пока бесполезные земли!

Кадыров поднял на Айкиз тяжелый, угрюмый взгляд.

— Дешевою славы захотелось, товарищ Умурзакова? На словах-то не только нашу степь — все пустыни разом можно освоить! Да это ведь не плов: бери с блюда и ешь!

— А вы часто бывали в целинной степи, уважаемый товарищ практик? — вскипела Айкиз. — Вы вот сомневаетесь в ее плодородности... А мы сдавали почву на анализ и, получив результаты, даже огорчились: этакое добро столько времени пропадало даром! Степь там ровная, как ковер,

легко поддается машинной обработке. А это очень важно! Ведь техники у нас становится все больше. Мы скоро сможем механизировать все основные работы. Строительство ирригационных сооружений уже сегодня ведется машинами. МТС нам во многом подсобит. Ей ведь, по существу, и придется заниматься вспашкой целины.

— Вот-вот! — словно уличая в чем-то Айкыз, крикнул Кадыров. — Эмтэсовцам-то выгодно: знай накручивай гектары! Погодий хоть всю страну перепашет, жалко ему, что ли!

— Вы напрасно наговариваете на товарища Погодина, — спокойно возразила Айкыз. — Все знают его как директора, всей душой болеющего за общее дело. К тому же в данном случае интересы МТС совпадают с интересами наших колхозов. Так что машины у нас будут. А рабочие руки... Да ведь это уж от вас зависит, товарищ Кадыров. Вы изображаете дело так, словно наш колхоз выдохся! Да что с вами, дорогой председатель? Силы у нас неистощимы, исчерпать их нельзя, их можно только не видеть. Да, да, мы подчас ходим по золоту и не видим его. И жалуемся: мы слабые, мы бедные. А стоит пошире раскрыть глаза — и ты хозяин несметных богатств. Сколько, товарищ Кадыров, гектаров хлопка приходится на каждого трудоспособного члена вашего колхоза?

— Формально — четверть гектара.

— А фактически больше?

— А вам больше не падо, у всех и так работы по горло!

— Значит, у нас с вами хромает организация труда. Вы же знаете, что в Голодной степи на каждого приходится по два, по три гектара, и никто еще не выбился из сил! Зато трудодни там у колхозников побогаче наших и неделимый фонд у них растет быстрее нашего. А мы разве хуже?

— Длинный разговор — лишняя тяжесть для ишака, — упрямо сказал Кадыров. — У них свой план, у меня свой. И не с неба он свалился, мы его на правлении обсудили, продумали... Трудодень и у нас не бедный. Колхоз наш хвалят.

— За то, что сдает хлопка меньше, чем может? Да велика ли от этого польза и нам и государству? А трудодень... Он хоть и не тощает, да ведь и не тучнеет! Нет, товарищи, вам необходимо поднимать целину. Это общее наше желание.

— На одном желании далеко не уедешь,— опять не удержался Кадыров.

— Но и желание нельзя сбрасывать со счетов! Успех любого дела заложен как раз в желании народа, в дружной воле к победе!

«Наверно, я выступала плохо,— сокрушалась Айкиз в письме к Алимджану.— Ну, не так, как хотелось бы... Чудно получается: говоришь с человеком с глаза на глаз — и находишь простые слова, идущие от самого сердца. А начнешь в чем-нибудь убеждать собрание — и с ужасом чувствуешь: не то, не то!.. Хочешь сказать что-то свое, а с языка срываются общие фразы. Но я научусь выступать, честное слово, научусь, чего бы мне это ни стоило! Станет твоя женушка заправским оратором... Вот только, когда тебя увижу, от радости не смогу вымолвить ни слова. Буду молчать, как молчали мы, когда шли от родника домой. Помпишь?.. Ширинбулак соскучился по тебе, Алимджап!..»

Но какого бы мнения ни была Айкиз о своем ораторском искусстве, Кадырова во время ее выступления бросало то в жар, то в холод. Он не спорил с Айкиз, а лишь перебивал ее, и отрывистые реплики выдавали и его раздражение, и его неуверенность. Исподтишка он наблюдал за собравшимися: как-то они ко всему относятся? Впрочем, по-настоящему его интересовало только мнение председателя райисполкома Султанова и Джурабаева.

Султанов вел себя непонятно: он перестал писать, свободно откинувшись на спинку стула и поглядывая на всех с чувством превосходства и с какой-то даже сострадательной благожелательностью — мол, пожалуйста, говорите сколько душе угодно, только все это впустую. Он был спокоен и благодушен, но Кадыров не мог угадать, что таится за этим спокойствием. Остановив повеселевший взгляд на Кадырове — тот сидел туча тучей, и это, видно, рассмешило Султанова,— председатель райисполкома обнажил в ослепительной улыбке свои белоснежные, влажно поблескивающие зубы, но Кадыров опять не понял, что значила эта улыбка. Джурабаев тоже выглядел спокойным, но это было спокойствие серьезное, сосредоточенное. Кадырову показалось странным, что Джурабаев ни разу не остановил его, хотя, судя по другим заседаниям, он терпеть не мог, когда перебивали выступавшего, и стоило только кому-нибудь подать с места несдержанную реплику, как самописка

секретаря райкома начинала отстукивать на графине, пресс-папье или чернильнице сердитую дробь. Добрым ли предзнаменованием была сегодняшняя покладистость Джурабаева? Во всяком случае, надо было ею воспользоваться; и когда Айкиз затронула вопрос о переселении, Кадыров даже встал с места, чтобы возразить ей. Джурабаев кивнул: говори, слушаем... Однако Кадыров от этого только растерялся и, снова опустившись на стул, угрюмо пробурчал:

— Это кто же, по-вашему, будет переселяться, товарищ Умурзакова? Такие, как Муратали? Что-то не верится...

— Вот-вот! — подхватила Айкиз. — Вы говорите все это потому, что не верите в народ. Вы не видите в людях желанья жить лучше, красивей. Когда будет построен новый кишлак с удобствами, нужными людям, разве не перейдут дехкане из глинобитных старых лачуг, в которых гуляют сквозняки, в крепкие, добротные дома? А подумайте только о том, как поможет переселение развитию местной экономики, как поднимет оно культуру. Смирнов прав — в нашей жизни все связано между собой: уцепишься за ветку, а клонится все дерево. Партия зовет дехкан к лучшей жизни, а кто же откажется от хорошего? И мы уверенно смотрим в будущее. А вот вам, товарищ Кадыров, не мешало бы вспомнить о прошлом. Вы и тогда во всем сомневались. Оглянитесь назад: может, Кадыров тех дней расскажет вам о своих ошибках, поделится с вами своим горьким опытом. Поговорите с ним по душам!

Айкиз раскраснелась, глаза ее светились какой-то внутренней силой, а слова приобрели желанную уверенность. Она чувствовала, что люди внимательно, с одобрением слушают ее.

Кадыров расстегнул воротник гимнастерки. Ну вот, так он и знал! Ему уже колют глаза прошлыми ошибками! Сейчас скажут, что они его ничему не научили, что он не сделал выводов из уроков прошлого... А, будь прокляты все эти беспокойные выдумщики! Не сидится им на месте! Ведь как все хорошо шло! Ну да, несколько лет назад он допустил ошибку, но потом покаялся, и теперь ему казалось, что все неприятности позади. Колхоз вышел на одно из первых мест в районе, председатель окружен почетом, — в общем, жить бы да радоваться. Как говорится, от добра добра не ищут. Да и приведут ли к добру рискованные за-

теи? Один раз получилось, а другой раз может и сорваться. Колхозники сейчас не бедствуют. Родине колхоз тоже принесит пользу. Так нет же! Этой Айкиз все мало! Выскачка!

Но бюро слушает ее с одобрительным вниманием. Перед Джурабаевым не видно обычной горки записок: неужели никто не собирается выступать? Им все ясно, умникам! А может, поддержать Умурзакову? Поднимут они целину, и тогда на всю область, на всю республику прогремит слава о Кадырове! Да, если они эту целину поднимут... А если нет?хлопот-то и сейчас поверх головы, затылок почесать некогда. А тут новые заботы, новая ответственность. Не выгорит дело — спросят с него, с Кадырова: «А ну, товарищ Кадыров, выкладывай-ка ключи от своего стола!» Нет, рисковать нельзя. Пусть Айкиз рискует, она и не думает о том, что может оступиться. Что ж, это Кадырову на руку... Хм... А вдруг они добьются своего? Повезло же им прежде... Спасибо Султанову, это он выручил тогда Кадырова. Но теперь-то с ним не станут церемониться, пулей вылетит из председательского кресла! И откуда они берутся, эти поваторы? Вон их сколько развелось, как сорняков на заброшенном поле. Все только и мечтают о том, чтобы выдвинуться. Потому-то и носятся со своими планами. Как это сказал о них когда-то Султанов? «Гигантомания!..» Они знают, что Кадыров не пойдет на сомнительные авантюры, вот и решили обскакать его. Но Кадыров ни с кем не хочет делить власть. Он привык к тому, что колхозники при встрече с ним почтительно прижимают руку к сердцу: салам, достойнейший председатель! Он привык в кругу друзей солидно рассуждать о своем колхозе. Он привык к своему кабинету, к обжитому месту за столом президиума, к своим полям, по которым ходит медленно и уверенно, как полновластный хозяин, советуя, указывая, подгоняя... И он зубами вцепится, а не упустит председательского поста. Мы еще поборемся, товарищ Умурзакова! Еще посмотрим, чья возьмет! Там, «наверху», о затее ретивых «застрельщиков» и ведать не ведают. И неизвестно, как-то ее примут. К тому же Кадыров не один, за спиной у него такая гора, как председатель райисполкома. А у того своя гора... Что ж это он молчит?.. Ведь если бюро утвердит этот план, ему тоже придется несладко. Надо помешать им, иначе все пропало! В одиночку Кадырову с ними не справиться... Он вот сцепился с Айкиз,

и ему же надавали по щекам. Кадыров даже потянулся рукой к щеке: ух, как горит! Он чувствовал, что почва уходит у него из-под ног, и весь его вид говорил о растерянности: ведь как ни скрывай болезнь, а жар ее выдаст!

В это время Кадырову пододвинули адресованную ему записку. Он посмотрел на Султанова; тот незаметно кивнул ему и покровительственно улыбнулся. Кадыров развернул записку; в ней было всего несколько слов, выведенных уверенным, размашистым почерком: «Как думаешь — карьеристы они или педальновидные прожектеры?»

Надо сказать, что председатель райисполкома был не только спасителем Кадырова, но и его другом. Правда, это была перавная дружба: с одной стороны — снисходительное похлопывание по плечу, с другой — усиленные старания угодить; но зато держалась она на самом прочном фундаменте — на общности интересов. Султанову нужен был Кадыров, Кадырову — Султанов, и оба служили друг другу надежной опорой. Султанов, выручив незадачливого председателя колхоза, нашел в нем преданного сторонника «в народных массах». Кадыров, благодарный Султанову, видел в нем верного покровителя из «начальства». Он искренне восхищался ораторским талантом Султанова, умением в самых трудных обстоятельствах сохранять добродушие и достоинство, его усмешливым, полным уважения к себе тоном. В разговоре с людьми Кадыров невольно употреблял излюбленные жесты, словечки Султанова, а в последнее время все чаще и чаще ссылаясь на его имя: «Товарищ Султанов сказал то-то», «Товарищ Султанов дал такое-то указание».

Он понимал Султанова с полуслова и сейчас, получив его записку, расправил плечи, поудобней уселся на стуле, поднял голову. Айкиз говорила что-то о средствах на строительство поселка, о помощи государства новоселам, о задачах строительных бригад. Но Кадыров уже не слушал ее. Хозяин района не она, а Султанов, и решающее слово будет за ним. Он знает, что делать; у него — авторитет, опыт, он поставит эту выскочку на место!

Облегченно вздохнув, Кадыров спрятал записку в нагрудный карман. От нее словно исходила начальственная теплота, она согревала ему сердце. Он мало что понял из речи председателя райисполкома, выступившего вслед за Айкиз, он прислушивался с упоением лишь к бархатному

рокотанию его баритона, к насмешливой или гневной интонации восклицаний, обращенных к предыдущим ораторам, и думал блаженно: «Есть все-таки руководители, на которых можно положиться, которые способны дать по рукам — как это он написал? — ну да, педальповидным прожекторам!»

А Султанов между тем, картинно взмахивая рукой, улыбаясь то добродушно, то иронически, с удовольствием отчеканивал звучные фразы. Он любил произносить речи!

— Красно, красно говорила товарищ Умурзакова! Но очень уж благополучно у нее все получается. Сплошная идиллия: пришли, увидели, победили! А мы, коммунисты, привыкли смотреть правде в глаза. Розовые очки нам не к лицу! Конечно, как говорится в народе, правда глаза колет. Но я все-таки предпочитаю правду, а не легкомысленные прожекты!.. Как председатель райисполкома, я хорошо знаю положение вещей. Умурзакова нарисовала тут умильную картину: ворох заявлений о переселении, новый поселок; колхозники, перегоня друг друга, спешат с гор в пустынную степь! А на деле-то все не так!

— Учите силу привычки, товарищи! Мы не можем сбросить со счетов такой укоренившийся в душах дехкан «предрассудок», — Султанов усмехнулся, — как привязанность к родному клочку земли. Дехканин не перелетная птица — нынче здесь, завтра там. Он корнями ушел в землю, которую обживали еще его деды! Ему дорог родной дом, как бы плох он ни был. И ведь взамен-то ему предлагают не лучшее! Новые, благоустроенные поселки — это, конечно, красиво. Но где мы собираемся их строить? В голый, открытой всем ветрам степи... — Он потянулся было расстегнуть воротник своего кителя, но тут же отдернул руку. Хотя Султанов никогда не был на фронте, он еще с войны начал носить одежду строгого военного покроя и любил щегольнуть «военной» подтянутостью и аккуратностью: на людях, даже в сильную жару, китель его всегда был наглухо застегнут. Откинув со лба короткую прядку иссиня-черных волос, он, все больше увлекаясь, продолжал: — Почему никто не сказал, что целина граничит с Кызылкумами? А Кызылкумы — это суховеи, которые жарким своим телом навалятся на беззащитный хлопок! Это песчаные смерчи, способные все разметать на своем пути! Я знавал, товарищи, работников треста, которые запланировали артезианский колодец в таком месте, где и



людей-то не было. Вода выходила из земли, чтобы тут же снова уйти в землю. Не рискуем ли мы уподобиться таким работникам? Хлопок-то мы посеем, а убирать его будут суровые да песчаные бури! Переливание из пустого в порожнее — вот как это называется, товарищи! Народ облек меня высокой властью, и пусть простят меня авторы столь заманчивого, но рискованного плана, если я, защищая интересы народа, задел их самолюбие, если мои слова поранили их, как острое кинжала. Они затеяли вредное и опасное дело, и мой долг — сказать об этом! От нас, хлопкоробов, партия требует одного: непрерывного, постоянного повышения урожайности хлопка. Для этого мы должны более эффективно использовать наличные, уже освоенные земли!.. Прав товарищ Кадыров, освоение новых земель — это для нас дело далекого будущего. И вы, товарищ Умурзакова, — с пафосом воскликнул Султанов, — не сбивайте нас

с верного пути, не зовите в пустыню, в когти к песчаным бурям!.. Еще раз прошу, не обижайтесь на меня за прямоту. Как говорит пословица, верблюду положено быть горбатым, а слову — прямым!..

Султанов говорил долго, но его не прерывали: хоть председателя райисполкома считали краснобаем, однако речи его, цветастые, как ковер, а порой острые, словно перец, обычно выслушивались с интересом. Джурабаев в раздумье тер ладонью подбородок. Участники заседания переглядывались с лукавыми усмешками: «Круто забирает председатель!»

Кадыров уже торжествовал победу, но дальнейший ход заседания разочаровал его. Члены бюро, председатели других колхозов, которым по плану тоже предстояло осваивать целинные и залежные земли, в своих выступлениях горячо поддержали этот план. Кадыров недоумевал... Он не понял, что коммунисты района внутренне уже были готовы к этому. Они решительно встали на сторону Айкиз и Смирнова не только потому, что тем удалось убедить их, но и потому, что сами всей душой желали того же. Возражая Султанову, выступавшие указывали, что в плане учтены и суховеи, и песчаные бури, и напоминали, что красноречивый председатель райисполкома не часто выезжает в степь и о смерчах, которые не на каждый-то день приходится, знает лишь понаслышке. Впрочем, выступивших было немного. Все устали, спорить больше не хотелось. Джурабаев, оглядев собравшихся, скомкал лист бумаги, на котором набросал конспект выступления, и ограничился коротким заключительным словом:

— Это хорошо, товарищи, что мы сегодня крепко поспорили! Теперь, я думаю, всем ясно: мы должны и можем поднять целину. Вот товарищ Кадыров ссылается здесь на текущий план: мол, хватит с нас и сегодняшних забот. Есть план — вот и выполняй его. Но планы мы составляем для блага людей, товарищи! И если оттого, что мы возьмем на себя дополнительные обязательства, людям станет лучше, — надо брать эти обязательства. Хлопок, зажиточность, расцвет культуры — разве ради этого не стоит папирать все силы? Конечно, людям нашего района и сейчас живется в общем неплохо. Это верно. Но они хотят жить еще лучше. А завтра еще и еще лучше! И на этом пути к лучшему отдыхать нам некогда; народ не простит нам, если мы два года подряд простоим на одной и той же ступеньке, укра-

дем у дехканина лишний рубль, новый дом, новый клуб... Потому-то мы не можем согласиться и с товарищем Султановым. Он пытался демагогически противопоставить наше желание освоить новые земли и получить дополнительные тонны хлопка борьбе за повышение урожайности. Но разве одно мешает другому? Мы и с целины постараемся снять как можно больше хлопка! Я считаю, что товарищи, выдвинувшие план освоения целины, проявили ценную инициативу, и предлагаю распространить этот план на другие сельсоветы нашего района. Товарищ Султанов пугал нас трудностями. Спасибо, что он еще раз напомнил нам о них. Я допускаю, что товарищ Умурзакова в пылу энтузиазма несколько злоупотребила розовыми красками. Трудности будут, и надо мобилизовать народ на их преодоление; надо звать народ не только к счастью, но и к борьбе. Трудности будут, но нам ли, коммунистам, пасовать перед стихией и стариковской приверженностью к обжитым мазанкам в горах? На фронте ведь никому и в голову не пришло бы закричать: «Впереди враг, — бежим!» Предлагаю, товарищи, приступить к голосованию...

Все это было для Кадырова неожиданным и сильно смутило его. Он впился вопрошающим взглядом в Султанова. Тот после выступления Джурабаева с наигранной, веселой покорностью развел руками: что ж, приходится смириться. Однако при голосовании воздержался. А когда бюро закончилось и оба вышли на улицу, Султанов хлопнул друга по плечу и ободряюще произнес:

— Не вешай нос, раис! Как говорится, цыплят по осени считают. — Он с наслаждением вдохнул свежий, пропитанный весной воздух и предложил: — А пока пойдем ко мне плов есть. Пойдем, пойдем! Жизнь коротка, не будем терять драгоценное время!

Айкиз вышла из райкома последней. На улице уже хозяйничал вечер. Над поселком простерлось темно-голубое небо, запорошенное яркими, колючими искорками звезд. Айкиз медленно спустилась по каменным ступенькам на тротуар и едва ступила в дрожащий, радужный круг от фонаря, как ее шумной стайкой окружили девушки — подруги из Алтынсая. Со всех сторон посыпались вопросы и восклицания.

— Ой, Айкиз, а мы тебя ждем, ждем...

— Понимаешь, мы кончили работу, уговорили шофера — и сюда!

— Весь колхоз гудит как улей; только и разговоров, что о целине.

— Айкиз, как мы назовем новый поселок?

— Айкиз, Айкиз, ну как там с планом?

— Слушай, Айкиз! Давай разобьем вокруг поселка большу-у-щий сад. А то погулять будет негде: ведь голая степь кругом!

Айкиз захлестнул этот водоворот. Невольно поддаваясь общему возбуждению, она выкрикнула задорно и звонко:

— План принят, девушки! Теперь — за работу!

— А как Кадыров, Айкиз?

Айкиз со смехом махнула рукой:

— А ну его!..

— Айкиз, поедем с нами! — снова затормошили ее девушки. — Байчибара мы в машину посадим. Пускай гокается!

— Нет, девушки, у меня на утро остались кое-какие дела. Заночую здесь.

К Айкиз подошла давняя ее подруга Михри. Она тихонько взяла Айкиз за локоть и, словно ища у нее утешения, прижалась плечом к ее плечу. Айкиз с удивлением взглянула на ее опечаленное лицо:

— А ты что такая грустная? Эх, Михри, выше голову! Скоро ты станешь хозяйкой в большом новом доме. Ждать уже недолго, Михри!

Михри с невеселой улыбкой покачала головой.

— Отец не хочет переселяться, Айкиз.

И Айкиз показалось вдруг, что мохнатая звездочка, повисшая в конце улицы, над горизонтом, насмешливо подмигнула ей.

Неужели же прав Султанов? — таким тревожным вопросом заканчивала свое письмо Айкиз. — Неужели дехкане не захотят переселяться?.. Да нет, я уверена в нашей правоте, люди поддержат такое хорошее дело. Ведь это для их счастья... Но приезжай поскорей, Алимджап, родной мой, мне так тяжело без тебя...»

ГЛАВА ПЯТАЯ

КУЙ ЖЕЛЕЗО, ПОКА ГОРЯЧО

Да, письмо, как и предполагала Айкиз, получилось большое и немного суховатое. А ей хотелось вложить в него все, что так волновало ее сейчас. Перечитывая торопливо

написанные строки, она испытывала двойное чувство — в ней еще не остыл гнев против Кадырова, и вместе с тем волнующая радость от сознания, что их план одобрен, наполняла ее удовлетворением.

Вспомнив, что нужно готовить обед, Айкиз быстро развела под котлом огонь, чтобы сварить к приходу отца шурпу, которую он так любил. Не успела она вложить письмо в конверт, как во дворе показались Умурзак-ата, директор МТС Погодин и Смирнов, назначенный на бюро райкома начальником строительства.

— Принимай, хозяйюшка, гостей! — еще от калитки прогудел Погодин.

Первым на айвап не спеша поднялся Умурзак-ата, потом легко, как юноша, — сухощавый Смирнов, а за ним, гулко бухая сапогами, — Погодин. Поздоровавшись с ними, Айкиз пригласила всех во двор, к водоему, возле которого высилась застеленная ковром просторная супа.

— Вот не утерпели. Пришли посоветоваться, — сказал Погодин, переводя взгляд с Айкиз на котел с закипавшей водой. — Если варишь шурпу, советуясь с другими, она никогда не прокиснет. Правильно?

— Ты, Иван Борисыч, все наши пословицы знаешь! — улыбнулась Айкиз.

— Ну, все не все, а немножко знаю...

Смирнов с невипным видом, ни к кому не обращаясь, медленно произнес:

— Есть в Алтынсае одна девушка... Красивая, бойкая, веселая! И к тому же больша-ая любительница пословиц. Не помню только, как ее зовут...

— Уж не Лолой ли? — с лукавой усмешкой подсказала Айкиз.

— Верно, верно! Лолой! И пословицы-то я от нее слышал точь-в-точь такие, как от Ивана Борисыча!

Погодин густо покраснел, буркнул что-то себе под нос и свирепо посмотрел на Смирнова. Тот весело рассмеялся.

— Да ты не смущайся, директор, мы люди свои. Пишет она тебе?

— Пишет... — смягчаясь, сказал Погодин. — Но редко.

— Понимаю, — серьезно кивнул Смирнов, — всего один раз в день! И значит, остается спросить только об одном: когда же свадьба?

Айкиз взглянула на Погодина с ласковым удивлением. Она привыкла к другому Погодину, к шумному, крутому,

горячему. Ей странно было видеть его притихшим, застенчивым. А Погодину приятно и тягостно было говорить о Лоле... Перед ним вдруг возникло ее лицо: румяные, словно розы, щеки, брови — два черных полумесяца, длинные-длинные ресницы, большие смеющиеся глаза, которые, казалось, спрашивали: «Что же ты не говоришь мне о своей любви, не зовешь в свой дом?» Да, он до сих пор так толком и не поговорил с Лолой. В последнее время они и виделись-то нечасто: Лола, верная своей мечте, училась в Ташкенте на садовода-селекционера... Что он мог ответить Смирнову? Совсем смутившись, Погодин поспешил перевести разговор на другое:

— Кстати, Айкиз, ты написала Алимджану о вчерашнем бюро?

— Ну конечно же, написала! Даже телеграмму отправила.

— То-то! Я тоже хотел ему телеграфировать, да подумал: не стоит забегать вперед, твоей подписи Алимджан обрадуется больше, чем моей.

Пока они разговаривали, перебрасываясь шутками, Умурзак-ата успел раскопать яму возле водоема, где еще с прошлой осени были зарыты овощи, выбрал несколько крупных редок, нарвал на огороде молодого лука — нежно-зеленого, тонкого, как хвоя, принес из дому соленые огурцы, помидоры и дыню. Дыни хранились у него в подвешенных к потолку плетушках из расплюснутых камышовых стеблей. Когда он вернулся к супе, там уже говорили о предстоящем массовом выходе в степь.

— Вот что, Айкиз, — сказал Смирнов, и темная горошинка-родинка проворно задвигалась на его подбородке. — Как молвится в пословице, которые так любит наш дорогой директор: куй железо, пока горячо! Не пора ли нам приниматься за дело?

— Твоя правда, сынок, — поддержал его Умурзак-ата, парезая редьку в большую фаянсовую касу. — Со всем, кроме смерти, следует торопиться. Отложишь дело — оно остынет, как шурпа на холоде, покроется плесенью.

Айкиз, чтобы тоже не терять времени даром, разогрела самовар, заварила в пузатом чайнике кок-чай, расстелила на супе скатерть, поставила вазочки с конфетами, поджаренным горохом и изюмом, узорчатые зеленые пиалы, разломала на небольшие ломти пшеничную лепешку и, сходяв за шурпой, стала разливать ее по тарелкам.

— Так как же, Айкиз, — накладывая себе редьку, спросил Смирнов, — может, пачнем раньше?

— А вы говорили об этом с Джурабаевым? Ведь есть график, утвержденный райкомом...

— Сегодня Джурабаев уже заезжал ко мне на водохранилище. Разузнавал, готовы ли мы к паступлению на степь. Он посоветовал собраться нам троим и подумать, не сможем ли мы уже на днях приступить к подготовительным работам. Давайте же не откладывать, товарищи! — закончил Смирнов с таким сердитым пылом, будто кто возражал ему.

Айкиз отодвинула тарелку с недоеденной шурпой и тихо сказала:

— Вы знаете, меня уговаривать не пужно. Чем скорей, тем лучше. Вон и отец говорит, что надо торопиться. Я знаю, что наши колхозники поддержат нас. Ведь сколько раз они обсуждали все. Их уговаривать теперь не надо — они ждут дела. Вот только Кадыров...

— От Кадырова пока ничего не требуется. Мы толкуем сейчас лишь о подготовке к массовому выходу, а основная тяжесть ляжет на нас. Я уточню проект реконструкции водохранилища. Иван Борисыч выведет на передовую свою технику. А ты, Айкиз, займешься поселками. Договорились? Как ты на это смотришь, Иван Борисыч?

— Я что же... Я всегда — за! — пробасил Погодин. — Раньше начнем — лучше подготовимся. А подготовиться надо хорошенько. Поднять целину — не волос из теста вынуть.

Все рассмеялись, а Погодин махнул рукой:

— Да ну вас! С вами и говорить пельзя.

Смирнов отправил в рот желтоватую, вкусом похожую на мед дольку дыни и даже зажмурился от удовольствия.

— Ох и вкуса!

— Скоро свежие будут, — сказал Умурзак-ата и показал на огород. — Вон их сколько.

Айкиз посмотрела на гряды с дынями, нежившимися под лучами полуденного солнца, и предложила:

— Надо бы посадить дыни и на новых землях. Пусть целинникам будет чем освежиться в жаркий день.

— Опоздала, Айкиз! — торжествующе хохотнул Погодин. — Я уже присмотрел место под бахчу.

Беседа продолжалась долго. Солнце с неохотой начало свой ниспадающий путь к горизонту. Зной отяжелел, обрел

давящую плотность, словно с неба лились не солнечные невесомые лучи, а растопленное горячее масло. Но здесь, на супе, жара чувствовалась меньше: от затененного водоема, над которым густым шатром нависли ветви тала, тянуло прохладой, да и сама супа стояла в тени — со всех сторон ее окружали пышнокронные деревья, и движение дна сказывалось лишь в том, что тень одного дерева смеялась тенью другого.

Друзья допивали уже третий чайник, Погодин в десятый раз доставал платок, чтобы вытереть со лба испарину, когда Смирнов наконец поднялся и, поблагодарив хозяев, сказал:

— Ну, кажется, все ясно. Тебе, Айкиз, надо бы завтра собрать председателей колхозов, договориться с ними обо всем. И за дело.

ГЛАВА ШЕСТАЯ ПЕРЕД НАСТУПЛЕНИЕМ

Алтынсайцы готовились к массовому выходу. В домах точили кетмени, лопаты, готовили рабочую одежду, чинили обувь. Комсомольцы писали лозунги, хлопотали над специальным выпуском стенгазеты.

Больше всех доставалось, конечно, Смирнову, Айкиз и Погодину.

Смирнов днем пропадал на участках, где предстояло возвести круговую дамбу и соорудить водораспределители, осматривал трассу будущего канала, совещался с прорабами. А вечерами в одной из комнат дома, в котором помещалась контора управления, вновь и вновь склонялся над проектом реконструкции водохранилища.

В один из таких вечеров Смирнов, вконец одуревший от табачного дыма, густой пеленой стлавшегося по комнате, решил пройти на плотину. Высокий, худощавый, в расстегнутой косоворотке, он стоял у перил, засунув руки в карманы просторных парусиновых брюк, и свежий ветерок гор, вобравший в себя прохладу вечера, ледников и рек, ерошил его белесые, без солинки седины волосы, овеивал холодком открытую шею. Ночь была светлая, лунная; диск луны отражался в темной ряби водохранилища. Казалось, кто-то уронил в воду слиток серебра и он переливчато светится на дне... Легкие волны поплескивали о берег, обшивая его кружевцем пены.

— Море!.. Настоящее море! — прошептал Смирнов. Налюбовавшись водохранилищем, Иван Никитич перешел на другой край плотины, поближе к Алтынсайской ГЭС. Далеко внизу kloкотала, гремела, словно грозила кому-то вырвавшаяся на волю река. Сквозь этот шум со стороны хлопковых полей пробивалось ровное, спокойное гудение. Смирнов пригляделся и различия далекие-далекие движущиеся огоньки: это, засветив фары, неутомимыми светлячками ползали по земле погодинские тракторы. «И в темноте работают! — с доброй улыбкой подумал Смирнов. — Спешат отсеяться. Ну-ну, Иван Борисович! Жми на все педали! Скоро массовый выход». Взбодренный, радостный, Смирнов, вздохнув полной грудью, зашагал в контору.

Эмтэсовцы действительно спешили. Нужно было поскорей закончить весенний сев, чтобы перебросить на целину как можно больше техники. На целине, окруженный массивами непаханных земель, принадлежащих нескольким колхозам, сооружался — силами самой МТС — полевой стан для тракторных бригад.

Когда эмтэсовцы впервые пришли сюда, они увидели сухую, серую, покрытую пыльной травой землю. Траву спалили, землю разровняли. Среди степи разметалась тусклым озерком широкая площадка. Прошел еще день, площадку заполнили штабеля досок, шифера, балок. Штабеля быстро уменьшались, зато рос не по дням, а по часам сборный домик с просторной верандой, где должны были разместиться штаб тракторной армии, медпункт, красный уголок. По краям площадки легли темные прерывистые линии: сюда уже начали подвозить цистерны, бочки с горючим. В общем, вид участка, отведенного под полевой стан, менялся изо дня в день, словно беспокойный, взыскательный художник стирал одни штрихи и краски и тут же наносил другие, располагая их строже и гармоничнее.

За арыком, протянутым к полевому стану от недавно освоенных земель, которые директор МТС про себя называл уже «старыми», раскинулась заложенная Погодиным небольшая бахча.

Однажды на бахчу заявился Суванкул, работающий в тракторной бригаде, уже переведенной на целину. Еще в прошлом году он был бригадиром в колхозе «Кызыл юлдуз», но тесно стало богатырю Суванкулу на «старых»

колхозных полях, и он ушел в МТС, к Погодину, поднимать новые земли.

Долго стоял Суванкул на краю бахчи. Долго смотрел на аккуратные грядки, которые сам директор МТС засадил арбузами и дынями, чтобы было чем полакомиться трактористам в сухие, жаркие дни.

Постояв, посмотрев, не спеша, основательно над чем-то поразмыслив, Суванкул отправился в Алтынсай и принес оттуда пестро-зеленую рассаду райхона. Пока суд да дело, пока созревают на бахче арбузы и дыни, пусть любят дразня-трактористы веселой, кудрявой травкой, наслаждаясь ее пряным, сладко-горьким запахом. А какое это объедение — мастава, засыпанная райхоном!.. Всем супам, жарким и острым, Суванкул предпочитал маставу: прохладное кислое молоко и пахучий райхон придавали ей неповторимый вкус. Даже Погодина, больше всего любившего шурпу, Суванкул сумел обратить в свою веру. После его страстной агитации мастава в обеденном меню директора МТС одержала над шурпой решительную победу.

Целый день, сдав смену напарнику, возился Суванкул на бахче, опоясывая ее рассадой райхона. За этим занятием, уже перед вечером, и застал его колхозный бригадир Бекбута, пришедший проведать друга. Вид громоздкого, неуклюжего Суванкула, бережно, словно нявка, укладывающего в землю малютку-траву, рассмешил Бекбута. Суванкул обернулся на смех, медленно, словно бы с неохотой, разогнул спину и, даже не поздоровавшись с гостем, напустив на себя угрюмость, спросил:

— Что зубы скалишь?

— Вижу тебя живым-здоровым, вот и радуюсь, — весело откликнулся Бекбута. — Салам алейкум, светоч сердца моего, высочайшая из вершин Коктау!

— Здорово, неутомимейший из болтунов! Зачем пожаловал?

— Соскучился, друг. Ну, мочи нет как соскучился, — подкупающе серьезно сказал Бекбута, усаживаясь рядом с Суванкулом на землю. — Давненько мы с тобой не виделись. У меня уж язык затупился; нет бруска, о который я мог бы его поточить.

— Это я, значит, брусок? — неосторожно вырвалось у Суванкула.

— Угадал, друг! — обрадовался Бекбута. — Ты, дорогой, делаешь успехи. Верно, мой язык — нож, твоя голо-

ва — брусок. Бруски, правда, делаются из более добротного материала...

Суванкул усмехнулся с добродушной снисходительностью:

— Даже Смирнову не построить плотины, которая остановила бы поток твоей болтовни. Может, чаю тебе дать, чтоб заткнулся? Этого добра у нас на стане хватает, пей сколько влезет.

Предложение Суванкула еще больше развеселило Бекбуту.

— Чай!.. Ха-ха!.. Он хочет угостить меня чаем!.. — заливался он, покачиваясь взад-вперед и восторженно хлопая себя по коленкам. — Да пока ты сходишь за чаем, я успею слетать в кишлак и вдоволь начаевпичаюсь у себя дома. Сиди уж, проворнейший из проворных!

Суванкул в душе только незлобиво посмеивался, слушая Бекбуту. Сердце его давно жаждало встречи с другом. Сидя за рулем трактора, нерасторопно, но старательно подминая под свой мощный ДТ-54 упрямые степные просторы, он часто вспоминал о том, как вместе с Бекбутой и Алимджаном работал на Кокбулаке, добывая воду для хлопковых полей, как позднее, уже на новых землях, тягался с другом в азартном трудовом споре. Он был от души рад приходу Бекбуты, но старался ничем не выдать своей радости. Не обращая внимания на насмешки гостя, он все-таки пошел на полевой стан, притащил оттуда пузатый чайник и две пиалы и, паливая Бекбуте крепкий, горячий кок-чай, с невинным видом осведомился:

— Ты, значит, проделал такой длинный путь только для того, чтобы угостить меня парой заплесневелых асний?

— Дареному коню в зубы не смотрят. Но если желаешь, давай потолкуем как мужчина с женщиной. Не повезло нам, дорогой: такие дела творятся, а мы с тобой у разных хозяев...

— Погоди мне друг, а не хозяин. Это Кадыров как хочет вами командует.

— Э, в том беды нет, пусть себе командует на здоровье. Он ведь командир толковый, с ним большие дела можно делать... пока ему вожжа под хвост не попадет.

— Обуздаем! — уверенно сказал Суванкул. — Вон нас сколько!..

Но Бекбута с сомнением покачал головой:



— Не так все просто, друг. Он ведь, паверно, тоже не один?

— Айкиз-то его не испугалась! Говорят, воробьев побишься — проса не посеешь.

— Верно, пускай воробьи нас бояться, каких бы важных персон они из себя ни корчили!..

За разговором, за шутками, каждая из которых сопровождалась громким смехом, друзья не заметили, как к ним подъехал... сам Кадыров. Выплюнув насвай, он с угрозой спросил:

— Что ржете, как жеребцы?

Друзья, как по команде, обернулись и, увидев, как хмур раис, вспомнив недавний разговор о нем, едва удержались от нового приступа смеха.

— Ипшь веселятся! — разозлился Кадыров. — Что я вам, бродячий циркач с обезьяной?

— Уж и смеяться нельзя... — пробормотал Бекбута, несколько ошеломленный неожиданным появлением председателя, но Кадыров оставил его реплику без внимания и обратился к Суванкулу:

— Где Уста Хазраткул?

— А кто его знает, — безразлично пожал плечами Суванкул. — Он передо мной не отчитывается. Верно, отдыхает на стане.

— Отдыхать он мог бы и у себя дома. И твое место, Бекбута, тоже в кишлаке. Нечего по гостям расхаживать.

Бекбута хотел что-то ответить раису, но Кадыров яростно хлестнул коня, и тот рванулся к полевому стану — только пыль прынула из-под копыт.

— Скажи пожалуйста, — проворчал Бекбута. — Наш смех ему не понравился!.. Верно молвит пословица: вору в каждом прохожем милиционер мерещится.

— Нет такой пословицы!

— Считай, что уже есть. Слова, рожденные в этой голове, — Бекбута постучал себя пальцем по лбу, — как птицы, разлетаются по всему свету. — Он задумался. — Да-а... Непокойно на душе у раиса. Ты заметил, что-то он часто стал насвай жевать... Неспроста это.

Суванкул, на которого грозный налет Кадырова не произвел ни малейшего впечатления, со спокойным любопытством следил за Бекбутой, а когда тот копчил говорить, издевательски ухмыльнулся:

— Гляди, как расхрабрился!.. А при раисе дрожал, будто огонь под ветром!..

— Ты тоже мастер после драки кулаками махать,— язвительно отозвался Бекбута.— С Кадыровым в молчанку играл, а теперь надулся от важности, что твой индюк!

— Отчего ж не надуться? — самодовольно возразил Суванкул.— Моей храбрости хватит на сотню таких, как ты, да еще останется... на черный день.

Он захохотал густым, раскатистым басом, и в его хохот тонкой нитью вплелся резкий смехок Бекбуты:

— То-то у тебя пиала прилипла к губам, как только завидел раиса.

— Эй, эй! Легче на поворотах!.. Сам ты разве не проглотил со страху ответ на приветствие дорогого гостя?

Но клинок его насмешки отлетел в сторону, со звоном ударившись о булат ловкого отпора:

— А ты, дорогой, проглотил и ответ на приветствие, и приглашение к чаю, и чай, и пиалу, и все свое хваленое хлебосольство!.. Вместительное же у тебя брюхо!

— Пожалей меня, Бекбута,— взмолился Суванкул.— Помру ведь от смеха!

— Что, щекотно от моих шуток?

— Просто живот надорвать можно, видя, как воробей силится взлететь выше орла! Умора, да и только!..

— Смешон и верблюд, боящийся мышей!..

Суванкул, как и Бекбута, любил, чтобы последнее слово оставалось за ним. Он вдруг поднялся с земли и небрежно бросил:

— Заболтался я с тобой. Тебе ведь приказано идти в кишлак. А мне пора заступать на смену.

— Боишься своего директора? — тоже вставая, поддел друга Бекбута.

— Одного боюсь пуще смерти: подвести Ивана Борисыча. Он-то себя не жалеет... Да, друг, нехота с тобой расставаться, а надо. Ты иди отлежись. Врача не забудь вызвать. Уж полчаса, как уехал твой раис, а ты все белый как полотно. Бери пример с Айкиз, дорогой! — Он покровительственно похлопал Бекбуту по плечу и неторопливо зашагал к полевому стану.

Суванкул был прав. Погодин в эти дни не жалел себя. Мотоцикл его, как бешеный, носился от МТС на целину, от целины к МТС. Большую часть времени Иван Борисович проводил на повом полевом стане. Его рокошущий бас

слышался то в одном, то в другом конце площадки, — то это было ровное, добродушное рокотание, то оно переходило в раскаты грома.

Бригадир строительной бригады МТС, возглавлявший работы на стапе, был человеком медлительным, неповоротливым. Погодин не раз говорил про него: «Выгоню я этого увальня. Или перевоспитаю к чертовой матери. Попрыгает он у меня». Каждый день директор требовал от него подробный отчет: что сделано, что предстоит делать через час, через сутки. Потом тяжеловатой походкой обходил постройки, склады, что-то ворча себе под нос; расспрашивал трактористов, довольны ли они тем, как идет работа, какие у них есть предложения.

Накауне массового выхода у Погодина произошла крупная стычка с бригадиром. Он приехал на стан в полдень; иные из строителей и трактористов обедали в столовой под шиферным навесом, иные завалились вздремнуть на траве, рядом с площадкой. Они лежали, надвинув на лица кепки и тюбетейки, а солнце плескало в них сухим жаром...

Погодин насушился, велел позвать бригадира, а когда тот подошел, хмуро спросил:

— Почему не начали строить навес, под которым люди могли бы отдохнуть? Я вчера дал вам указание.

— Иван Борисыч... Да ведь сперва об этом навесе и речи не было!

— Сперва! Сперва! Сперва я и сам недодумал. А ты все время на этом пекле, мог бы, кажется, догадаться: людям тут жить, работать, значит, надо сделать так, чтобы они отдохнуть могли. Поработал — пойди в тень, полежи, вздремни. А мы? Первым делом — отгрохали дом для начальства. Начальства еще нет, а канцелярия уже готова! Садись составляй сводки!.. А наши ребята жарятся под солнцем!.. Сегодня же устрой навес и поставь пары.

Он еще раз оглядел площадку и ткнул пальцем в дальний ее угол.

— А там сколоти ларек. Потребуем, чтоб сюда направили кого-нибудь из кооператива.

— Да ведь вы...

— Знаю, не говорил еще о ларьке. Да у тебя-то есть голова на плечах?

Бригадир вытер со лба пот и попытался улыбнуться.

— Если уж вы со своей головой только сейчас спохватились...

— А ты не занскивай! И не ищи грязь под ногтями! Я не аллах, чтоб за всех думать. Я еще недавно простым механиком был. Ну, почему вы думаете, что начальство должно за все болеть, а вам положено только слушать да исполнять? Заруби себе на носу: мудрая голова — это десять голов!

Бригадир стоял, тоскливо переминаясь с ноги на ногу, и Погодин махнул рукой.

— Чтоб завтра все было, как я сказал. Поглядел бы ты на Умурзакову, — как она заботится о людях!

Попрощавшись с бригадиром, он направился в столовую.

Погодин не случайно упомянул об Айкиз. За последнее время ему часто приходилось встречаться с ней, и директор исподволь приглядывался к ее работе...

Айкиз в эти дни тоже не знала покоя. Дел хватало и в сельсовете, а кроме того, ей приходилось наблюдать за проектированием новых поселков. Джурабаев после бюро предупредил ее: «Вопрос с переселением — сложный, щекотливый. Действуйте осмотрительно». Айкиз казалось: для того чтобы дехкане переселились в новые дома, нужно одно — сделать так, чтобы им захотелось переселиться, чтобы на вновь построенные поселки с завистью смотрели дехкане из лучших, самых благоустроенных кишлаков.

Начало строительных работ приурочивалось ко дню массового выхода. Накануне этого дня Айкиз поехала на участок, где должны были строить дома для дехкан из колхоза «Кызыл юлдуз».

Байчибар весело трусил по краю шоссе, чуть кося глазом, когда мимо проезжали грузовики, потом свернул на дорогу, ведущую в степь. Собственно, дороги еще не было, просто бежали вдаль две неглубокие колеи, и земля между ними была чуть ровней и утоптанней, чем вокруг. Айкиз еще от шоссе увидела палатку, раскинутую в степи проектировщиками, а неподалеку — фигурки людей, двигающиеся по площадке с деловитой, продуманной целеустремленностью. Каждый шаг строителей диктовался, видимо, какой-то необходимостью, но со стороны, издали, трудно было уразуметь смысл этих передвижений — это напомнило Айкиз немое кино.

Айкиз придержала коня. Ей захотелось, призвав на

помощь воображение, представить, как будет выглядеть будущий поселок — аккуратный, беленький, опушенный кудрявой зеленью садов, по вечерам залитый электрическим светом. Но воображение не повиновалось ей: вместо веселых садов и чистеньких домиков Айкиз увидела жалкие хибарки, в которых еще ютились жители горных кишлаков, бедные дворники с одинокими деревьями, растрескавшиеся крыши из глины, испещренной прожилками соломой, земляные полы, застеленные сеном и пыльными коврами...

У Айкиз сжалось сердце. «Как медленно мы строим! — подумала она с тоской. — Мало заботимся о людях!» Она в сердцах хлестнула Байчибара, и тот стрелой понесся к белевшей вдали палатке.

На участке ее ждала неожиданная встреча. Она застала здесь не только проектировщиков, но и Муратали, и бригадира колхозных строителей Уста Хазраткула.

Муратали бригадировал на землях Алтынсайского массива. В этот день он с колхозниками своей бригады копал арык и расчищал тянувшийся вдоль поля небольшой канал, засеянный песком. Отсюда видна была целинная степь. В минуты передышки старик, опершись ладонями о рукоятку кетменя, мечтательно смотрел в степную даль... В будущем году его бригада начнет растить хлопок на новых участках; хлопка станет больше, у Муратали прибавится и зерна и денег. Он уже прикидывал в уме, что бы такое приобрести на эти деньги. Пожалуй, пора купить для дочери кое-какую мебель... Ей вопи и платья некуда вешать, а ведь она невеста; вещей ей требуется все больше и больше. Жаль только, тесновато у них в доме... Надо бы сладить новый, попросторней, побольше. Да где там! И денег не хватит, и развернуться негде, двор у него тоже с овчинку...

Степь уже пробуждалась от долгого сна. Тут и там хлопотали люди. Вдалеке, рядом с легким домиком, вытянулись аккуратные столбы. На столбы легли голубоватые шиферные крыши. Муратали знал: это строятся трактористы. А что это за палатка белеет чуть левее, поближе к Муратали? Старик давно приметил: люди, живущие в ней, промеряют землю, перетаскивают с места на место диковинные приборы на трех ногах, длинных, как у журавлей. А сегодня возле палатки появился Уста Хазраткул, схожий с высоким кряжистым дубом. Муратали был

беспокойным стариком. Снедаемый тревожным любопытством, в полдень, едва бригада закончила расчистку канала, он зашагал к таинственной палатке.

Уста Хазраткулу сегодня тоже нечего было делать у проектировщиков. Но это только казалось, что нечего... Бригада его готовилась к строительству нового поселка. И Уста Хазраткулу хотелось на месте подумать, как лучше обделать одно дело...

Спрыгнув с Байчибара, Айкиз направилась к Мураталы. Старик стоял поодаль от палатки, мрачный, нахотленный. Но Айкиз так обрадовалась его появлению на строительной площадке, что не заметила ни его насупленных бровей, ни плотно сжатых тонких губ.

— Добрый день, Мураталы-амаки! — весело поздоровалась Айкиз. — Пришли проверить, хорошее ли место выбрали мы вам для жилья?

Старик посмотрел на нее сердито, молча повернулся и медленной походкой пошел через степь к своему участку. Айкиз проводила его чуть растерянным, огорченным взглядом, а обернувшись, увидела рядом с собой Уста Хазраткулу. Он глядел на нее сверху вниз, и его густые, длинные, опущенные книзу усы насмешливо шевелились.

— Дурит старик! — сказал он, отвечая на безмолвный вопрос Айкиз. — Я тоже поначалу думал, что он пришел посмотреть, где ему жить придется. Подошел к нему по хорошему... А он на меня — волком! И что эти старики так цепляются за свои лачуги? Будто их канатами прикрутили... Я вот жду не дождусь, когда меня переселят из Катартала в новый кишлак!..

Айкиз задумчиво покачала головой.

— Не так-то все просто, Уста-амаки. Порой люди с каким-нибудь ненужным тряпьем и то не могут расстаться! — Неожиданно на ее губах мелькнула улыбка. — Ну, а вы зачем здесь? Тоже сейчас убежите?

— Нет, мне надо еще побродить да покумекать. Мне ведь тут тоже жить... Скажи-ка, председатель, надо ведь поскорее построить эти дома?

— Поскорее-то хорошо бы, Уста-амаки!

— А как ты считаешь, цемент да кирпич с неба свалятся? Или придется за них немножко повоевать?

— Это уж как положено! — рассмеялась Айкиз.

— То-то и оно. Я вчера Султанова повстречал: он вместе с заведующим нашей фермой Рузы-палваном ехал охо-

титься па джейранов... У него уж давно лежат заявки на стройматериалы: обещал поспособствовать, да что-то все тянет... Вылез он из машины поразмяться, я — к нему: есть, мол, за вами один должок. «Как же, говорит, помню, помню! Зайдите, говорит, завтра утром, мы все обсудим».

Уста Хазраткул снял свою выбеленную солпцем соломенную шляпу и, отдуваясь, обтер широченным платком шею и лоб.

— Сегодня я побывал в районе. А у Султанова — совещание. Как к нему ни придешь, всегда у него совещание! Я подождал, подождал, а потом подумал: что я буду всем в ножки кланяться или с ножом к горлу приставать? Не лучше ли поставить здесь, в степи, печь для обжига? Глина — неподалеку, под рукой. Понаделаем кирпичей, добудем в горах побольше камня, и — добро пожаловать в новый кишлак, дорогие! Справляйте новоселье, сейте хлопок! Как, председатель?..

Глаза у Айкиз повеселели. Щурясь от солнца, она огляделась вокруг, словно поселок был уже выстроен и оставалось только любоваться им, и одобрительно воскликнула:

— Хорошо, Уста-амаки! И, пожалуйста, приставайте с ножом к горлу: говорите, что я могу для вас сделать.

Бригадир покрутил пышный ус и, вздохнув, перешептательно сказал:

— Люди нужны, товарищ Умурзакова. Кадыров-то малость пощипал строителей: лучших работников перевел в полеводческие бригады.

— Это еще зачем?

— Да ведь так оно надежней: две пары рук лучше, чем одна. Еще бы ему не выполнять плап по хлопку! А мне люди ну вот как нужны!..

— Ладно. Мы потребуем у Кадырова, чтобы он дал вам людей.

Уста Хазраткул махнул рукой.

— Э, я уже говорил с ним!

— Поговорим еще. Хлопок хлопком, а обижать строителей — не дело. Они тоже хлопок добывать помогают, и мы заставим председателя взглянуть подальше собственного носа. Где сейчас Кадыров?

Уста Хазраткул, приложив широкую ладонь к полям

шляпы, посмотрел в сторону хлопковых полей и со скрытой усмешкой сказал:

— Вой он командует!

— Пошли к нему!

Близ недавно освоенных участков степь закруглялась невысоким холмом. С этого холма Кадыров и наблюдал за работой колхозников. Он стоял в позе полководца, погруженного в глубокое раздумье: левой рукой уперся в бок, большой палец правой заложил за ремень, перетягивающий гимнастерку; лоб его был в жирных складках, нижняя губа оттопыривалась с едва заметной брезгливостью. Услышав шаги, Кадыров, не поворачивая головы, чуть скосил глаза, принял еще более сосредоточенный, важный вид; лишь когда подошедшие окликнули его, обернулся и, недовольно поморщившись, словно досадуя на то, что его оторвали от серьезного дела, насмешливо протянул:

— А-а, товарищ Умурзакова! Дорогой бригадир! С чем пожаловали?

— В бригаде Уста Хазраткула не хватает людей, товарищ Кадыров. Надо ему помочь.

Кадыров, кинув на бригадира мрачный взгляд, пренебрежительно обронил:

— Нажаловался! — А потом, снова повернувшись к Айкиз, вздохнул с показным смирением: — Вот ведь как, товарищ Умурзакова: нет чтоб потолковать со своим председателем, кончить все миром да ладом, все к вам бегут! Скоро со мной совсем перестанут считаться. А как это называется? Подрыв авторитета!..

— Вот вы и попробуйте поднять его, свой авторитет, — сказала Айкиз. — Помогите строителям. Не сегодня-завтра мы примемся за строительство поселка.

— Так ведь план-то еще не утвержден, дорогой председатель сельсовета!

— Но вы были на бюро райкома и слышали...

— Есть организации и повыше райкома! — оборвал ее Кадыров. — Будь вы поопытней, вы бы обождали, а не лезли на рожон.

— Время дорого. И то, что мы можем сделать сейчас и сами, без чьей-либо помощи, мы сделаем, сделаем во что бы то ни стало! — Айкиз передохнула и уже тише добавила: — Да неужели вы хоть сколько-нибудь сомневаетесь, что в области и республике поддержат нас?

Кадыров пожал плечами.

— Я чужим мыслям не хозяин. Может, и поддержат... Поживем — увидим. Вы думаете, что правда на вашей стороне. А там, наверно, могут рассудить иначе...

— У народа и партии — одна правда, Кадыров.

— Вы еще не народ, товарищ Умурзаков...

— Голос народа вы тоже слышали! Колхозное собрание постановило: поднять целину и построить поселок.

— Вот и выполняйте это постановление! Ищите скрытые резервы, подбирайте золото, которое валяется у вас под ногами! Я вам не помеха.

— Вы дадите людей в бригаду Уста Хазраткула или нет? — тихо, со сдержанной угрозой спросила Айкиз.

Кадырову начала надоедать эта перепалка. Сейчас, зная, что ему обеспечена поддержка Султанова, он чувствовал спокойствие и уверенность. Нет, он не станет помогать Умурзаковой; пусть, если ей так хочется, сломает себе шею; его дело — сторона. Она роет яму ему, Кадырову? Что ж, сама в нее и свалится. И тогда, слава богу, жизнь опять войдет в свою колею, и ему нечего будет опасаться.

Смерив Айкиз тяжелым взглядом, покосившись на бригадира, неодобрительно хмурившего косматые брови («И этого окрутила, прощра!»), Кадыров решительно и сухо отрезал:

— Нет у меня людей. И на колхозном собрании об этом разговора не было. Скоро всех придется кинуть на хлопок. На носу — полив, культивация. Самая горячая пора. И можете, сколько душе угодно, твердить о неиспользованных резервах — их не растянешь, как резину. Резина и та рвется... Партия нам говорит: сейте хлопок...

— Но партия не говорит: довольствуйтесь малым!

— Громкие слова, товарищ Умурзаков! Если мы в этом году провалимся с хлопком, ни меня, ни вас не поглядят по головке. Новые земли когда-то еще дадут урожай, а нам надо отчитываться сейчас, сегодня, этой же осенью! Мешать вам я не хочу. Поступайте как знаете. Но меня оставьте в покое.

И Кадыров, кивнув Айкиз и Уста Хазраткулу, спустился с холма и с солидной неторопливостью зашагал к работающим неподалеку колхозникам.

Уста Хазраткул почесал в затылке и сказал осуждающе и удивленно:

— Какая муха его укусила? Вот ведь человек: то все

тихо-спокойно, то вдруг брыкнет тебя, как поровистый конь!

Айкиз задумалась и, словно вспоминая что-то, медленно произнесла:

— Зпала я людей, которые в мирные дни держались молодцами, а когда началась война, сдали.— Она взглянула на видневшийся вдали частый гребешок молодых карагачей, дубов, джиды и все так же задумчиво продолжала: — Видите, Уста-амаки, лесную полосу? Деревья — одно к одному, стройные, крепкие. Кажется, все хороши. Но есть среди них и хилые; похожи они на своих братьев только в безветрие. Подует ветер — и сломает их или вырвет с корнем! И все поймут: неглубокие у них были корни. Так и с людьми, Уста-амаки: иные хороши до первого сильного ветра.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

В СЕЛЬСОВЕТ ПРИШЛА ДЕВУШКА

Айкиз, попрощавшись с Уста Хазраткулом, пообещала, что сама похлопочет о стройматериалах. Вскочив на Байчибара, она заторопилась в Алтынсай: во второй половине дня у нее был прием посетителей. Никогда, ни при каких обстоятельствах, она не отменяла и не переносила часы приема, это было ее твердым правилом. Если даже стоял изнурительный зной или бесновался колючий ветер, разгоняя всех по домам, Айкиз шла в сельсовет, чтобы ни одному человеку, которому могли вдруг понадобиться ее совет и поддержка, не пришлось томиться перед запертой дверью или возвращаться ни с чем.

Сегодня посетителей было мало. Проходя через комнату секретаря в свой кабинет, Айкиз приветливо поздоровалась со всеми, отметив взглядом высокую незнакомую девушку в яркой нарядной тюбетейке, из-под которой длинной черной бахромой свисало множество старательно заплетенных косичек. Кабинет Айкиз был залит солнечным светом. Она задернула занавески, поправила перед маленьким зеркальцем растрепавшиеся волосы и села за свой стол.

Первой появилась в кабинете девушка в яркой тюбетейке. Она и сама была яркой, нарядной. Ее одежда — белая шелковая жакетка и атласное, с зеленым отливом, пла-

тье — струила мягкий, праздничный блеск. Брови были густо насурьмлены. Глаза под длинными, изогнутыми ресницами казались глубокими, как горные озера.

Девушка огляделась с бойким любопытством и неодобрительно поморщилась. Кабинет Айкиз был обставлен простенько и скромно. Единственным его украшением служила распластанная на боковой стене, между окнами, большая карта сельсоветских земель, которую по просьбе Айкиз вычертил и раскрасил цветными карандашами инженер Смирнов. Айкиз приглашающим жестом показала на стул, стоявший возле стола. Стуча каблучками изящных туфель, посетительница прошла от двери к столу и, аккуратно расправив платье, села. Теперь Айкиз лучше смогла рассмотреть ее лицо. Нежная, смуглая кожа... Пухлые губы... А в глазах вовсе не было глубины, это тень от ресниц делала их темными и глубокими; вблизи же видно было, как пересыпались на их дне золотые песчинки лукавства и смеха. Девушка была красива, и это была не холодная, а живая красота, но ей не хватало одухотворенности. Айкиз почему-то представила посетительницу с дутаром в руках, в шумном кругу поклонников и улыбнулась: очень шли к этой девушке дутар и веселая песня.

А девушка поставила на стол локоть, оперлась щекой о тонкую согнутую кисть и с кокетливой доверительностью сказала:

— Вас Айкиз зовут, товарищ Умурзакова?.. А меня — Назакатхон.

— Пойдите-ка, — прервала ее Айкиз, — вы — дочь Аликула-амаки?

Девушка кивнула.

— Я емного знаю вашего отца, — сказала Айкиз. — Вы ведь у нас недавно?

— Я родилась здесь, в Алтынсае, — вздохнула Назакатхон и неожиданно спросила: — Можно, я расскажу вам о себе?

— Говорите, я слушаю...

— Так вот... — Назакатхон положила руки на колени и подняла глаза, словно собираясь отвечать заученный урок. — Мы уехали отсюда, когда я была совсем маленькой. Где только мы не побывали! Но дольше всего жили в Голодной степи. Там как раз осваивали новые земли. Отец работал бригадиром. Вы не думайте, я тоже работала! Была табельщицей, потом секретарем... Отец говорит: те-

перь все девушки должны работать, а то, говорит, и замуж за нужного человека не выйдешь... — Посетительница запнулась, улыбнулась растерянно и уже с меньшей уверенностью продолжала: — Ну, жили мы, работали — я ведь не какая-нибудь бездельница, — а сердце тосковало по родным местам. Однажды отец пришел домой огорченный, озабоченный и сказал: «Как думаешь, доченька, не вернуться ли нам в родные края? Там среди родни и друзей нам полегче будет, поспокойней...» А я ответила: «Как скажете, отец, так и будет». И вот мы здесь, в Алтынсае. Отец уже вступил в колхоз, работает. Надо и мне куда-нибудь пристраиваться. Вы ведь можете мне? Да? Отец сказал: «Айкиз — тоже женщина, она тебя поймет, позаботится о тебе».

Посетительница держалась с подчеркнутой скромностью, говорила задумчиво, перемежая свой рассказ грустными вздохами. Айкиз же казалось: все это притворство, она принуждает себя быть сдержанной и серьезной, а в жизни она совсем не такая. Праздничный, веселый наряд, кокетливые жесты, беззаботно-лукавый взгляд, который она старательно прятала за черными лучами ресниц, и алые губы, жадные до



радостей жизни, — все это не вязалось с ее серьезной, доверительной, раздумчивой речью. Подумав, Айкиз сказала:

— Хорошо, я помогу вам. Вы говорили, что участвовали когда-то в освоении новых земель?

Девушка подняла на Айкиз испуганный взгляд и, словно ожидая подвоха, нерешительно произнесла:

— Да... Мы... мы осваивали...

— Вот и чудесно. Мы как раз тоже надумали поднимать целину. В этом году вам придется поработать на уже освоенных землях, а в будущем мы направим вас в одну из «целинных» бригад. Думаю, это будет полезно и для вас и для нас. В ваши годы...

Но тут случилось неожиданное: Назакатхон заплакала, и на этот раз трудно было усомниться в ее искренности. Не отнимая от глаз батистового платочка, она бормотала сквозь слезы:

— Я же училась в школе... Все говорят, что я хорошо пишу и умею вести протоколы... А вы меня — в поле... Потому что я здесь чужая... Я ведь знаю, в колхозном правлении сейчас нет секретаря. Только я слышала, Михри на это место опять метит.

У Айкиз была привычка: когда ей надо было поразмыслить над чьей-нибудь просьбой, она принималась ходить по комнате, засунув руки в карманы жакетки, задумчиво опустив голову... Посетителю начинало казаться, что она его не слушает, но Айкиз вдруг круто останавливалась, возвращалась к столу и спокойно, подробно рассказывала собеседнику, чем и как думает ему помочь. Так и сейчас: она поднялась из-за стола, прошла к окну, постояла с минуту, легонько барабая пальцами по подоконнику, а потом с укором сказала:

— Относительно Михри вы ошибаетесь, она просится работать на новых землях. Вот и вам последовать бы ее примеру!

Назакатхон в ответ только всхлипнула. Айкиз не поняла, что должен означать этот горький вздох. Как же поступить с этой девушкой, не привыкшей, видно, к настоящему труду, слабой и беспомощной? И глаза у бедняжки на мокром месте... Может быть, жизнь ее омрачена неурядицами или в семье что-нибудь неладно? Айкиз стало жаль девушку... Правда, Назакатхон мало напоминала страдальцу, в ней угадывался нрав веселый и беззаботный, но ведь внешность обманчива. К тому же и веселым людям

порой живется невесело. Откажешь девушке в ее просьбе — и к прежнему горю прибавится новое. Да и не было у Айкиз веских причин для отказа. Судя по всему, в поле от Назакатхон пользы будет мало... А у Кадырова действительно освободилось место в конторе. Почему же не рекомендовать Назакатхон на это место? Айкиз что-то написала в своем блокноте и, вырвав листок, протянула его Назакатхон:

— Вот записка к Кадырову. Он оформит вас на работу. Смотрите не подведите меня! И утрите слезы, они вам не к лицу!..

Назакатхон осторожно смахнула со щеки последнюю слезинку. Спрятала в карман записку, с веселым облегчением поблагодарила Айкиз и быстро, чуть ли не бегом, вышла из комнаты.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ В СТЕПИ

Дня через три после массового выхода вернулся из города Алимджан. Поздним вечером он и Айкиз пошли бродить по кишлаку, который Алимджан не видел уже несколько месяцев. Было темно; в небе серебряной изогнутой проволочкой повис молодой месяц; звезды задумчиво переглядывались друг с другом; далекой кисейной тучкой светился Млечный Путь — «соломенная дорога»... Алимджан и Айкиз под умиротворяющее журчанье арыков прошли по притихшим улицам кишлака, посидели в саду, который сейчас, ночью, выглядел нелюдным и сумрачным. Потом Айкиз потянула мужа в степь.

— Ты давно не был в степи, милый... Помнишь, какая она ночью? Она живет, разговаривает...

Они шли молча: знали, что успеют еще наговориться. Теперь же им хотелось просто побыть вдвоем. Айкиз прижалась горячей щекой к плечу Алимджана и чувствовала себя самой счастливой на свете.

— Как долго мы не виделись, Алимджан! — тихо, с запоздалой тоской сказала она.

— Мне кажется, несколько лет!.. — так же тихо ответил Алимджан.

— Да, долгие-долгие годы!..

— Целую вечность! Целую вечность, Айкиз!..

Под ноги им легла утомившаяся пыль дороги, бегущей рядом с шоссе. Возле уха Айкиз мягко прошуршало крыло летучей мыши. Айкиз еще крепче прильнула к Алимджану и шепнула чуть лукаво:

— Что бы я делала без тебя, Алимджан?..

Алимджан улыбнулся.

— Мне говорили, ты тут без меня горы ворочала!

— Без тебя? Нет, ты все время был со мной... Без тебя я не выдержала бы.

Выйдя в степь, они остановились и долго стояли, глядя в почву, слушая ночь.

Степь жила... Они были здесь одни, совсем одни, по это было не то одиночество, которого ищут люди, бегущие от людей. Они были одни, но в живом, обитаемом мире, богатом трудом и дружбой труженников.

Айкиз любила ночную степь. Ночью жизнь степи была даже ощутимей, чем днем.

Днем степь не казалась такой необозримой. Мглистое знойное море затуманивало дальние очертания, степь была залита золотой лавой солнечного света. Песни и шепот, шумы и шорохи — все сливалось в ровный сплошной гул.

Ночью же этот шумный, яркий, однообразно пестрый поток словно разбивался на отдельные ручейки. И тому, кто хотел послушать ночь, которая многим кажется пустынной и безмолвной, она удивительно красноречиво рассказывала о примечательных и скромных делах людей, обживающих степь.

Айкиз и Алимджан стояли, обнявшись, и жадно внимали рассказу ночи...

Вся степь, от горизонта до горизонта, была усыпана огоньками. Среди этих огоньков — то яркие, то еле заметные, то переливающиеся, то бледные, белые и красноватые... Одни из них двигались, другие чуть колыхались, третьи мерцали в темноте драгоценными камушками...

Далеко, на краю земли, видно скромное созвездие белых точек. Айкиз знала: там бурили артезианскую скважину. Чуть в стороне мигают огни метеорологической станции, которую днем отсюда не разглядишь. А вон пробивается тусклый свет из палатки почвоведов. Трепетным пламенем горят костры на полевых станах. Ближе к горам тоже светятся алые мохнатые звездочки, только поменьше, — это костры у шалашей, поставленных чабанами.

Что-то завораживающее было и в четких светлых кружочках, перемещавшихся по степи в самых различных направлениях; казалось, это звезды кружатся в медленном хороводе. Айкиз, однако, отрадно было сознавать, что все это не звезды, а фары тракторов, поднимающих целину... Сколько же таких огней в степи!

Тракторы, как и днем, урчали сосредоточенно, увлеченно, но теперь, ночью, каждый звук слышался сам по себе, самые тихие голоса разносились далеко-далеко... Где-то захлебнулась разудалой песней гармонь. Чей-то протяжный, зовущий крик прорезал почную тишь. И снова все смолкло, только, не затихая, плыл над степью бессонный гул тракторов, который, казалось, стал частью тишины... Но вот издалека долетел нежный, серебряный звон комуза, где-то запел най, и в петоропливые эти звуки вплелись раздумчивые человеческие голоса; кто-то, оставшись наедине с почью, делился с ней тоской по возлюбленной, по семье, рассказывал о своих помыслах, мечтах, тревогах...

— Слышишь, Алимджан? Чабаны еще не спят...

— Мне иногда кажется, они и не знают, что такое сон. А тебе не хочется спать?

— Нет...

Алимджан показал в сторону, где светились огоньки стана трактористов и слышался стук движка.

— Может, сходим к Погодину? Или к Смирнову — на морской берег?

— Нет, нет... Сегодня я никуда не хочу. А тебе не терпится повидаться с друзьями?

— Мне никого не надо, кроме тебя... Тебе не холодно?

— Нет, милый...

Алимджан все-таки снял пиджак и накинул его на плечи жены.

— Так-то будет лучше. И пора все-таки домой, завтра рано вставать. Я хочу пораньше пойти в свою бригаду...

— Хорошо здесь, Алимджан, — тихо сказала Айкиз и как-то просительно взглянула на мужа.

В это время от кишлака донесся заливистый, с легкой дремотной хрипотцой крик петуха. Откуда-то с противоположной стороны готовно отозвался другой петух. И заметалась над степью разноголосая петушинная переключка.

— Слышишь, Айкиз?

— Да, пора!.. — неохотно отозвалась Айкиз.

И они медленно возвратились к кишлаку.

На сон им оставалось часа два — не больше, но Айкиз было не до сна. Она лежала, положив руку под голову, и, как тогда, в саду, думала о себе, о муже, о своей любви к нему... Щеку ее грело ровное дыхание Алимджана. Айкиз была счастлива, но где-то глубоко-глубоко в сердце ворошилась тревожная, неясная досада... Айкиз сама не понимала, что ее беспокоит: ведь этот день принес ей радость, только радость. И, однако, радость эта была почему-то неполной...

Утром, когда занавески пронизало восходящее солнце, Айкиз тихо, стараясь не разбудить мужа, оделась и пошла во двор. Отец был уже на ногах, он рвал на огороде лук. Оглянувшись на дочь, Умурзак-ата добродушно спросил:

— Как, дочка, небось рада?..

Айкиз улыбнулась смущенно.

— Теперь и вам веселей будет, отец...

— Да, хорошо, что он вернулся. А ты раповато поднялась.

— Надо самовар поставить.

— Опоздала, дочка, уже закипает. Я сейчас зелень вам приготовлю.

— Отдохнули бы, отец. Я сама все сделаю.

— У меня, дочка, теперь одна радость: о вас, моих детях, заботиться.

— У вас и других забот немало. Целыми днями в поле...

— Сказать по чести, для меня и хлопок как малый ребенок. Не приглядишь — обзаведется дружками-сорняками. Не напоишь вовремя — сожжется на солнце. Так-то, дочка... Уж время помирать, а помирать-то и нельзя: воп сколькоким детям ты пужен!

Айкиз подошла к отцу, обняла его и, зажмурившись, прошептала:

— Ой, как вы мне пужны, отец! Родной мой, самый-самый родной!..

— Ну ладно, ладно, дочка, — проворчал Умурзак-ата, — иди готовь завтрак.

Спустя полчаса проснулся Алимджан. Всею семьей позавтракали и пошли в поле. Умурзак-ата вскоре отделился от дочери и Алимджана, свернув на свой участок. Алимджан не отрывал глаз от хлопковых полей, тянувшихся справа. Он соскучился по работе, по этим вот полям, пере-

ливающим зеленым бархатом первых всходов, по людям, трудившимся на полях.

Он невольно ускорил шаги, и у Айкиз, оставшейся позади, беспомощно и обиженно дрогнули губы: Алимджан совсем забыл о ней! Она понимала его нетерпение, ей и самой нужно было спешить. Если бы Алимджан поторопился, она не обиделась бы. Но он даже не заметил, что она отстала. С жадным, безраздельным вниманием смотрел он на поля. Уж лучше бы сейчас опять была ночь, и степь вокруг, и беспорядочная россыпь огней, и вблизи свет любимых глаз... Айкиз вздохнула, но вдруг Алимджан обернулся и позвал:

— Айкиз, что же ты? Идем быстрее!

Щурясь от солнца, он ждал, глядя на отставшую жепу. За этот ласковый, ожидающий взгляд Айкиз простила ему недавнее невнимание.

Дойдя до участка, где работала бригада Алимджана, они остановились.

— Как у тебя сегодня день складывается? — спросила Айкиз.

— Дел уйма!.. Но в полдень я найду за тобой, вместе пообедаем. Где тебя искать?

— В новом поселке.

Как ни медлила Айкиз, но пришло время проститься. Алимджан направился в поле. Айкиз помахала ему рукой и крикнула:

— Я буду ждать тебя, Алимджан!

За участком Алимджана лежало поле, где работал Керим, вожак алтышсайских комсомольцев, самый молодой бригадир, а дальше — владения старого Муратали. Колхозники проводили кетменную окучку, рыхлили землю вокруг первых нежных ростков. Они продвигались вдоль аккуратных рядов хлопчатника в сторону дороги. Айкиз видела белые узоры на тюбетейках Михри и ее отца. Она задержалась и, сложив рупором ладони, крикнула:

— Эй, Михри! Как дела?..

Михри выпрямилась, вытерла рукой лоб и весело откликнулась:

— Иду-ут!..

— Окучку скоро кончите?

Михри посмотрела на отца. На этот вопрос следовало бы ответить бригадиру, но Муратали даже не поднял головы. О том, что он слышал Айкиз, можно было догадать-

ся лишь по парочито резким и сильным взмахам его кетменя. Старик словно хотел показать: он занят, ему ни до кого нет дела, пусть его не тревожат попусту... Айкиз усмехнулась, кивнула Михри — мол, не расстраивайся, я все понимаю — и, уходя, крикнула:

— Алимджан приехал! Зайди к нам вечерком.

Айкиз не заметила, что в это время еще один из колхозников, трудившихся в поле, разогнул спину и, опершись животом и ладонями на кетмень, злобным взглядом уставился на дорогу... Это был Гафур. Он долго глядел вслед племяннице, а когда она скрылась из глаз, с такой силой вонзил кетмень в землю, что чуть не выдрал с корнем молоденький кустик хлопчатника.

Вот и целинные земли...

Сражение с целиной было в самом разгаре. Озирая степь слева направо, можно было проследить все этапы освоения целины. На левом краю степи весело бежала по земле почти незаметная в лучах солнца, неровная, с длинными зазубринами полоска пламени. Пламя словно тянуло за собой сизое покрывало из пепла, и когда на пепел ступали колхозники, за ними оставались черные следы. От земли тут и там поднимались змеиные струйки дыма: это догорали корни степных кустарников. А рядом бульдозеры и скреперы грызли, выравнивали землю, сдирая с нее бородавки бугров, засыпая буераки.

По распланированным полям, словно по морю, скованному штилем, работающими пароводиками плыли гусеничные тракторы, волоча за собой на буксире мощные агрегаты.

Неподалеку от шоссе экскаватор, присланный межрайонной экскаваторной станцией, прогрызал продолжение капала. Айкиз невольно залюбовалась работой экскаваторщика, худенького паренька с пышной вьющейся шевелюгой, которая делала его похожим на отцветший одуванчик: стоит только дунуть, и разлетятся во все стороны светлые, легкие волосы. Лицо паренька выражало упрямство и ярость. Рукава рубашки закатаны до локтей. На тонких руках, вцепившихся в рычаги, напряглись жилы и мускулы. Казалось, это не руки, а сплетения туго натянутых grosов. Экскаваторщик не сводил с ковша зоркого, внимательного взгляда. Пушистые брови его слились в одну светлую полоску. У него был вид человека, который пе на жизнь, а на смерть схватился с могучим противником.

Айкиз не знала, что от паренька и впрямь требовалось большое упорство: под верхним метровым слоем земля оказалась твердой как камень. Стальные клыки ковша, ударяясь об нее, отскакивали с коротким злым лягом; приходилось несколько раз опускать и хорошенько нацеливать ковш, чтобы он наконец зачерпнул землю и вывалил ее на один из берегов. Если же смотреть со стороны — экскаватор действовал легко и безотказно: мощный ковш мелькал в воздухе, словно лодка качелей.

В степи вместе с механизаторами Погодина и Смирнова трудилось немало дехкан из колхоза «Кызыл юлдуз». Они выжигали степь, корчевали корни кустарников, сооружали оросители и водораспределители и прокладывали от шоссе дорогу к поселку, к тракторному стапу.

По этой дороге и пошла Айкиз, поминутно отвечая на приветствия колхозников.

Строительная площадка, боевой участок Уста Хазраткула, была завалена горками глины, гальки, песка, серого камня; тут и там зияли в земле широкие котлованы; фыркали грузовики, подвозившие строительные материалы; скрежетала бетономешалка. Уста Хазраткул поспешил навстречу «дорогому шефу».

Чтобы посмотреть в лицо бригадире, нужно было задирать голову; и Айкиз, подняв голову, спросила:

— Как дела, Уста-амаки?

Уста Хазраткул на всякий случай припал безрадостно-сокрушенный вид.

— Грех жаловаться, товарищ Умурзакова. Сильно ты нам пособила, без тебя Кадыров совсем бы нас съел. Бригада у нас, конечно, маловата, но ничего, справляемся...

— Хитрите, Уста-амаки! Народу у вас теперь много... — Айкиз окинула внимательным взглядом горки песка и гальки и спросила: — Наверное, и бетонщики есть?

Бригадир пасунился, сдвинул на самые брови свою соломенную шляпу, сложил на груди руки и твердо, неуступчиво заявил:

— Бетонщиков в бригаде раз-два и обчелся. Видишь, камень возим. Будем закладывать каменные фундаменты. — Он искоса, настороженно посмотрел на Айкиз и, усмехнувшись, добавил: — А ведь ты тоже хитришь, товарищ Умурзакова! Выкладывай уж сразу, зачем пришла. Людей хочешь у меня забрать?..

— Мне много не нужно, помирюсь на двух бетонщиках.

— Ай, пехорошо, председатель! Заставила Кадырова дать мне людей, а теперь сама отбираешь.

— Да ведь вас от этого не убудет,— засмеялась Айкиз.— Вам недостаток в людях восполнить легко.

— Чем же это?

— Рационализаторскими идеями... Придумайте что-нибудь вроде печи для обжига, вот у вас рабочие руки и высвободятся.

Уста Хазраткул помотал головой.

— Ай, спасибо за науку, председатель, больше не буду хвастаться. А то ты, того гляди, оставишь меня без людей, с одними идеями...

Айкиз хорошо понимала Уста Хазраткула — какому из бригадиров захочется ослабить свою бригаду! — но притворилась огорченной и рассерженной.

— Я смотрю, вы тоже становитесь прижимистым, Уста-амаки... Дурной-то пример заразителем.

— Погоди попрекать меня, председатель!

— Без попреков не обойдешься. Вы еще не выслушали меня, а уже наложили резолюцию: отказать!

— Ну, говори, зачем тебе люди. Послушаем...

— Понимаете, Уста-амаки, в колхозе «Октябрь» тоже строят поселок, но колхоз этот победнее нашего, строительную бригаду там только-только организовали. Опытных строителей в бригаде мало, бетонщиков вовсе нет. А без бетона как им обойтись? Я и подумала: вы, Уста-амаки, человек предприимчивый, с размахом, бригада у вас дружная, крепкая. Что вам стоит помочь соседу? Один поселок в степи погоды не сделает. Чтобы преобразить этот край, надо всю степь украсить новыми кышлаками. А октябрьцы могут от нас отстать... Пошлите к ним своих людей на педельку-другую. Они подучат соседей, покажут им, как надо работать,— и обратно.

По мере того как Айкиз говорила, морщины на лбу Уста Хазраткула разглаживались, взгляд светлел. Когда она замолкла, бригадир вздохнул облегченно, словно Айкиз не отнимала у него строителей, а предлагала прислать новых. Сдвинув шляпу со лба на затылок, он вытер лоб и с укором сказал:

— Что же ты мне голову морочила, товарищ Умурза-

кова? Так бы сразу и сказала: мол, для пользы дела надо поступиться парой бетонщиков...

— Так ведь я с этого и начала!

— Ай, председатель, ты речь повела издалека, а с нами надо прямо, попросту. Ладно. Уступлю я октябрьцам своих ребят. Только пускай и сами пошевеливаются! Довольно им надеяться на других, ждать, когда яблоко поспеет и само свалится в рот!

Айкиз улыбнулась.

— А вы говорили, что у вас мало бетонщиков.

— Поискать — найдутся. Я ведь не знал, зачем они потребовались. Порой как бывает? У бедных берут — богатым отдают.

— Так ли, Уста-амаки?

— Бывает, председатель! У меня вон брат учился в Ташкенте, работать уехал в Москву. А в Москве, говорят, своих работников девать некуда. К нам бы в колхоз их, ученых-то людей... Наверно, пригодились бы, председатель?

— Сегодня не пригодятся — завтра понадобятся! Растем ведь, Уста-амаки!..

— В гору идем, председатель, знающие проводники нужны...

После разговора с Уста Хазраткулом Айкиз почувствовала какую-то особенную, колючую, как ключевая вода, будоражащую бодрость. Вокруг — друзья, единомышленники, с ними не страшны никакие помехи, никакие подводные камни... Ее понимают, к словам ее прислушиваются, знают, что она думает и печется о том же, о чем думают и пекутся они сами. Люди хотят быть счастливыми, и она хочет, чтобы люди были счастливыми; у ее желаний и у чаяний простых алтынсайцев — одно русло; сознание этого делало Айкиз счастливой.

Потолковав со строителями, она направилась к участку, где выстроились новобранцы-саженцы. Они были хрупки, беззащитны, издалека казались прутиками, отломанными от деревьев и воткнутыми в землю.

На этом участке, отведенном под сад, Айкиз нашла старого садовода Халим-бобо и его верную помощницу Лолу, сестру Алимджана, приехавшую в родной колхоз на летние капикулы.

К земле уже прильнул своими жгучими щупальцами знойный полдень.

Айкиз бродила с Лолой по саду, заложенному Халим-бобо, расспрашивала подругу о жизни в городе, а сама поглядывала на дорогу, где вот-вот должен был показаться Алимджан. Колхозники, работавшие в саду, успели уже подкрепиться; они предлагали Айкиз разделить с ними скромную трапезу, но та отказалась. Она ждала Алимджана.

Осмотрев сад и сказав Лоле, где ее искать, если понадобится, Айкиз пошла через степь к лесной полосе. Там работники лесхоза высаживали новые деревья, чтобы зеленая стена, отделявшая степь от пустыни, стала плотной и непроницаемой. По ту сторону стены лежали горячие желтые пески. А над ними, у самой линии горизонта, густело тревожное море. Коричневая мгла напозла из-за горизонта на ярко-синее, зеркально чистое небо. Тяжелый зной висел в воздухе...

Сердце у Айкиз словно остановилось на минуту и начало отбивать частые, глухие удары. Она заторопилась обратно, к саду, к поселку: надо было предупредить всех, что на них надвигается беда.

Вскоре Айкиз уже делилась с Халим-бобо и Лолой своими опасениями.

А Алимджана все не было...

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ НА ПЕРЕДНЕМ КРАЕ

Уже несколько дней Погодин ночевал на полевом стане.

В это утро он встал рано и сразу же услышал мощное, бодрящее гудение тракторов. Дремоту с Погодина как рукой сняло. Он взял мыло и полотенце, прошел к арыку и, шумно фыркая, ежась от холода, умылся. Весь арык заполнило дрожащее отражение его полного, рыхловатого тела. Погодин поморщился недовольно и чуть брезгливо: «Вот черт! Разнесло же! И за что только Лола любит меня?» При мысли о Лоле сердце Погодина сладко сжалось: везет же ему, медведю. В самую страдную пору в Алтынсай приехала Лола, и работать стало вдруг и легче и радостней. Даже походка у него, на удивление всем трактористам, сделалась быстрой, веселой. И грозный бас обрел не свойственную ему мягкость, умиротворенную бархатистость.

Погодин еще раз взглянул на свое отражение и, помрачнев, отступил подальше от арыка. «Туша! Гимнастикой, что ль, подзаняться?» Каждый день Погодин твердо решал делать зарядку, и каждый день оказывалось, что на это ему просто не остается времени. Не успевал он проснуться, как на него, словно из рога изобилия, начинали сыпаться неотложные, а чаще всего неотложнейшие дела и заботы...

Погодин докрасна растер полотенцем кожу, натянул рубаху, пакинул синюю с масляными разводами спедовку, расчесал короткие, редкие волосы, на ходу проглотил лепешку с холодным, оставшимся от ужина мясом и поспешил к своим трактористам.

Среди трактористов было много молодых, еще неопытных. Надо было и подбодрить их, и помочь советом. На самом стане не залатали еще всех прорех: рация работала с перебоями; в ларек не всегда завозили нужные продукты; в передвижной мастерской не хватало инструментов... Дел было сверх головы, и все же Погодину удалось «сэкономить» с полчаса на обеде и мелких хлопотах, и он грузной, торопливой походкой отправился в новый сад к Халим-бобо, якобы затем, чтобы разузнать, не надо ли чем помочь старому садоводу. Халим-бобо, разговаривая с подозрительно заботливым директором МТС, от которого никакой помощи пока не требовалось, понимающе усмехался в белую бороду. А Лола, стоя рядом, смущенно перебирала поясок на своем пестром, веселом платье, и в глазах у нее, в ямочках на круглых щеках, в уголках губ пряталась радостная улыбка. Накануне девушка уже успела повидаться с Погодиным, они о многом, кроме самого главного, поговорили, а то, что осталось невыясненным, Погодин досказал этим вот своим приходом. Лола отлично знала, как заполнено у Погодина время. И если он все-таки сумел улучшить минутку и, выдумав первую попавшуюся причину, заглянул в сад, значит, ему нелегко без нее, без Лолы.

Завидев приближающуюся к ним Айкиз, Погодин поспешно распрощался с Халим-бобо и Лолой и зашагал в степь, к трактористам.

Первым, кого он встретил, был Суванкул. Он по-хозяйски уверенно расположился в кабине мощного ДТ-54: сидел, чуть откинувшись назад, и управлял машиной медлительными, даже, казалось, ленивыми движениями. Суван-

кул был под стать своему трактору: неторопливый, неповоротливый, он обладал великим упорством, богатырской силой; наверно, если бы поднатужился, то и без мотора сдвинул бы с места стальную машину. Трактор же, словно оказывая родственную услугу, беспрекословно слушался своего хозяина.

Погодин окликнул Суваккула. Заглушив мотор, тот спрыгнул на землю и добродушно воскликнул:

— А, директор! Хорошо, что пожаловал, есть о чем поговорить. Только извини: хоть ты и гость, а угостить тебя, кроме красного словца, нечем!

Суваккул работал без рубашки. Кожа, прокаленная за лето, влажно поблескивала под лучами солнца, мускулы казались отлитыми из металла. Погодин дружески хлопнул его по могучему, крепкому, как наковальня, плечу и тоже улыбнулся.

— Ничего, удовольствуемся красным словцом. Многие и на это скупятся.

— Да, директор,— многозначительно согласился Суваккул,— скуповаты стали некоторые товарищи. Мы-то, трактористы, на своей шкуре это чувствуем.

Погодин посмотрел на него удивленно.

— Ты о чем?

— Слышали мы, что начальник Смирнов получил вагончики. Слышал об этом?

— Нет, мне пока он ничего не говорил.

— Ишь ты! Видно, боится, что ты шум поднимешь.

— Ты не тяни, в чем дело?

— Получил он, значит, эти вагончики,— неторопливо продолжал Суваккул,— и передал их своим экскаваторщикам. У нас ведь экскаваторщикам особый почет! А трактористам достался только слух об этом деле... А слух для жилья не пригоден...

— Так вам же выстроили навес!

— Так-то так, директор, но вагончики удобней, их можно везде поставить — и на стане, и в степи. К тому же и стены у навеса легковаты: из самого натурального воздуха.

— Что ж вы, свежего воздуха боитесь?

— Нет, директор, как пионеры говорят: солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья. А вот от врагов надо б обороняться. Погляди-ка туда, Иван Борисыч!

Суваккул показал рукой на край неба, опирающийся

на лесную полосу. Но, как ни всматривался Погодин, ничего, что могло бы привлечь внимание, не заметил.

— Погляди получше, — сказал Суванкул. — Как бы нынче буря не разыгралась!..

Погодин встревожился. Он знал, что такое песчаная буря в открытой степи. Если нагрянет она, трактористам после работы некуда будет деваться. На стане один-единственный домик; набьются в него трактористы, так он расползется по всем швам. Как же это он прозевал вагончики? Ведь были же они, оказывается!

— Ах ты черт! — в сердцах воскликнул Погодин, и непонятно было, кого он выругал — непрошеную бурю, себя или Смирнова...

Во всяком случае, нужно было действовать. Погодин был не из тех людей, которые аккуратно записывают в свои блокноты: «Завтра сделать то-то. Через три дня то-то. Позаботиться о том-то. Крайний срок — послезавтрашний день». То, что можно было сделать сегодня, сейчас же, он и старался сделать немедленно, не теряя времени, которое обладало скверным свойством — сеялось, как песок меж пальцами...

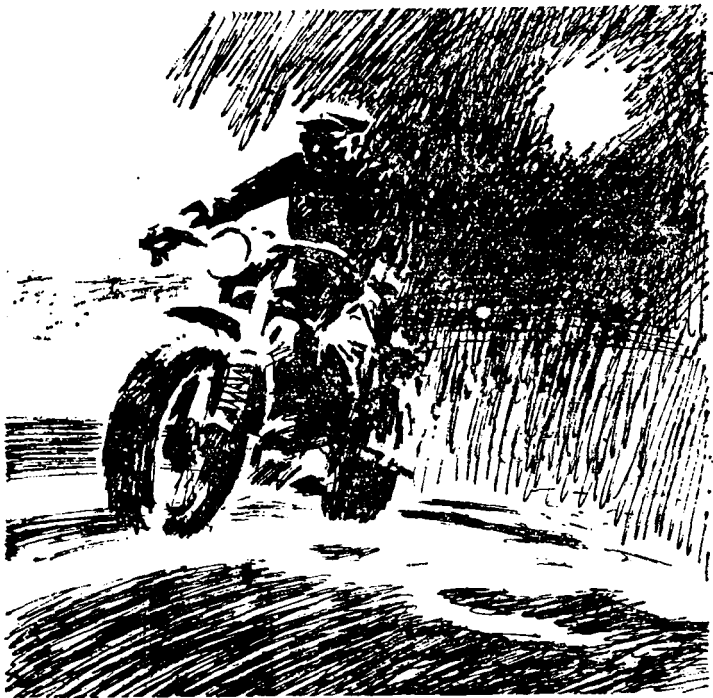
Возвратившись на стац, Погодин дал указания своим работникам, предупредил по телефону Смирнова, что через полчаса будет у него в конторе и — черт побери! — поговорит с ним как коммунист с коммунистом. Он вывел из-под павеса мотоцикл и вскоре уже мчался по дорогам — по наезженным, по ухабистым и по совсем новым, направляясь к водохранилищу.

Уже на полпути Погодин заметил, что все вокруг неуловимо изменилось. Воздух помутнел, солнечный свет стал каким-то нечистым, тревожащим. Цвета и оттенки летнего дня, всегда веселящие сердце, рождали ощущение смутной, щемящей тоски.

Крепче вцепившись в руль, Погодин посмотрел на небо и тут же окончательно убедился, что на Алтынсай подвигается песчаная буря.

Небо затянуло мглистой коричневой пеленой, заслонившей солнце. Солнце проглядывало сквозь разлившуюся по небу тучу тусклым, расплывчатым желтым пятном. Это была не грозная туча: высоко над землей струилась пыль, которую гнал из пустыни верховой ветер.

Но вот и по земле, неподалеку от дороги, пробежал, кружась, столбик пыли — спираль первого смерча. Покры-



вавший поля и дорогу песок зашуршал, зашевелился и, увлекаемый нарастающим ветром, потек меж рядами хлопчатника. А из степи, из пустыни накатывались новые и новые волны песка. Над полями поднялись дымки уже многих смерчей, пустившихся в бешеный пляс.

Погодин прибавил газу... Ветер швырял ему вдогонку песок, комья земли. Мотоцикл пелся в душном облаке пыли, но Погодин уже ни на что не обращал внимания: он думал о трактористах, которые вели свои машины сквозь заслоны вихрившегося песка, он видел их усталые, запыленные лица и, казалось, слышал их укоризненные голоса: «Что ж это ты, директор, оставил нас один на один с бурей?.. Ведь не в игрушки играть шли мы в степь! Степь — она не из смирных. Ей ничего не стоит насрать на нас зной, ветер, дождь, бурю. Надо всегда быть готове, а ты, директор, прошляпил вагончики, где мы уже

сегодня могли бы укрыться от бури, поужинать, выспаться. Ай, сплоховал, директор! Сплоховал!..»

Смирнова Погодина застал не в конторе, а на берегу водохранилища. Молча кивнув Погодину, инженер вновь вернулся к разбушевавшимся волнам. С гулом они бились о берег, отступали, словно для того, чтобы собраться с силами, и опять всей своей ярящейся мощью обрушивались на береговые укрепления, расплескиваясь во все стороны каскадами брызг и пены. Над водой с топким, пронзительным криком металась птица...

— Долбит, как молотом! — невесело усмехнувшись, сказал Смирнов. — Ничего, выстоим! Берег крепили на совесть...

Погодин, придерживая мотоцикл, чтоб не свалился на землю, проворчал:

— На все-то совести у тебя, видно, не хватает...

Смирнов заинтересованно взглянул на него.

— Ну, ну, гроза степей! Говори, зачем приехал.

— Пойдем-ка где потише. Тут только лежа можно разговаривать, не то с ног собьет...

Они прошли в контору. Смирнов, усадив Погодина в кресло у стола, подтащил поближе к нему один из стульев, сел и спросил с чуть заметной пастороженностью:

— Вижу, ты уже готов взорваться. Кто это тебя обидел?

— Ты, Иван Никитич!.. И сильно!

— Так... Ну-ну, пуши меня на все корки! Ты ведь это умеешь!

— Зря пронизируешь, Иван Никитич. Мне сейчас не до шуток.

— Тогда сразу говори, в чем дело.

Но Погодин медлил. Всегда шумный и напористый, сейчас он держался скованно. Только взгляд его был испытующим, хмурым. Погодину еще ни разу не доводилось ссориться с начальником строительства. Он верил Смирнову, уважал его, и нелегко ему было укорять человека, которого он считал своим единомышленником.

— Вот что, Иван Никитич, — сказал Погодин, переведя взгляд на окно, за которым, мешаясь с грязной мутью песчаной бури, уже сгущалась вечерняя мгла. — Ты ведь как начальник строительства в полной мере отвечаешь за успех нашего дела? За все отвечаешь, за каждый участок?..

— Каждый из нас за все в ответе...

— Брось, Иван Никитич! Сейчас речь о тебе. Ты всем распоряжаешься, с тебя и спрос! Почему ты не сказал мне, что в твоё распоряжение поступили вагончики? Кому ты их передал?

— Вагончиков было мало, Иван Борисыч.

— Верю, что мало! Но были! И ты отдал их экскаваторщикам. А мы что для тебя — чужие?..

— Иван Борисыч!..

— погоди, Иван Никитич... — Погодин развел руками и, словно удивляясь, сказал: — Вот ведь штука какая! Заняты мы все одним делом. Тебя над нами поставили начальником, а у тебя, оказывается, все делится на своё и чужое: экскаваторщики — эти в своём ведомстве, о них можно и позаботиться, а трактористы — это чужие, погодинские! Обойдутся, мол...

Смирнов молча поднялся со стула и принялся ходить по комнате, а Погодин, горячась, продолжал:

— Ну, откуда это в тебе появилось, Иван Никитич? Или это такая уж вьедливая, заразная вещь? Возведем вокруг своих ведомств глухие стены и думаем, как в поговорке, будто солнце и луна светят только для нас. Обеспечил своих людей, свой участок — и молодец, и хорошо! У тебя — плюс, а у меня — минус. В общей-то сложности минус и получается. Ведь ежели мы, трактористы, своего дела не сделаем, и общее прахом пойдёт. Значит, и труды твоих экскаваторщиков пропадут даром! И, выходит, льешь ты воду на кадыровскую мельницу! Случись у нас затор, он-то уж, будь спокоен, не упустит случая поднять шум: я, мол, говорил, я, мол, предупреждал!.. Буря-то, сам видишь, врасспех нас застала...

— Ты не паникуй, — буркнул Смирнов и, посмотрев на барометр, добавил: — Ничего с твоими трактористами не станется. Буря долго не продлится.

— Эта пройдет — повая может пагрязнуть!

— Выстоим! — уже менее уверенно сказал Смирнов. — Ребята у тебя богатыри, им любая буря пипочем!..

Погодин внимательно поглядел на Смирнова и покачал головой.

— Смотрю я на тебя, Иван Никитич, сам ты не веришь тому, что говоришь. А признаться, что неправ, тебе неловко.

Он помолчал, подумал и добавил:

— С трудностями мы, конечно, справимся... Только что-то в последнее время взяли мы за обычай всякие бытовые неполадки и те в трудности перекрещивать. И «ура» кричим: «Спешите в степь, товарищи, там хорошо, трудно: жить негде, есть нечего!» И так уж мы привыкли к чудесному, великоленному свойству наших людей — не бояться трудностей, — что порой и не заботимся, чтобы этих трудностей было поменьше. Правда, в этом случае нам, ответственным работникам, самим пришлось бы потяжелее, да ведь на то мы и ответственные!

Смирнов устало опустил на стул и, усмехнувшись — над Погодиным ли, над собой ли, — спросил:

— Все сказал?

— Хватит с тебя.

Легкий и сухощавый, Смирнов за эти минуты словно отяжелел; даже плечи у него обвисли, будто налились свинцом, тянувшим их книзу.

— Вот что, дорогой Иван Борисыч, — медленно, пытаюсь скрыть за угрюмой ершистостью покающую растерянность, произнес Смирнов. — Слушал я тебя, слушал, а ничего нового не услышал. Незачем меня агитировать, я и сам все знаю. Как придут вагончики, первым делом отправлю тебе.

— Не как придут, а сейчас! — решительно заявил Погодин, понимая состояние Смирнова, которому, видно, трудно было вот так, сразу, признать свою вину и сдаться.

— Негде мне их сейчас взять...

Погодин рассмеялся.

— Врешь, Иван Никитич, имеется, паверно, неприкосновенный запасец! Такой скряга, каким ты стал, обязательно прибережет что-нибудь на черный день!

Смирнов прошел за свой стол, выдвинул один из ящиков, достал какую-то бумагу и, перечеркнув ее своей подницей, протянул Погодину.

— На, возьми. И отстань. Завтра утром пошлешь людей на станцию, на склады.

— Сегодня же пошлю! — вставая, сказал Погодин.

Смирнов тоже встал.

— Как знаешь! И учти: уступил я тебе, только чтоб отвязаться.

Погодин лукаво улыбнулся.

— Понимаю, Иван Никитич!..

— Претензий больше нет?

Погодин, посерьезнев, подошел к Смирнову и, положив ему на плечо руку, тихо сказал:

— Я ведь, Иван Никитич, не за вагончики на тебя обиделся. Без них я, может, и обошелся бы... А без тебя вот, без такого, каким я тебя знаю уж немало лет, мне трудно... Когда я услышал об этих вагончиках...

— Ладно. Помолчи.

— Понял меня, Иван Никитич?

— Молчи. И без того тошно.

Смирнов резким, досадливым жестом — от уха к затылку — взъерошил свои белесые волосы, а когда поднял голову, лицо у него было уже ясное, повеселевшее... Друзья помяли друг друга в неуклюжих объятиях и двинулись к выходу.

Как только Смирнов распахнул дверь, в глаза ему сыпануло колючей, сухой пылью. Ветер отшвырнул дверную створку к паружной стене дома, петли скрипнули зло и жалобно; со стены посыпалась штукатурка. Смирнову еле удалось закрыть дверь... Он постоял несколько минут молча, прислушиваясь к грозному плеску волн, вглядываясь в сумеречную темь, наполненную движением туч, песка, ветра, и, неодобрительно покачав головой, спросил:

— И в этакую-то непогодь ты собираешься ехать обратно? Переждал бы у меня...

— А кто знает, сколько придется ждать? Ты слышал узбекскую поговорку: ожиданье страшнее смерти? Нет, Иван Никитич, я уж поеду... Надо о вагончиках позаботиться. Да и вообще... Лучше сейчас быть там, на стапе...

— Ну что ж... Ни пуха тебе, ни пера.

Погодину хотелось поскорее попасть на стан, и он решил ехать не обычной, окольной дорогой через кишлак, а напрямиком, по протоптанной в пустынной степи узкой тропинке. Сейчас тропинку всю занесло песком, да и в такой темноте ее все равно трудно было разглядеть. Буря стерла все ориентиры, и Погодин мчался наугад, не зная даже, где он в эту минуту находится... Им владело одно желание, которое сам выражал коротким, порывистым словом: скорее!.. Скорее, скорее — потому что он нужен людям, борющимся с бурей и с целиной! Скорее — потому что как ему ни трудно, а им еще трудней, и его место — там, с теми, кому трудней всего. Скорее, скорее! Пусть топчутся на месте те, кто лишь подталкивает людей, а не бросается

сам в гущу боя. Место коммуниста на переднем крае! Только на переднем крае! Скорее, скорее!

Мотоцикл подскакивал, и казалось, вот-вот рассыплется. Очки плохо защищали от песка. Песок попадал в глаза, набивался в уши, хрустел на зубах, колол, сек лежавшие на руле руки. Вокруг хозяйничала буря, но Погодин не видел, а только слышал ее. Она словно всасывала в себя раскатистое тарахтенье мотора, глушила его воем ветра, глухим шорохом мечущегося в воздухе песка.

На пути Погодина лежал овраг. Днем ничего не стоило провести через него свой мотоцикл, но сейчас директор не мог даже определить, далеко ли еще до оврага. На полной скорости Погодин влетел на его край. Мотоцикл подпрыгнул и повалился набок.

Очнулся Погодин уже на дне оврага, куда скатился вместе с мотоциклом. Попробовал подняться, но при первом же движении острая боль пронзила колено, словно в него воткнули раскаленную иглу. Погодин со стоном опустился на землю. Случилось худшее. Ему во что бы то ни стало надо было ехать, а он не мог даже шевельнуться: крики его тут же проглатывала буря; ждать помощи было неоткуда...

Погодин лежал в темной степи, страдая не столько от боли, сколько от обидного сознания своей беспомощности. А буря свирепела, и ветер наметал в овраг сугробы сухой земли и песка...

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ ТРЕВОЖНАЯ НОЧЬ

Когда песчаная буря обрушилась на степь, Уста Хазраткул, прикрыв стройматериалы брезентом, увел свою бригаду в Алтынсай. Халпм-бобо решил отправиться вместе с Айкиз и Лолой на стан: ему хотелось в минуту опасности быть поближе к своему детищу — новому саду...

Буря гигантским колючим клубком катилась по степи, по полям, по дорогам, по улицам Алтынсае... Воздух, насыщенный горячим песком, казался красно-желтым. Ветер вздымал пыль, сухие ветки, вырванную с корнем траву. Айкиз ясно представляла себе, что творилось в кишлаке, на дорогах, на хлопковых полях. Нежные кустики хлопчатника замело, наверно, песком. Деревья в Алтынсае по-

ники под тяжестью пыли, с иных домов ветер посрывает крыши...

Халим-бобо, Айкиз и Лола шли через степь медленно, прикрывая ладонями глаза, отворачиваясь от ветра, острыми своими когтями царапавшего лица... Старик часто поглядывал назад, где оставил на произвол бури беззащитные саженцы, но сквозь плотную пелену песка ничего не было видно.

Среди грохота бури, словно заблудившись, вдруг возникали привычные, успокаивающие звуки: то с одной, то с другой стороны доносилось прерывистое гудение тракторов — многие трактористы наперекор ветру продолжали работать в непроглядной пыли.

Старый садовод и его спутницы еле добрались до сборного домика — погодинского штаба.

В домике оказалось несколько колхозников да свободных от работы трактористов. В кабинете Погодина было пусто.

Халим-бобо и Лола сели. Айкиз подошла к окну.

Песчинки, взметенные бурей, стучали по стеклам и соскальзывали вниз — так мошки, налетев на огонь, тут же падают, обожженные, а к огню летят и летят новые стаи мошкар... Стекла потускнели от пыли. За окном тоже было тускло, мутно. Айкиз с трудом различала в этом желтовато-буром тумане силуэты людей, приходивших на стан, уходивших со стана, перебегавших от строения к строению. Трактористы не прерывали работы. У Айкиз в груди острым холодком разлилось чувство восхищения, но к этому чувству примешивалось другое, темное и тревожное: а все ли мы сделали, чтобы облегчить труд этих людей, отдающих делу все свои силы, подготовились ли к тому, чтобы достойно встретить басмаческий налет стихии? Нет, прорех еще много. Айкиз, Смирнову, Погодину, Алимджану предстоит еще многое обдумать, исправить, доделать... Людям в степи еще пегде укрыться от непогоды. Надо надежней защитить поселок и сад от бурь и зноя. Надо торопиться с посадкой лесных полос.

Все эти «надо» жалили Айкиз в самое сердце, но она не отмахивалась с досадой, а припоминала, что еще пужно, непременно пужно, ну просто необходимо сделать...

Посоветоваться бы с Алимджаном... Он может, взглянув на все со стороны, заметить огрехи, к которым она уже пригляделась. Но Алимджан вернулся, а она этого

почти не чувствует. Он здесь — но не рядом. Она даже не знает, где он в эту минуту, что делает, с кем делится своими мыслями...

На него нахлынули повседневные дела, заботы, по которым он истосковался в городе, нахлынули, завертели, закружили, и ему теперь не до Айкиз. Айкиз понимала мужа, оправдывала его и все же не могла избавиться от смутной, незаслуженной обиды, которую нанес ей Алимджан...

Как мало он думает о ней!..

На плечо Айкиз мягко легла чья-то рука. Айкиз вздрогнула и увидела рядом лицо Лолы. Беззаботная хохотушка Лола сейчас была тихой, печальной; ее круглые щеки, обычно румяные, словно наливные яблочки из сада Халим-бобо, покрывала легкая бледность.

— Айкиз-апа! А где Иван Борисыч?

— Наверно, в степи. Со своими трактористами...

— Он пошел сюда, на стан...

— Откуда ты знаешь?

— Знаю... — уклончиво сказала Лола и, обняв подругу за плечи, прижавшись к ней, словно иззябший ребенок, попросила: — Айкиз-апа, пойди узнай, где он сейчас...

Айкиз вышла из кабинета. В коридоре, в комнатах толпились эмтээсовцы. Лица у всех были усталые, запыленные, озабоченные. Трактористы подбадривали друг друга шутками, горячо спорили о чем-то. Самые неунывающие резались в домино. Иные спали, присев на корточки возле стены, уткнув головы в поднятые колени. В одном из спящих Айкиз узнала молоденького экскаваторщика. Сон его был безмятежен, сладок; так спят люди, довольные прожитым в труде днем.

К кому ни обращалась Айкиз, никто не знал, куда уехал директор. Она прошла на крыльцо. Домик стоял спиной к пустыне, на крыльце было чуть потише и поспокойней, чем в степи, но и здесь Айкиз чувствовала себя так, будто заплыла на утлой лодчонке в бушующее море... Вокруг разбойничала буря; лицо обжигали горячие брызги песка; стены вздрагивали под порывами ветра. А в мутной, вечереющей дали веселыми, вселяющими веру и бодрость маячками светились бледные огоньки тракторных фар. Хозяевами в степи оставались люди.

— О-о-о! Никак наш председатель? — послышалось рядом, и Айкиз, повернув голову, увидела Суванкула. Он подошел к крыльцу сбоку и устало облокотился о перила.

— Здравствуй, Суванкул! Как работается?

— Подходяще, председатель! Как говорится, «с ветерком».

— Не жалеешь, что ушел из колхоза?

— Конечно, колхозу без меня трудновато... Да и мне без него скучно. Но ведь надо же было помочь эмтээсовцам! Уж Погодин просил меня, просил...

— Расхвастался! Ты, кстати, не знаешь, где он?

— Директор-то? Он, видно, укатил к начальнику Смирнову. Я ему сигнализировал насчет вагончиков. Директор оставил мне свое «большое спасибо», а сам уехал...

— Значит, оп у Смирнова? Ну, спасибо тебе, Суванкул...

— Ай, еще одно «спасибо»! Куда мне их девать, председатель?..

Но Айкиз не дослушала Суванкула. Торопливо прошившись с ним, она поспешила к Лоле.

Лола стояла у окна, прижавшись лбом к теплomu стеклу, а старый Халим-бобо сидел на стуле, чуть пригнувшись, положив локти на колени, и, казалось, дремал. Когда вошла Айкиз, он поднял голову и с беспокойством спросил:

— Как, дочка, не утихает буря?

— Нет, дедушка, еще пуще разыгралась.

Старик сокрушенно покачал головой и, крихтя, поднялся со стула.

— Ай-ай! Поломает она мои саженцы. Схожу посмотрю...

Айкиз, обняв старого садовода за плечи, усадила его на место.

— Сидите, дедушка... Куда вы в такую бурю? Да и темно в степи, ничего не видно. Подождем до утра...

Айкиз бодрилась, но глаза у нее были темными-темными, словно и их заволокло хмурыми, непогожим сумерками...

Халим-бобо по-отцовски ласково погладил сухой, шершавой ладонью ее руку, утешающе улыбнулся.

— Ничего, дочка, обойдется...— И, понизив голос, добавил: — Пойди лучше побудь с Лолой. Видишь, как она на тебя смотрит.

Лола и правда смотрела на нее нетерпеливо, тревожно. Айкиз тихо сказала ей:

— Он у Смирнова. Поехал похлопотать насчет ваго-
нчиков для трактористов.

— Позвони Смирнову, Айкиз-апа!

— Зачем зря поднимать панику?

— А ты будто по делу...

Айкиз усмехнулась, как усмеваются взрослые, покоря-
ясь капризу ребенка, и шагнула к столу, на котором стоял
громоздкий, допотопный телефон. Она долго крутила руч-
ку, но в трубке томилась пустынная, не нарушаемая обыч-
ным потрескиванием тишина...

— Видно, бурей оборвана линия. Но ты не волнуйся,
Лолахон. Что с ним случится? Он сидит сейчас у Смирно-
ва или поехал к себе в МТС.

— Нет, ападжан, нет! Он не мог задержаться у Смир-
нова... Он давно должен быть здесь...

— Да почему, Лолахон?

Лола кивнула на окно.

— Видишь, что творится? Он должен вернуться на
стан.— Она покраснела, опустила глаза, закончила шепо-
том: — Обязательно! Я знаю Ивана Борисыча...

В груди Айкиз шевельнулось что-то похожее на за-
висть... Глаза Лолы, слова Лолы — все дышало любовью
и чистой, крепкой верой в любимого. Она была сейчас да-
леко от Погодина, но, казалось, видела его, могла предуга-
дать каждый его шаг. Она была убеждена: Погодин мог
поступить только так, не иначе. Ее уверенность и ее тре-
вога передались Айкиз...

— Погоди, сестренка! Я сейчас узнаю, нельзя ли нала-
дить связь... Вы отдохайте, а я потолкую с трактористами.

Айкиз направилась было к выходу, но в это время дверь
отворилась, и на пороге появились Умурзак-ата и Алим-
джан. И лица и одежда их были сплошь засыпаны пылью.
Густые, черные, сросшиеся на переносице брови Алимджа-
на казались седыми, как у старого Умурзака-ата, а под
бровями негаснущими угольками в серой золе весело и воз-
бужденно посверкивали глаза. Алимджан стал отряхивать-
ся и окутался густым коричневым облаком пыли. Поздо-
ровавшись с Халим-бобо и Лолой, он пододвинул Умурза-
ку-ата стул, а потом, подойдя к Айкиз, сказал:

— Прости меня, Айкиз. Замотался! Из бригады — в
кишлак, из кишлака — в бригаду... Обо всем хотелось
узнать, со всеми повидаться. Соскучился я за это время по
колхозу.

— А по мне? — требовательно, с упреком шепнула Айкиз.

— Знала бы ты, Айкиз, как я люблю тебя, умную мою, красивую. — Алимджан оглянулся смущенно и уже обыденней спросил: — Ты обедала без меня?

— Пообедала, — кивнула Айкиз и проглотила голодную слюну. — Я была у строителей, с ними и поела.

— Вот и отлично. А то я боялся, что ты прождешь меня и останешься голодной.

— Вы откуда сейчас?

— С поля, — сказал Алимджан. — Пытались защитить хлопок от бури. Да куда там!..

— А ты не скромничай, сынок! — ласково упрекнул его Умурзак-ата. — Сказать по чести, мы немало сделали. — И, обращаясь к Айкиз, восхищенно воскликнул: — Алимджан наш богатырь, дочка! Как началась буря, многие спрятались по домам: какая, мол, работа, бурю не переспоришь! Мы тоже сперва приуныли. Видим, беда грозит хлопку, да растерялись, не знаем, что делать. А вот Алимджан не пал духом!

— Отец! — просительно произнес Алимджан. — Вы уж так меня расхвалили... Колхозники — вот настоящие герои!

Умурзак-ата, пряча улыбку, несердито оборвал зятя:

— Старшие говорят — ты молчи! Так вот, дочка... Взял он кетмень и открыл воду. Тут мы поняли, что он задумал. Ветер-то песок с места на место переносит, а увлажнишь его — ему в воздух уже не подняться. Опомнились мы, схватились за кетмени. Трудно нам пришлось, дочка, куда как трудно! Ветер с ног валит, глаза от песка слепнут, в двух шагах ничего не видно, вода в арыках бунтует! Но Алимджан ведет нас, и мы идем за ним, как бойцы за своим командиром. Эх-хе, я себя молодым почувствовал, вспомнил, как когда-то с басмачами дрался!

Айкиз слушала отца затаив дыхание.

— И что же потом?

— А потом мы припесели фонари, навесили их на шеи и опять схватились с бурей! Глядим, а уж и дехкане из других бригад устыдились своей слабости, вернулись в поле. Самый опасный натиск бури мы отбили. Видит Алимджан, люди едва на ногах держатся, оставил в поле нескольких поливальщиков, остальным велел идти в кишлак.

— Сами-то вы зачем пошли сюда, а не в кишлак? Вам ведь отдохнуть надо!

Алимджан тихо сказал:

— Я знал, что ты здесь...

После этих слов, после рассказа отца педавпяя досада Айкиз на мужа исчезла. Снова он был с ней, и голос его звучал нежно и заботливо, а глаза светились любовью... На секунду она незаметно для других прижалась плечом к его груди, подняла на него просветлевший взгляд, а потом спросила отца:

— Значит, вы считаете, что хлопок можно спасти, отец?

— Не буря ведь вершит судьбой урожая. Все зависит от нас самих!.. Наляжем на работу — так, что бы там ни было, осенью весы заскрипят под тяжестью хлопка!

— Спасибо, отец, — тихо сказала Айкиз. Она подошла к окну, посмотрела, не уgomонился ли ветер. Встретила молящий, напоминающий взгляд Лолы. — Отец! Алимджан!.. Вы не видели Погодина?

— Постой, постой, дочка! — воскликнул Умурзак-ата. — У него ведь мотоцикл?

— Так вы видели его? — вырвалось у Лолы.

— После полудня кто-то проехал мимо нас на мотоцикле. Несся как бешеный!..

— Это Иван Борисыч! — снова не вытерпела Лола и поспешила отвернуться к окну, чтобы никто не увидел густого румянца, залившего ее лицо.

— А обратно он не проезжал? — спросила Айкиз.

— Нет, дочка...

Алимджан с догадливой усмешкой взглянул на сестру и, подмигнув жене, умышленно громко произнес:

— Оп, верно, в кишлаке или у себя в МТС. За Погодина тревожиться нечего.

— Никто и не тревожится, — не поворачивая головы, всхлипнув, пробормотала Лола.

В этот вечер и в эту ночь здесь никто не спал, лишь старики — Халим-бобо и Умурзак-ата — прикорнули на своих стульях.

Алимджан и Айкиз пошли к трактористам.

Трактористы работали с таким упрямым, но веселым, хмельным задором, словно бросали вызов разгулявшейся буре: «Ты вздумала испугать нас, сокрушить, опрокинуть? Нет, мы не дрогнем под твоим яростным натиском!» Это

была азартная схватка с природой, когда кровь в жилах бурлит, а слух, зрение, мускулы — все напрягается до предела.

Айкиз шла по степи, и ей радостно было разрезать плечом, как волну, упругий, шершавый ветер, отфыркиваться, когда в лицо, как бекасинником, бил острый песок, и все идти и идти вперед, наперекор непогоде! Она чувствовала себя смелой, сильной и уже не так, как недавно, досадовала на бурю, подвергшую ее и всех этих мужественных и решительных людей суровому испытанию.

Неожиданно из непроглядной тьмы до Айкиз донеслась песня. Ветер попробовал смять, искромсать ее, изрубить на куски, но не смог: песня плыла в ночи, неподвластная стихиям, и звучала все громче, уверенней. Это пел кто-то из трактористов; пел без слов, выводя только мотив, вкладывая в него свою душу, отчаянную и восторженную.

И Айкиз подумалось: если бы эту песню услышали Султанов и Кадыров, они на бюро райкома говорили бы по-другому! Почему они не хотят ничего ни видеть, ни слышать? Каким песком запорошило им глаза, забило уши?..

Когда Айкиз вернулась на стан, ей сообщили, что оборванная линия восстановлена. Телефон работал.

Лола за эти часы стала еще бледней, осунулась. Глаза ее влажно блестели. Высохшая слеза оставила на щеке гляцевую полоску. Айкиз достала платок и, пряча улыбку, вытерла подруге щеку.

— Ну что ты, Лолахон?..

— Айкиз-апа, — беспомощно сказала Лола, — я звонила Смирнову... Иван Борисыч поехал сюда.

— И... и что же?

— Он выехал давно, очень давно... В МТС его тоже нет... Да ведь он бы и сам позвонил!

Халим-бобо, разбуженный приходом Айкиз, подошел к подругам и, ласково, жалеюще взглянув на Лолу, покачал головой.

— Да, доченька, с директором, видно, приключилась беда... Погодин хоть и молод, но трактористам он вроде отца. А разве хороший отец забывает о детях? Он и поспешил к ним в тяжкую минуту. И выбрал, верно, путь покороче. Покороче и поопасней...

— Ападжан, — взмолилась Лола, — надо искать его!

— Что ты, Лолахон?.. В такую погоду?..

— Ах, ападжан, если бы даже все дороги замело снегом, если бы на землю обрушился град, если бы весь песок Кызылкумов поднялся в воздух — я все равно...

Она говорила торопливо, горячо, словно произносила жаркую клятву, по Айкиз прервала подругу:

— Сейчас бесполезно его искать, Лолахон... Взгляни, какая темень на дворе! Мы только выбьемся из сил.

— Что же делать?

— Наберись терпения. Вспомни пословицу: нетерпеливый сам себя губит...

— Ай, мне сейчас не до пословиц!..

— Айкиз правильно говорит, дочка,— сказал Халим-бобо.— Надо дожждаться утра. Как ни тяжело, а падо ждять. Утром я сам пойду с вами. Поверь, дочка, дела, за которые берется старый Халим-бобо, завершаются благополучно... Ты пока отдохни, сядь вот за этот стол да подремли.

— Нет, дедушка, мне не до сна.

Старик покачал головой.

— Приехала ты сюда отдохнуть, набраться сил, и нет тебе ни сна, ни покоя... Да еще в саду возишься... Может, освободить тебя от этой работы?

— Что вы! Без дела будет скучно... Когда работаешь, не замечаешь, как летят дни!

Айкиз хоть и была встревожена исчезновением Погодина, но не могла удержаться от улыбки: знаю я, почему тебя тянет в сад, почему дни для тебя летят веселыми, быстрыми птицами. Ведь рядом Иван Борисович! Опа ласково, успокаивающе погладила Лолу по плечу.

— До утра недалеко, сестренка, подождем.

До рассвета оставалось несколько часов. Но эти часы Лоле показались бесконечными, время было глубокой, черной пропастью, в которую Лола падала, падала и все не могла достичь дна...

Буря бесилась всю ночь. Рассвет забрезжил, пугливый, перешителный... У Лолы от бессонной ночи глаза покраснели, веки припухли, кожа на лице словно подернулась серым пеплом.

— Пойдем, Айкиз!

— Сейчас, сестренка... Я попросила найти для нас коней. Трактористы тоже собираются на поиски — их очень беспокоит судьба директора. Волнуются ребята, пожалуй, больше нас...

Летнее утро — это всегда летнее утро. Ничто не может его победить. Ветер по-прежнему крутил в воздухе тучи песка и пыли, по к нему уже привыкли. Солнечный свет, пробивающийся сквозь эти тучи, был тревожным, зловецким. И все-таки это был свет начинающегося дня, а днем все выглядело не столь страшно и грозно, как ночью...

Умурзак-ата и Алимджан ушли в поле. Перед уходом Алимджан предупредил Айкиз: если понадобится его помощь, пусть немедленно придет кого-нибудь за ним. Старый садовод предложил себя в проводники Айкиз и Лоле. Но, жалея старика, они отказались от его услуг. Он медленно побрел в степь, к своему саду...

Вскоре тронулись в путь и Айкиз с Лолой. Они обогнали группу эмтээсовцев, которые шагали по степи широкой цепочкой, уставшие, озабоченные. Тропинки и дороги были засыпаны песком. Айкиз мысленно провела прямую от стана к водохранилищу (вероятнее всего было, что Погодин поехал именно так — напрямик через степь), и конь, подчиняясь ее воле, двинулся вперед, придерживаясь этой воображаемой дороги и в то же время делая длинные зигзаги.

Ветер дул то сбоку, то в спину. Песок, поднятый ветром, как ни заслонялись от него, лез в глаза. Лола, ехавшая позади Айкиз, то и дело восклицала:

— Ападжан! Я ничего не вижу! Так мы не найдем его.

Айкиз молчала и, пересиливая колющую боль, от которой слезились глаза, напряженно всматривалась в степь.

Часа через два подруги, петлявшие по степи, добрались до обширного оврага, прозванного местными жителями «Беш чукур» — «Пять буераков». Копи медленно, осторожно переступая копытами, вязнувшими в песке, спустились в овраг, и вдруг Лола вскрикнула:

— Айкиз! Вон он!

Погодин был весь занесен песком. Виднелись только руки да голова. Он попытался приподнять ее, но тут же снова, как на подушку, уронил в мягкий песок.

Лола первой прыгнула с коня, подбежала к Погодину, нагнулась над ним и, отгребая с груди и шеи песок, поцеловала в растрескавшиеся, пересохшие губы. Погодин слабо улыбнулся, шепнул хрипло:

— Ничего, Лола... Ничего... — и, к ужасу девушки, бесильно смежил воспаленные веки.



— Айкыз! — закричала Лола. — Скорее, Айкыз! Оп умирает!..

К счастью, Айкыз не потеряла обычной решительности и твердости. Она опустилась рядом с Лолой на колени, просунула руки Погодину под мышки и попробовала поднять его. Погодин застопал... Увидев, как побелела Лола, Айкыз кивком показала ей на коней:

— Подведи их поближе!

Лола отошла, оглядываясь. Айкыз, до боли прикусив губу, напрягшись всем телом, подтянула Погодина к краю оврага. Погодин с трудом открыл глаза, благодарно взглянув на Айкыз, шепнул что-то, но налетевший порыв ветра заглушил его слова...

— Что с тобой? — морщась от жалости к Погодину, спросила Айкыз. — Где болит?

— Нога... С ногой что-то...

— Придется потерпеть, Иван Борисыч!

Погодин кивнул:

— Стерплю...

— Крепись!..

Айкыз с трудом подволокла обмякшее, отяжелевшее тело Погодина к одному из коней и с помощью Лолы взвалила на седло. Сама она села позади Погодина и строго сказала Лоле:

— Поезжай следом и не реви. Ему и без того худо.

Лола ответила ей взглядом, полным восхищения и благодарности: она уже стыдилась недавнего отчаяния. И особенно стыдно ей было перед Айкыз, которая вела себя так мужественно и стойко.

Придерживая Погодина, Айкыз, потянув поводья, пустила коня мягким шагом.

Первым их увидел Суванкул. Не скрывая своей радости, он подбежал к медленно бредущим коням, крича во всю мочь:

— Нашли, нашли, товарищи!

Но радость Суванкула и других трактористов быстро померкла, когда они увидели, в каком состоянии директор.

— Жив?

— Что с ним?

— Жив, но что с ним — не знаем. Нашли в овраге. Пусть кто-нибудь заберет там мотоцикл. — И Айкыз, не останавливая коней, показала туда, где они нашли Погодина.

Как медленно тянется время, когда спешишь! Может быть, часа два, а может быть, и меньше часа прошло, когда они, пробившись сквозь бурю, достигли тракторного стана, где размещался медицинский пункт.

Погодин за всю дорогу не издал ни единого стопа; когда ему оказывали первую помощь, он, преодолевая боль, крепился, затем решительно заявил, что ни в какую больницу не поедет.

— Поднимать целину, — не в игрушки играть! Мое место здесь, на стане, — он попытался улыбнуться, но улыбка получилась какой-то бледной, похожей на гримасу.

Пришлось принести в медпункт из директорского кабинета стол с телефоном. Погодин вскоре забылся беспокойным сном, и хотя он был недолог, но принес больному облегчение. Директор повеселел, приободрился, и комната, словно улей, наполнилась деловитым, беспорядочным шумом, ни на минуту не оставаясь пустой.

Лола не отходила от постели Ивана Борисовича. Она оказалась терпеливой сиделкой, заботливой, самоотверженной...

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

ПОСЛЕ БУРИ

Песчаная буря пробушевала около двух суток. К исходу бури волны водохранилища поднялись выше, грознее. Напор воды в канале, от которого, как ветви от дерева, тянулись к полям арыки, усилился. Вода подмывала береговые насыпи, продырявленные сусликами, полевыми мышами, муравьями. Просочись она в каком-нибудь месте — промоина быстро расширится, на поля хлынет бурный поток.

Айкыз, узнав о грозившей полям опасности, помчалась на Байчибаре к Смирнову. Они собрали сведущих опытных мйрабов, прошли с ними вдоль канала, с дотошной внимательностью обследовали каждый участок береговой насыпи, позаботились, чтобы к ненадежным местам были доставлены камни, хворост, свежие ветки. Мйрабы принялись укреплять, латать подмытые берега. Когда стемнело, дехкане, хлопотавшие на канале, зажгли фонари, и канал на всем своем протяжении расцвел радужными колеблющимися огоньками.

Так прошла еще одна почь... А утром, когда буря сло-

жила крылья, когда миновала и угроза нежданного паводка, Айкыз простилась с мирабами и Смирновым. Смирнов уговаривал ее отдохнуть, вздремнуть в конторе, но Айкыз торопилась.

— Нет, Иван Никитич, отсыпаться будем после! Сейчас, верно, ни одному дехканицу не до сна!..

— Ну, Кадыров-то, пожалуй, спит сладким сном праведника и видит во сне, как черти поджаривают нас на сковородках.

— У Кадырова сейчас забот больше, чем у других. Ведь болеет же он за свой колхоз! — Айкыз пристально посмотрела на Смирнова и рассмеялась. — Ой, Иван Никитич! У вас борода отросла! А глаза совсем слипаются!..

Смирнов блаженно, до хруста в костях, потянулся.

— Поспать бы сейчас... А потом побриться... И зажить наконец нормальной, спокойной жизнью!

— Вот и ложитесь спать, Иван Никитич!

Но Смирнов только махнул рукой. Обменявшись с Айкыз крепким, сердечным рукопожатием, он юношески бодрой, какой-то нетерпеливой походкой вернулся к водохранилищу.

Весь этот день Айкыз провела в степи. Она побывала у хлопкоробов, на полевом стае Погодина, навестила старого Халим-бобо, который зарывал в землю похожие на паучков корни саженцев, поваленных бурей.

Всюду — в степи, в кпшлаке, на полевых стагах — буря оставила грозные, ощутимые следы. Придорожные рвы, канавы, овраги завалило песком, комьями земли, обломанными ветками и листвой. Вода в арыках текла желтая, мутная; в степи возле каждого кустика саксаула или пальчатки высился песчаный бугор. По распаханной целине буря расстелила песчаное одеяло. Своим шершавым языком она облизала хлопковые поля, засыпала чуть не по самую макушку молодые зеленые побеги хлопчатника, запорошила их желтой пылью, и они, как и трава близ дороги, казались иссохшими от зноя.

Опустошительные бури были алтынсайцам не в диковинку, но впервые они лицом к лицу встретились с непогодой на широких просторах степи и полей в самые горячие, напряженные дни. От нее пельзя было спрятаться, и алтынсайцы сшиблись с ней грудью. Теперь же, когда буря прошла, надо было поскорей залечить нанесенные колхозу раны.

Погодин затеял на полевом стане «генеральную уборку». Эмтээсовцы выгребали со двора песок и мусор, чинили поврежденные бурей навес и крышу сборного домика, вызволяли из песка бочки с горючим, инструменты, тракторные детали, наводили порядок в полевых вагончиках, доставленных со станции. Приходилось урывать время от сна, от обеда, от отдыха. Но победа над бурей окрылила людей, и теперь ничто не могло заставить их отступить от заветной цели — покорить целину.

Дехкане, охваченные тем же чувством, что и трактористы, принялись расчищать арыки, рыхлить, размягчать землю вокруг кустов хлопчатника, подкармливать, поить растения. Делалось все, чтобы кустики, уже выпустившие первые острые листки, насытились, окрепли и вольно, бурно, словно никакой непогоды не было, пошли в рост, принялись на радость людям за кропотливую, таинственную, мудрую работу: сотворение хлопка — «белого золота».

На полях рокотали «Универсалы», тащившие за собой культиваторы: они нарезали меж рядов хлопчатника неглубокие борозды, по которым медленно пробиралась пушечная из арыков вода.

Не отставал от всех и старый Умурзак-ата. Его белая борода, белые узоры на тубетейке, белый халат, открытая грудь, пропеченная солнцем, — все покрылось пылью; к спине, чудилось, кто-то приложил горячую ладонь. Но разве мог он подвести дочь, свое звено, колхозников, которым они с Алимджаном твердо пообещали: хлопок можно спасти!

Когда Умурзак-ата наконец выпрямился, разогнув сладко занывшую спину, он увидел рядом с собой Кадырова. Кадыров стоял, заложив за ремень большие пальцы, похлопывая остальными по круглому, тугому, как арбуз, животу, и озабоченно поглядывал на ряды хлопчатника.

— Салам алейкум, отец, — кивнул он старому хлопко-робу. — Видал, к чему привела затея твоей дочки?

Умурзак-ата скользнул по лицу Кадырова острым неприятливым взглядом.

— Дочка моя тут ни при чем, раис.

— Ни при чем, говоришь? А по чьему настоянию людей перебросили с хлопка на целину? Твоя дочь ослабила полеводческие бригады, вот вам теперь и приходится над-рывать, спасая хлопок. Жалко мне тебя, отец. Глаза

твой ослабли, руки ослабли, спина сторбилась, а ты днюешь и ночью в поле, исправляешь чужие ошибки...

Глаза у Умурзака-ата сощурились холодно, пощимающе.

— Спасибо за твои заботы, раис. Но пам от тебя не жалость — помощь пужна. Ты ведь хозяин опытный: землю понимаешь, хлопок понимаешь.

— Помочь не отказываюсь. Обещаю тебе, отец, сделаю все, что смогу.

Умурзак-ата снова взялся за кетмень, а Кадыров зашагал к дороге, где ждал его конь.

Все эти дни председатель был сам не свой. Когда началась буря, душу его до краев переполнило злорадное чувство: что, голубчики, дождались? И чем больше неистовствовала буря, тем сильнее он торжествовал: ненавистные ему «выдумщики», силой вовлекшие его в опасную, рискованную затею, потерпели неудачу; уж теперь-то они угомонятся и, слава богу, оставят его в покое!

Но вскоре, словно очнувшись, Кадыров сердито одернул себя: «Ай, осел, ну чему ты радуешься?.. Тому, что пропал даром труд твоих колхозников? Тому, что на них свалилась беда и каждого — каждого из тех, кого ты знаешь, с кем прожил столько лет вместе, — ушибла, поранила?»

Кадыров взгромоздился на коня и проехался вдоль хлопковых полей, с хмурой безнадежностью наблюдая за колхозниками, самоотверженно боровшимися против бури.

Ну что они могут? Лезут из кожи воц, хлопочут над каждым кустиком, да что толку? Буря всю степь, словно снегом, замела песком, позасыпала в полях все борозды. Тут плакать впору, а не радоваться.

Угрюмое, пасмурное выражение не сошло с его лица и после бури. Он ясно представил себе, что было бы, если бы они уже засеяли хлопком целинные земли и все это очутилось под песком...

Кто знает, удалось бы им спасти хлопок? Оп, Кадыров, никогда не имел дела с такими обширными хлопковыми массивами, а ведь все побежали бы к нему: «Что делать, председатель? Помогите, председатель!..» И если бы хлопок погиб, спросили бы тоже с него, с Кадырова!..

Нет, что ни говори, а буря все-таки разразилась вовремя... Оба они — и Кадыров и Султанов — оказались правы. Теперь можно действовать смелее и увереннее. Надо все

силы бросить на спасение хлопка, и Кадыров своей властью председателя приостановит строительство поселка, вернет людей с целины в прежние бригады. Он вправе это сделать: ведь он головой отвечает за судьбу нынешнего урожая. А Умурзакова и ее друзья пусть выкручиваются как хотят.

Кадыров побывал в бригадах, где дела шли не так уж гладко: хлопчатник здесь еще не оправился, и колхозники, из тех, что никогда не отличались особым рвением, уныло жаловались: «Да, трудно. Да, рабочих рук не хватает». Кадыров знал: иные из этих колхозников во время бури отсиживались дома, да и теперь работали с прохладцей; бригадиры тут были не из крепких и львиную долю работы перекладывали обычно на женщин. Но трогать этих людей было нельзя: на всех собраниях они горой стояли за председателя, всем и всюду напоминали о его заслугах, а за это можно было пойти на кое-какие поблажки, простить кое-какие грешки... Обидишь их — потеряешь друзей, а надежных друзей у него не так уж много...

Он попробовал также заручиться поддержкой опытных хлопкоробов, таких, как Умурзак-ата. Умурзак-ата хоть встретил его неприветливо, но попросил помощи. Что ж, Кадыров готов ему помочь. Он укрепит его звено дехканами, которые до сих пор впустую — да, да, впустую! — возились на целине.

Объехав бригады, Кадыров вернулся в кишлак и позвонил Султанову. Султанов внимательно выслушал его (вот руководитель, умеющий прислушиваться к голосам трезвым и практическим!) и одобрительно произнес:

— Что ж, раис, благословляю! Главное сейчас — хлопок. Хлопок — это богатство и честь колхоза! Это хлеб, деньги, новые дома. За хлопок государство поблагодарит нас, и сегодня же, а не в отдаленном будущем! И помни, если мы в этом году соберем хороший урожай, это будет нашей, и только нашей, заслугой! Понял?

После разговора с Султановым у Кадырова совсем отлегло от сердца. Ай, молодец Султанов! Только золотых дел мастер знает цену золоту, и не говорит ли о дальновидности председателя райисполкома то, что он понял и поддержал Кадырова? О, Кадыров докажет Султанову, что тот в нем не ошибся! Хлопок! Главное — хлопок! И сегодня, а не в отдаленном будущем, которое еще неизвестно что с собой принесет! Рубль в руках дороже ста рублей,

которые обещали через год. Целина пока урожайна только заботами, а на старых землях уже растет хлопок. Правда, хлопка этого — не через край, но зато его можно увидеть, потрогать, показать другим! Надо скорее, немедленно же, снять людей с целины и отправить на хлопковые поля! Авторы «целинного» плана и пикнуть теперь не посмеют; они вынуждены будут держать язык за зубами. Надо торопиться, пока они не оправились от растерянности!

Первым делом Кадыров отправился на участок Уста Хазраткула.

У строителей был обеденный перерыв. В мисках, стоявших на ковре, разостланном прямо на земле, дымилась жирная шурпа. Вокруг ковра в сосредоточенном молчании (так, молча, сосредоточенно, неторопливо, едят только очень усталые люди) сидели строители. Завидев председателя, Уста Хазраткул поднялся, поздоровался и радушным жестом, протянув к коврику обе руки, пригласил Кадырова пообедать с ними.

У людей, находящихся в отличном настроении, обычно и аппетит отличный. Кадыров отпробовал шурпы, блаженно сощурился.

— Хороша шурпа!..

— А вы покрошите туда лепешку, — посоветовал Уста Хазраткул. — Ничего нет вкуснее шурпы с лепешкой. А в степи, на свежем воздухе, такая шурпа — объедение!

— Ты меня не учи! — обидчиво сказал Кадыров. — Я ведь не из городских, знаю толк в шурпе!.. Сколько раз приходилось обедать в поле!

Уста Хазраткул улыбнулся.

— То в поле, а то — в степи! Тут и работаешь внаглую и ешь за двоих! Богатырем себя чувствуешь!..

Строители, не забывая о еде, с любопытством прислушивались к разговору бригадира и председателя. Ощутив на себе их внимательные взгляды, Кадыров в раздражении бросил ложку в миску с шурпой, встал и, смотря сверху вниз на Уста Хазраткула, тоном приказа отчеканил:

— Довольно вы поели шурпы на целине! Теперь будете есть плов на старых землях! С сегодняшнего дня половина строителей закрепляется за полеводческими бригадами. Остальным придется поработать в кишлаке, привести в божеский вид дома, поврежденные бурей!

— А как же новый поселок?..

— Это уже не мое дело. Не я это затеял, не мне об этом заботиться. Нам об одном надо думать: как собрать в этом году обильный урожай хлопка!

Уста Хазраткул, тоже встав, примерз недобрым взглядом к лицу Кадырова.

— Неладное говоришь, раис! Посмотри, сколько мы уже сделали! Буря нам не помешала. В котлованы нанесло песка — мы его оттуда выбросили. Цемент, известь, гвозди — все уберегли от бури! И печь наша стоит как ни в чем не бывало: на днях начнем обжигать кирпич. Теперь только работать и работать, а ты приказываешь отступать. Не дело это! Мы понимаем: надо бы и в кишлаке дома подлатать. Что ж, мы не отказываемся. Мы и хлопкоробам готовы помочь. Выделим людей! Но свернуть работу на целине — не в твоей власти. — Он обернулся к строителям, которые еще не управились с обедом. — Верно я говорю, дорогие?..

К Уста Хазраткулу подошел один из строителей. Немало, видно, лет прожил он под солнцем: кожа на лице твердая, как хлебная корка, изрезанная глубокими морщинами, взгляд жесткий, колючий. Обращаясь к Кадырову, старик сказал надтреснутым голосом:

— Не много ли берешь на себя, раис?.. Такие дела решаются на общем собрании. Нам собрание доверило почетную работу, и мы не бросим ее. Нет, не бросим, пока народ не скажет свое слово!..

Кадыров сощурил глаза в высокомерной усмешке.

— Вот вы как заговорили: «мы не отказываемся», «мы выделим», «мы не бросим». А председатель для вас пустое место? Нет, дорогие, пока еще я хозяин в колхозе, а не вы! И я не стану по каждому поводу созывать собрание! Не болтать надо, а работать! А за работу я отвечаю, я, председатель колхоза!.. И я приказываю: собирайте свои пожитки и — в поле, в кишлак! Иначе я с вами поговорю по-другому!.. Мое решение сак... сан-кцион-ро-ва-по районным начальством!.. Я... я не позволю вам подрывать авторитет вышестоящих лиц!..

Кадыров захлебнулся последней фразой, каким-то ошалелым взглядом окинул притихших строителей и, даже не попрощавшись с ними, удалился твердой, тяжелой походкой.

Уста Хазраткул с таким усердием заскреб пятерней за-

тылок, что столкнул свою шляпу, по так и не поднял ее: он увидел Айкиз, скачущую к ним на Байчибаре, и заспешил ей навстречу.

Выслушав сердитые сетования бригадира, Айкиз усмехнулась.

— Так... История повторяется! Ну что ж, Уста-амаки, как говорят солдаты, оружие к бою! Поеду поищу председателя.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ
С НАРОДОМ ГОРЫ СВОРОТИМ

Айкиз нашла Кадырова близ участка Бекбуты. Председатель колхоза разговаривал с нагрязнувшимся в Алтынсай Джурабаевым. Рядом, на шоссе, грелся на солнце старенький, запыленный «газик» секретаря райкома, а вокруг Кадырова и Джурабаева тесным полукольцом стояли колхозники.

Так всегда бывало: явится куда-нибудь Джурабаев, остановит машину, подзовет к себе кого-нибудь из местных командиров, глядишь, а их уже окружил народ, невесть как узнавший о приезде секретаря райкома. И Джурабаев старается всех вовлечь в оживленную беседу, раздувает угольки горячего спора и сам не отмалчивается, не выпускает на себя вид хитрого, всеведущего оракула, который до поры до времени приберегает решающее слово, а тоже спорит, убеждает, подсказывает.

Среди колхозников, обступивших секретаря райкома, Айкиз увидела Алимджана, Умурзака-ата, живого, напоистого Бекбуту, быстрого и пылкого, как огонь, Керима и даже Гафура, который, видно, рад был случаю хоть ненадолго оторваться от работы.

На Джурабаеве были легкие брезентовые сапоги, выбеленные пылью, белая, пожелтевшая фуражка. Поздоровавшись с ним, Айкиз с упреком сказала:

— Вы, видно, весь район изъездили, а к нам заглянули к последним...

— А я очень рад, что мне не было надобности к вам спешить, — весело ответил Джурабаев. — Я на вас крепко надеялся и, кажется, не ошибся! Это же замечательно, когда на местах есть люди, на которых ты можешь положиться! Благодаря вам, друзья, я могу подольше поспидеть в слабых колхозах.

— Так ведь и у нас не все гладко! — хмуро заметил Кадыров.

Джурабаев быстро повернулся к нему.

— Ты мне уже говорил об этом! Но я еще до разговора с тобой посмотрел, как идет работа на ваших полях, и убедился: дехкане из «Кызыл юлдуз» успешно ликвидируют последствия бури!

Самоуверенно усмехнувшись, Кадыров возразил:

— Вы, наверно, были в лучших бригадах. Но по ним пельзя судить о положении в колхозе. У нас немало участков, где хлопчатник не оправился, и, если мы не бросим на его спасение все силы, хлопок погибнет.

Джурабаев пожал плечами.

— Возможно, я видел работу только передовых бригад. Но ведь это твое, председателя, дело — подтянуть отстающих. Работа, с которой справляются одни, посыльна и для других. В чем-то тут у тебя недосмотр, раис.

— Ну конечно! Чуть что, виноват председатель колхоза! А сейчас надо не виновных отыскивать, а спасти хлопок! Хлопок надо спасать!

— Но не так, как вы его спасаете! — вмешалась Айкиз. — Вот рассудите нас, товарищ Джурабаев! Кадыров только что велел строительной бригаде уйти с целины в кишлак и заняться домами, поврежденными бурей. Но эти его действия ничем не оправданы, если только не считать нежелания осваивать целину. Буря разрушила лишь несколько старых, ветхих лачуг. А в том, что такие дома еще есть в колхозе, опять же виноват председатель!

— Ладно. Признаю свою вину! — В глазах Кадырова мелькнуло злобное торжество. — Но мои ошибки с булавочную головку, а ваши, товарищ Умурзакова, с верблюда! — Гафур и еще несколько колхозников рассмеялись, и Кадыров продолжал окрепшим, уверенным голосом: — Это из-за вас хлопок до сих пор под песком!..

— Уж не думаете ли вы, что это я напустила бурю на хлопковые поля?

— Сейчас не до смеха, Умурзакова, — твердо, решительно сказал Кадыров. — Ваши ошибки видны всем, у кого есть глаза. Вы еще не дошили простого халата, который можно было бы носить в будние дни, а уже принялись шить праздничный! Вот простой-то и распозлся. Затрещал по всем швам!.. Я же всегда говорил: печенка, которая варится в котле, лучше курдюка, болтающегося на баране.

— А мы хотим, чтобы в котле варились и печенка и курдюк,— сказала Айкиз.

— Верно! — поддержал Бекбута. — Такое-то варево куда лучше!

— Ишь! Захотели залезть в рот обеими руками! Хотеть все можно. Только, погнавшись за двумя зайцами, ни одного не поймаешь!

— Поговорка — еще не доказательство! — отрубил Айкиз. — А мне Уста Хазраткул твердо обещал: они сумеют восстановить разрушенные дома в кишлаке, не прекращая работы по строительству поселка! Вы решили также забрать у строителей половину людей, чтобы пополнить ими полеводческие бригады, в которых дела идут не ахти как хорошо. Я была сегодня в этих бригадах. Сколько человек обрабатывают там один гектар?

— Ну, три, — неохотно проворчал Кадыров и, заметив среди окружающих колхозников из отстающей бригады молодого парня с кетменем на плече, добавил: — В иных бригадах — четыре.

— А у тебя сколько, Бекбута?

— Тоже три человека на каждом гектаре. У меня людей хватает, не жалуюсь... И хлопок мы выходим! Мы и в бурю-то работали по-фронтовому, а теперь подавно не подкачаем! — Он закатал рукав халата и продемонстрировал перед всеми вздувшиеся буграми, словно сталью налитые, мускулы. — Есть еще силушка в гвардейских руках! — И, постучав себя пальцем по лбу, хвастливо добавил: — Да и тут кое-что имеется!

— А сколько у нас тракторов! — с молодой горячностью выкрикнул Керим. — Целая колонна!

— И на каждом такие богатыри, истинные Алпамыши, как мой дорогой друг Суванкул! — под общий веселый смех заключил Бекбута.

Джурабаев, с трудом сдерживая улыбку, вновь обратился к Кадырову:

— Слышал, раис, что говорят твои дехкане?

— Товарищ Джурабаев! Они своей же выгоды не понимают. Ведь сколько пота прольют, пока добьются своего!..

— А ты не жалея нас, раис! — опять вступил в разговор Бекбута. — Ты бы пожалел нас в прошлом году, когда отказался пустить на поля хлопкоуборочные машины!

— Эти машины только портят хлопок.

— Да ведь те, которые все-таки пришли к нам, ни ку-ста не повредили! — не удержался Алимджан. — Отрица-ние, конечно, самый удобный, самый легкий вид критики.

— Э, парторг, даже в газетах пишут, что машины еще несовершенны!

— Пишут ради того, чтобы сделать совершеннее... Это наша общая забота! А ты, вместо того чтобы варить плов, ждешь, когда он сам сварится... И чураться даже хорошей, полезной техники. Сколько уж мы с тобой об этом спорим!

— Да мы не боимся и тяжелой работы, — сказал Бек-бута. — Когда трудно работать, не беда! Плохо, если жизнь трудная... Мы и стараемся так сделать, чтобы жилось нам лучше, вольготней! Ради этого можно сто потов пролить, раис!..

— Ладно. Поднимете вы целину, постройте поселок, а буря снова все разметет!

— От бури мы отгородимся зеленым заслоном, пески укрепим, пустыню засею саксаулом!.. — горячо возразила Айкиз. — Нет безвыходных положений, товарищ Кады-ров!.. Возьмемся за дело с умом, с охотой, так справимся с любыми трудностями! Вот бы и вы подумали, как нам уберечься от бурь, от засухи!

— Умурзакова права, раис, — сказал Джурабаев. — Энергии, пыла, с каким ты выступаешь против освоения целины, с избытком хватило бы на то, чтобы помочь кол-хозникам освоить эту целину, засеять ее хлопком, защи-тить хлопок от песчаных бурь, от суховеев. И ведь ты мог бы помочь своим дехканам, если бы верил в них.

Кадыров стоял, чуть расставив ноги, хмуро потупив-шись, вцепившись в ремень так крепко, что края его ре-зали ему ладони и пальцы. Вся его поза выражала мрач-ное упрямство. Ну вот, все получилось так, как он думал! Теперь на него, Кадырова, свалят все заботы, он согнется под их тяжестью. Стоит сделать неверный шаг, как ткнешь-ся носом в дорожную пыль... Колхозникам да бригадирам легко швыряться обещаниями. Им что! Не выгорит дело — они ничего не потеряют, жизнь у них останется прежней: ни лучше, ни хуже... А на него все пальцами будут пока-зывать: плохой председатель, нерасторопный председа-тель! И свалят! Как пить дать свалят! Под него уж давно начали подкапываться. Его однажды чуть не вышибли из седла... А он всей своей жизнью заслужил почетное право

руководить. Он создал, выпестовал колхоз, поднял его на должную высоту: выше-то пока и не надо! Нет, он не выпустит вожжи из своих рук, он не так-то прост. И на рожон он не полезет. Джурабаев и Умурзакова затвердили одно: народ, народ. А иной раз не вредно и наверх взглянуть: как-то там, в области, отнесутся к их «самодеятельности». Султанов правильно говорил: цыплят по осени считают.

Кадыров поднял голову, пожал плечами.

— Разве я против освоения целины, товарищ Джурабаев? Однако вожди пролетариата, они же классики марксизма-ленинизма, учили нас всегда учитывать конкретную обстановку. А обстановка пока не из благоприятных.— Он нашел среди колхозников Гафура, кивнул ему: — Подойди-ка сюда, Гафур, и расскажи товарищу Джурабаеву, сможет ли ваша бригада своими силами спасти хлопок на своем участке.

Гафур шагнул вперед, улыбнулся кислой, бледной улыбкой.

— Мы, конечно, будем стараться, товарищ Джурабаев. Но только силенок у нас и правда маловато. Бригадир наш — человек уважаемый, достойный, но в последнее время у него все из рук валится!

— Это отчего же?..

— Обидели его, товарищ Джурабаев! Родная дочь и таядом поит! Тяжело на душе у старого Муратали!.. Ну и у остальных опускаются руки. Мы ведь хлопкоробами-то заделались недавно, навыка у нас нет, споровки не хватает... Не подбавят в бригаду людей — погибнет хлопок!..

— А мы вам поможем! — воскликнул Керим.— Управимся на своем участке, всей бригадой явемся к вам! Я всегда готов пособить дядюшке Муратали!..

— Сам смотри не сядь в калошу,— мрачно предупредил Кадыров.— Отстающая-то бригада у нас не одна... Начнешь их вытаскивать — сам пойдешь ко дну.

В это время из толпы выступил молодой колхозник с кетменем.

— Я сам из слабой бригады, раис-амаки! Ты в нашей бригаде часто бываешь, уж кому-кому, а тебе известно, почему мы плетемся в хвосте! Во время бури на нашем участке два-три человека работали, а остальные ушли к Рузынавану: у него десять лет как отец умер, вот он и надумал

устроить поминки — худой. Наварил котел плова, пригласил друзей-приятелей, пропировал с ними целые сутки!..

— Эх,— сокрушенно вздохнул Бекбута.— Вот если бы буря так же лодырничала! Сидела бы где-нибудь в Кызылкумах за пловом, пила бы водку, забыла бы о своих служебных обязанностях!..

Все рассмеялись, только Гафур возмущенно крикнул:

— Эй, Бекбута! Не издевайся над обычаями своего народа!

Джурабаев, внимательно посмотрев на Гафура, покачал головой.

— Что же это за народный обычай, если он во вред народу? — Он повернулся к молодому колхознику.— А бригадир? Где в это время был ваш бригадир?

— Наш уважаемый бригадир Молла-Сулейман тоже отправился к Рузы-палвану. Они же старые друзья! И я вот что скажу: пусть раис уберет от нас этого бригадира. Намучились мы с ним... Хватит!

— А ты не говори за всю бригаду! — одернул его Кадыров.— Бригадир у вас упорный, энергичный.

— Да, энергичный! За праздничным столом! И упорный: сядет, так не оттащить! Ты хочешь, раис-амаки, дать нам еще людей? Так если народу в бригаде прибавится, а порядки останутся прежними, толку будет мало.

Умурзак-ата, молчавший все это время, постепенно погладил свою белую, как хлопок, бороду, огляделся вокруг и, увидев, что все приготовились его слушать, по-стариковски неторопливо, увещевающе сказал, обращаясь к Кадырову:

— Мы, старики, давно тебе советовали, раис, не цапайся ты с лодырями!.. Народ не хочет делиться честно заработанным хлебом с теми, кто мешает ему зарабатывать этот хлеб! И перадивым бригадирам не надо потакать, раис!.. Ты не их защищай, ты нас от них защищай.

— Не справляются с работой — смеляйте их, ставьте на их место честных тружеников! — поддержала отца Айкиз.— И женщин смелее выдвигайте, товарищ Кадыров! У вас же нет ни одной женщины-бригадира.

— Значит, не доросли еще...

— Ай, раис-амаки, неправда! — запальчиво возразил Керим и, не обращая внимания на улыбки окружающих, закончил срывающимся голосом: — Вон Михри — сколько времени работает звеньевой! А уж пора бы дать ей бригаду!

— Кто это — Михри? — поинтересовался Джурабаев.

Керим, нимало не смутившись, выпалил, словно отрапортовал:

— Это дочь Муратали, работает у него в бригаде. Лучшая из наших комсомолок, первой попросилась на целипу!

— А она достойна быть бригадиром? Как вы думаете, Умурзак-ата?..

— Что же, девушка расторопная, знающая... Тихая, правда, но в обиду себя не даст!.. Э, да что говорить, товарищ Джурабаев, хорошими-то людьми мы богаты!..

Кадыров снова уперся мрачным, упрямым взглядом в носки своих запыленных сапог. Вдруг он встрепенулся, поднял голову, в глазах его мелькнула оторопь. Он услышал спокойный, чуть насмешливый голос Джурабаева:

— А ты, оказывается, не только не веришь в своих колхозников, ты еще и не знаешь их. Прислушайся-ка к их словам, раис! К разумным, уверенным словам, подсказанным любовью к родному колхозу! Прислушайся к ним — тебе самому будет легче жить и работать. Вот ты сказал: коммунисты должны учитывать конкретную обстановку. Да, должны, но для чего? А для того, чтобы изменить ее в свою пользу! — Джурабаев широко развел руками, словно хотел обнять окружавших его колхозников, которые пожертвовали минутами недолгого отдыха, чтобы поговорить, поспорить о колхозных делах. — Ты посмотри, какие чудесные люди в колхозе! Да с ними можно горы своротить!

Колхозники смотрели на своего председателя кто с горьким укором, кто с лукавой насмешкой, кто пытливо, выжидательно, но враждебности в их взглядах не было... Немало лет проработали они бок о бок с Кадыровым и многого добились за эти годы. Вместе с Кадыровым боролись они за большие урожаи и за праздничными столами сидели вместе с Кадыровым. Бывало, стучалась к ним в ворота беда — они скручивали ей руки; бывало, до нитки обирала их засуха, туго им приходилось — голов не вешали... Попросят помощи у государства, перебыются как-нибудь, а весной снова за работу! И все это — с Кадыровым, при Кадырове, с его помощью, под его хозяйским присмотром! Привыкли колхозники к Кадырову, даже к его недостаткам привыкли. Знали, что самолюбия да упрямства хватило бы у него на семерых, но только посмеивались: оно как будто даже к лучшему... Любил председатель, чтобы его осыпали похвалами — в газетах, по радио, на собраниях, — и уж если брался за дело, доводил его до конца.

Правда, в последнее время повелся он с плохими людьми, загордился, занесся. «Жизнь вокруг меняется, а Кадыров подходит к ней с прежней меркой!» — сказал как-то на партийном собрании Алимджан. «У него дома ни одной книги не увидишь!» — возмущалась молодежь. «Уважаемых людей перестал слушать», — сетовали старики.

Ну, да ведь кто без греха? Когда воду добывали, поартачился председатель, да одумался. Надо полагать, он и после сегодняшнего разговора возьмется за ум: ведь с ним народ говорил, убеленный сединами Умурзак-ата дал ему мудрый совет, секретарь райкома товарищ Джурабаев переспорил его, сделал ему по-партийному резкое внушение. Все показывают ему, куда нужно идти, неужели он свернет в сторону? Да нет, едва ли он захочет остаться в одиночестве! Они опять будут вместе — дехкане Алтынсая и их бессменный председатель. Поэтому колхозники смотрели на Кадырова хотя и с укором, неодобрительно, но без неприязни.

Джурабаев между тем продолжал:

— По-моему, все ясно, товарищи. Бюро райкома решило: поднимать целину. Народ и на колхозном собрании, и сейчас тоже проголосовал «за». Республика в таких случаях всегда нас поддерживает: вспомните хотя бы наступление на Голодную степь! Правительство всем, чем могло, помогло тогда отважным дехканам. Не сомневаюсь, поможет и теперь. Да у нас у самих достаточно сил, воли, желания, чтобы одолеть всяческие преграды! Все в наших руках, друзья!

Бекбута положил свою сильную, все еще обнаженную до плеча руку на худенькое плечо Керима, привлек юношу к себе, глянул ему в горячие, как солнце, глаза.

— Не подведут твои орлята, комсомольский вожак?

— За нас можете не беспокоиться!

— Ну и мы, пожилые орлы, будем держаться по-гвардейски: ни шагу назад!

Глядя на Бекбута и Керима, остальные колхозники тоже подобрались, приосанились: и впрямь гвардейцы! Джурабаев широко улыбнулся и, кивнув на них, сказал Кадырову:

— Видал, раис? Твоих дехкан не меньше, чем тебя, заботит судьба урожая. Но они заботятся еще и о том, чтобы хлопка у нас было все больше и больше, чтобы жизнь шла лучше и лучше.

— Гм... Кто же этого не желает!

— Так зачем же ты хочешь увести людей с целины, со строительного участка?.. Ты, верно, думаешь: со строительством поселка можно и обождать, оп нам не к спеху. Нет, раис, поселок нужен нам, очень нужен! Нам надо привлечь в степь на добычу новых тонн хлопка как можно больше людей. Надо, чтобы люди пришли сюда по доброй воле и стали старожилами этих мест. Ради этого мы и строим поселок, добротный, приглядный, такой, где людям захочется жить! Пусть он, словно магнит, притягивает жителей из бедных горных кишлаков.— Джурабаев вернулся к Айкиз.— Кстати, товарищ Умурзакова, советую тебе подумать об устройстве на целине колхозного рышка. Уж тогда-то ни один новосел не уйдет из степи!

— Хорошо, мы обсудим это,— согласилась Айкиз.— Думаю, к началу переселения будет и рынок.

Джурабаев окинул всех лукавым взглядом.

— Что ж, товарищи, будем считать, что мы на ходу провели колхозное собрание, прошедшее, как говорится, на высоком идейном уровне! Надеюсь, товарищ Кадыров извлечет из него необходимые выводы. Как, раис, будем работать?..

Кадыров помялся, потом ответил неохотно, ворчливо:

— Вот именно, работать надо, а не разговоры разговаривать.

Джурабаев посмотрел на часы.

— Ого!.. А раис-то прав: пора за работу. Заговорились мы тут. Хотя разговор, по-моему, был полезный.

Когда колхозники, приветливо простившись с секретарем райкома, разошлись, к нему подошел Алимджап.

— Надо бы потолковать кой о чем, товарищ Джурабаев. Понимаете, увлекло меня одно дело...

— А ты подсаживайся ко мне в машину, поедем вместе в кишлак, там все и обговорим. Умурзакова! Присоединяйся к нам.

— С удовольствием, товарищ Джурабаев!

— А ты, раис, не проводишь нас?

Кадыров, смотря куда-то в сторону, проворчал:

— Некогда мне, надо подогнать отстающие бригады. Сами же подбавили мне работы! Но предупреждаю, товарищ Джурабаев, если что случится, отвечать будете вы!

— А вы не грозите, раис! — взорвалась всегда спокойная Айкиз.— Мы не из пугливых. Надо будет — ответим.

Кадыров не нашелся, что еще сказать, и только повторил:

— Вот, вот... Вам отвечать!

Боясь, что его снова вовлекут в спор, он, хмуро кивнув всем на прощание, направился к своему коню.

«Газик», зачихав, зафыркав, дрогнув, будто кто стукнул по нему увесистой дубинкой, и бойко заспешил к Алтынсаю.

Идти далеко Кадырову не пришлось, кто-то услужливо подвел к нему коня. И конечно же, это мог сделать только Гафур. Кадыров поблагодарил его благожелательно-покровительственным кивком, вложив в этот жест и дружескую признательность, и начальственную небрежность, и, уже взобравшись в седло, спросил:

— Где Аликул?

— Небось на берегу канала. Обедает.

— Вот что. Я поеду к нему. Немного погода приходи туда и ты. Надо поговорить.

Кадыров тронул коня и заторопился, но не в степь, не в поля, не к отстающим бригадам, а к другу и помощнику своему Аликулу, с которым только и мог отвести душу...

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ ПОХОЖДЕНИЯ АЛИКУЛА

Аликул прожил жизнь длинную и пеструю. Длинную, как исхоженные им дороги, пеструю, как халат, который он носил.

Не раз ему доводилось спотыкаться и падать, но, будучи человеком хитрым и расчетливым, он опять поднимался, опять трогался в путь — добывать себе спокойную, сладкую жизнь: Аликул с детства любил сладкое.

Отец Аликула, Мусахан, в давние благословенные времена был купцом, баззазом, торговал на алтыпсайском базаре шелковыми тканями. Жили они не то чтобы богато, но и не бедно, и никто не мешал Аликулу сшибать с дерева жизни сочные, сладкие плоды. Правда, на его долю выпадали не только забавы, но и заботы — еще в юности он помогал отцу. Дело это пришлось Аликулу по вкусу: оно требовало сметливости, изворотливости, знания души человеческой. Юный купчик с охотой и с удовольствием растил в себе эти достойные качества. Баззаз не мог нарадоваться

на единственного сына. Любо было ему глядеть, как Аликул с приклеенной лучезарной улыбкой на лице стоит за прилавком, окруженный многоцветными, сверкающими шелками, как зазывает, заманивает простаков-покупателей, гостеприимно предлагая одному выпить чашечку чаю с паватом, другому — затянуться благовонным дымом из чилима, как он из кожи вон лезет, расхваливая товар.

Аликул умел сразу, с одного взгляда, оценить возможности, опыт и прав покупателей, и если видел, что у лавки мнется простой дехканин из дальних степных районов, приехавший за отрезом шелка к свадьбе или к иному торжеству, то заламывал такую цену, какой не запрашивал ни один купец.

Дехканин — святая простота! — напускал на себя важный вид (я, мол, знаю толк в этих делах, меня не проведешь!) и с сомнением качал головой.

— Дороговато, хозяин...

— Дорого? Да что вы, отец, это же лучший шелк во всей округе, такого вы нигде не найдете! Из уважения к вам я прошу с вас меньше, чем с других!

Аликул выбрасывал на прилавок мягко шелестящие ткани, ворошил их, искусно раскладывал то так, то этак, чтобы они сняли и переливались, словно радуга, ослепляя покупателя своей расцветкой и блеском, и покупателю оставалось только вздыхать.

— Хорошие шелка!.. Но дороговато, хозяин. Таких денег у меня нет.

— Ай, не будем торговаться! Я вижу, вы человек хороший, так и быть, уступлю вам по дешевке!

Аликул сбавлял и сбавлял цену, пока они не сходились на такой, которая казалась покупателю, утомленному спором и шумным радушием торговца, вполне сходной в сравнении с назначенной вначале, а на деле была намного выше обычной.

Вручая дехкапину отрез, Аликул с сожалением чмокал губами.

— Ай, как продешевил! Так и разориться недолго! Не пришлось бы вы мне по душе, отец, ни за что не уступил бы!

Покупатель уходил убоготворенный: заставил-таки этого купчика сбить цену. А Аликул... Аликул тоже довольно потирал руки.

Ему нравилась эта увлекательная, возбуждающая, как

затяжка из чилима, игра; и жизнь ему нравилась — богатая, легкая.

В детстве он учился в религиозной школе, но учение привлекало его куда меньше, чем торговля, школьные премудрости не давались юному торговцу. Аликул с трудом осилил афтияк и дальше этого не пошел. Товарищи смеялись над Аликулом, но он на их насмешки не обращал внимания; в душе он сам посмеивался над этими сухарями, зубрилами, не понимавшими, что увлекательна охота только за деньгами, а не за знаниями, скучными, ни на что не годными... Сидя в школе, Аликул мечтал о лавке, где в мягкий, вкрадчивый шелест шелков то и дело вкрапливался сладкозвучный звон денег, весомых, осязаемых, истертых тысячами чужих пальцев и все-таки притекших к ним — к Мусахану и Аликулу. Аликул сам направлял это течение, и чем полноводней оно было, тем больше заискивал базар перед удачливым юношей. Даже отец, опытный торговец Мусахан, прислушивался к мнению сына, советовался с ним, когда дело касалось тонких и сложных денежных дел.

Так и жил Аликул, стараясь из всего извлечь прибыль, заботясь лишь о собственной выгоде, о собственном достатке, о собственном благополучии. Он готов был молиться на деньги, потому что они давали ему силу, на них можно было купить почет, покой, сладостные удовольствия. Взгляд его за эти годы стал острым, как игла, губы — тонкими, как нитки. Он научился вызывать на своем лице любое выражение, от бесконечно приветливого до солидно-сурового. Научился скрывать глубоко в сердце истинные чувства и намерения. Он умел слушать, запоминать, сопоставлять, оценивать, стал опытным сердцеведом. Окружающие единодушно утверждали, что молодой купец далеко пойдет.

Но на его пути, озаренном блеском денег, стали новый строй, новая жизнь, новые люди.

После революции торговое дело Мусахана и Аликула постепенно начало приходить в упадок,глохнуть, хиреть. Мусахан держал лавку еще с десятков лет, а когда в Алтынсае начали создаваться колхозы, закрыл ее и однажды ночью исчез... Позднее его видели на базарах Самарканда, Бухары. Еще через некоторое время до алтынсайцев дошел слух, что базазз умер от удара, который хватил его, когда он переправлял в Бухару контрабандный шелк.

Никто не знал, был ли Аликул связан с отцом, помогал

ли ему в его темных делах, но только сам он никуда не уехал из Алтынсая. Он успел обзавестись семьей, жена подарила ему дочку, маленькую Назакат, и Аликул остался на земле своих предков. Правда, и он поначалу не забросил торговлю. Лавки у него уже не было, но он занялся спекуляцией: тонкий нюх, умелое обхождение помогали ему скупать товары задешево и продавать их на здешних рынках втридорога. Все алтынсайцы уже вступили в колхоз, а Аликул все еще шнырял по окрестным базарам.

Однако в Алтынсае, как и по всему Узбекистану, дул уже свежий, крепкий ветер, сметавший мусор, оставшийся от прошлой жизни. Алтынсайцы косо поглядывали на своего односельчанина, занимавшегося сомнительными делами. В кишлаке пошли о нем нехорошие толки. Надо было приспособливаться к новым обстоятельствам, как бы ни были они горьки и трудны, и Аликул по настоянию родственников попросился в здешний колхоз.

В жизни его произошли крутые перемены, но характер и склонности остались прежними: руки — ловкие руки торговца — привыкли к кетменю, но душа Аликула была там, в прошлом, в шепелящем полумраке лавки, и все, что он теперь видел и делал, претило ему.

Работать приходилось и в зной и в стужу. Работа была тяжелой, грубой, не похожей на азартную игру, которую он, бывало, вел, стоя за прилавком, и которая приносила ему деньги, деньги — звонкие монеты и приманчиво хрустящие бумажки, хитростью, обманом и уговорами выжатые из одуроченных покупателей.

Аликул и в колхозе пробовал хитрить, изворачиваться, всяческими правдами и неправдами отлынивал от работы, но это било по его же карману, да и на собраниях ему крепко доставалось от председателя и колхозников, относившихся теперь к Аликулу без всякой почтительности...

Аликул глядел на всех затравленным волком. В его маленьких глазах прятались злоба, растерянность. Он ломал голову, как бы вернуть прежний, нежащий сердце покой, достаток, уважение соседей, но придумать ничего не мог.

Он решил уйти из колхоза, покинуть родной кишлак, и только опасение, что, трусливо удрав, он покроет себя еще большим позором, удерживало его. Ведь стыд хуже смерти.

Однажды на исходе зимы колхозное собрание постановило, несмотря на холода, начать пахоту в горах.

В долине к этому времени снег уже сошел. Земля прогрелась под солнцем. А в горах холод пронизывал до костей, дул резкий ветер, не утихавший ни днем, ни ночью.

Колхозники, однако, не испугались ни ветра, ни холода. Выбрав участки на склонах гор, скупо облаканных первыми веселыми лучами, они приступили к пахоте и севу.

Пахарь из Аликула был пикудышный, и ему поручили таскать мешки с семенами от арбы к участку, на котором работал Умурзак. Поджидая, пока Умурзак высеет припесенную им пшеницу, Аликул отходил в сторону, поворачивался спиной к ветру и, пытаясь согреться, пританцовывал, с ожесточением тер сожженные ветром щеки и уши, дул на застывшие руки. Поглядывая изредка на своего помощника, судорожно отплясывавшего на краю поля, Умурзак только усмехался и качал головой...

Опустошив очередной мешок, Умурзак обернулся, чтоб позвать Аликула, да так и замер с открытым ртом. Аликула нигде не было... Старик окликнул его несколько раз, но ветер, видно, отнес его слова в сторону: напарник не отзывался. Рассерженный и встревоженный, Умурзак поспешил через все поле к большому камню, за которым только и мог укрыться его горе-помощник. Он нашел Аликула за камнем. Тот лежал, скрючившись, стуча зубами, на глазах у него блестели слезы.

Умурзак заботливо склонился над ним.

— Что с тобой, дорогой? Не захворал ли?

— Не буду я больше гнуть спину на ваш колхоз! — крикнул Аликул. — Я вам не осел, чтоб работать в такой холод! Уйду я!

Умурзак вздохнул и сам отправился к арбе за зерном.

Ветер усиливался, ледящий, хлеставший, как плеть.

Уже никакими силами нельзя было выманить Аликула из-за камня, где было куда теплей и спокойней, чем в открытом поле. Едва приближался Умурзак, Аликул начинал стопать, охать: он уже понял, что Умурзак человек сердобольный и его нетрудно разжалобить.

Аликул охал, Умурзак таскал мешки. Наконец терпение Умурзака иссякло, и, остановившись перед Аликулом, у которого зуб на зуб не попадал, он строго сказал:

— Вот что, дорогой, ты не в лавке. Нечего лодыря гонять. Болен — ступай к врачу. Здоров — работай. Только работой и согреешься...

Аликул съезжился еще больше, обхватив плечи руками,

и Умурзак, поняв, что все его увещевания — как об стенку горох, сердито закончил:

— Убирайся-ка ты прочь с моих глаз! И без тебя управлюсь.

Не оглядываясь, он зашагал к пашне, и Аликул, проводив его взглядом, полным бессильной несправедливости, поднялся с земли и, браня на чем свет стоит и неугомонного Умурзака, и колхоз, и новую жизнь, то и дело наступавшую ему на горло, медленно поплелся домой.

Дома, сказавшись больным, он пролежал несколько дней, весь отдавшись темным, беспokoйным думам, а потом в одну из непроглядных ночей погрузил вещи на арбу, напятую в городе, забрал с собой жену и дочь и тайком уехал из Алтынсай начинать новую жизнь.

Растерянность, охватившая Аликула после потери лавки, обманом накопленного добра и былого почета, — эта растерянность прошла. Много испытал в жизни Аликул, теперь он познал еще и горький стыд, позор унижения и про себя поклялся: впредь никто не увидит его жалким, униженным. Он и при новых порядках сумеет отвоевать для себя солнечный уголок в саду жизни! Надо только все рассчитать, взвесить, обдумать.

По-купчески расчетливо он прикинул в уме: работа в поле выгод не сулит — сколько поработаешь, столько и заработаешь. Это все равно что продать товар за те деньги, каких он действительно стоит, не сорвав за него ни копейки барыша. Другое дело — работать бригадиром, кладовщиком, заведующим кооперативом... Тут было где разгуляться, и он бы себя не обидел, отхватил бы от пышной колхозной лепешки ломоть побольше да подобней. Он ловок и сумеет подладиться под нынешние порядки, чтоб и из них извлечь выгоду.

Для начала можно поработать в поле простым хлопкобобом, поработать не за страх, а за совесть, привлечь внимание, показать себя с лучшей стороны. Он все вытерпит, с честью пройдет через это тяжкое испытание. Зато, когда он заслужит уважение соседей и одобрение начальства и его заметят, оценят, выдвинут, он станет сам себе хозяином; судьба щедро вознаградит его за все труды, страдания и невзгоды, одарит всеми земными благами.

Покинув Алтынсай, Аликул вместе с семьей обосновался в одном из колхозов Мирзачуля, в Голодной степи, неподалеку от Сырдарьи. В Мирзачуле шло в это время

освоение новых земель. В «новорожденные» колхозы тянулись дехкане из других кишлаков, бедных землей и водой. Переселилось в Голодную степь немало и алтынсайцев, а среди них — родственники Аликула. Они-то на первых порах и помогли беглецу, посоветовав председателю колхоза поставить Аликула заведующим колхозной чайханой. В колхозе было еще мало людей и много прорех, которые требовалось срочно залатать. Колхоз долго не мог обзавестись толковым чайханщиком. Аликула встретили с распростертыми объятиями.

Аликул ликовал. Конечно, чайханщик не ахти какая важная птица, но ведь это было только началом, и началом удачным. С первых же дней Аликул очутился в родной стихии. Чайхана — это все-таки не хлопковое поле, а пузатый самовар — не кетмень! Аликул не ударит в грязь лицом, завоюет благосклонность колхозного руководства. А придет время — и сам выйдет в пачальники, заложит прочный фундамент грядущего благополучия. В руках появится власть, в доме — достаток, а этим голодращам, отобравшим у него все, что он имел, снова, как в былые времена, придется считаться с Аликулом!

Подогреваемый этими сладостными надеждами, Аликул взялся за дело с горячим рвением. Чайхана, попавшая ему под начало, находилась на отшибе от колхозного кишлака. По дороге мимо чайханы медленно и важно шествовали нагруженные тяжелой кладью верблюды, презрительно, сверху вниз, поглядывавшие на мир своими глупыми надменными глазами; трусили прыткие, упрямые ослики; шли, опустив головы, усталые путники. Движение на дороге было оживленное, а чайхана пустовала. Мало кого влекло в нее: вид у нее был неприглядный, и получить там можно было только скверный чай в грязных пшалах.

Так продолжалось до появления Аликула. Он сразу смекнул, что чайханщику в этом колхозе легко стать заметным человеком. Жизнь здесь была неуютной, неустроенной; своего клуба колхоз не имел, отдохнуть дехканам было негде, и при радушном, заботливом хозяине в чайхане отбоя не было бы от посетителей.

Взвесив все это, Аликул быстро павел здесь порядок: он где-то раздобыл котлы, соорудил небольшой навес, и в чайхане появилась кухня. Стены чайханы он заново оштукатурил. Деревянные помосты застелил коврами, привезенными вместе с прочим домашним скарбом из Алтынсай



(для такого дела не жаль было и ковров!). К чаю он подавал пышные — не хуже самаркандских! — лепешки, поджаренный горох и парварду — белые, словно шелковичный кокон, приторно-сладкие конфеты. Гость, истомленный зноем, мог утолить жажду холодной водой или остуженным чаем из огромных продолговатых кувшинов, зарытых в землю, а проголодавшихся ждал жирный плов.

Но и этого Аликулу показалось мало, и вскоре угол помоста, предназначенного для «высокопоставленных» гостей и покрытого самым дорогим ковром, заняли певцы и музыканты.

Не прошло и нескольких месяцев — чайхана стала неузнаваемой. С утра до позднего вечера она гудела, как улей.

Переплетаясь с песнями, плыли стопы дутара. Легкий пар струился над пиалами с чаем, над мисками с пловом, и, как заведенный, сновал от гостя к гостю щуплый, проворный Аликул, с угодливой улыбкой, словно наклеенной на лицо.

Сюда собирались, как в клуб. Колхоз начал получать от этого «клуба» большой доход, и председатель не мог хвалиться новым чайханщиком. Он частенько навещался к Аликулу, и Аликул исподволь приглядывался к нему, гадая, как бы прибрать его к рукам. Председатель, недавний бедняк, честный, но недалекий, наголодавшийся в детстве и юности, мечтал о сытой жизни для себя и своих колхозников и к людям, от которых видел хоть кроху добра, относился с восторженностью, не вникая ни в суть, ни в детали их кипучей деятельности.

Он сразу уверовал в таланты Аликула как организатора и хозяйственника, потому что чайханщик умел то, что не давалось ему, председателю. Аликул решил отличиться и показать своему покровителю, на что он способен. Однажды, прознав заранее о предстоящем приходе председателя и его друзей, Аликул, приплатив из своих денег, купил на базаре откормленного гиссарского барана, зарезал его, положил баранину в уксус, чтобы была она мягкой, ароматной, и с помощью своих родственников приготовил такой шашлык, что при одном его виде у гостей сладко заняло в желудках.

Спимая куском лепешки с длинного, как меч, шампура сочное мясо, тающее во рту, председатель назидательно сказал:

— Вот у кого учитесь думать о простом народе! — и, отправив в рот изрядную порцию, облизав пальцы, добавил: — Раньше такой шашлык только баи едали... А нынче и мы вон как зажили! Сидим в чайхане и уплетаем шашлык, будто купцы какие!

Он похлопал себя по животу, хохотнул довольно, и Аликул, прижав руку к сердцу, низко поклонился гостям.

— Для народа я рад стараться!

Через несколько дней Аликула назначили заведующим колхозным складом. У Аликула разгорелись глаза: здесь было чем поживиться! Не утерпев, он сразу же паложил свою лапу на чужое добро. Со склада на сторону потекло колхозное зерно, заметно начали уменьшаться запасы удобрений, зато в полном соответствии с законом о сохранении вещества в кишлаке рядом с неказистым строением, где пока ютился Аликул, рос не по дням, а по часам добротный дом, на который заведующий складом поглядывал гордо, самодовольно.

Вдруг среди ясного неба грянул гром: колхозники, которым нужен был умный, дальновидный, рачительный хозяин, отказали в доверии поклоннику аликуловских угощений. У нового председателя оказался зоркий, придирчивый взгляд. Едва он обратил этот взгляд в сторону аликуловой вотчины, как тот опять заболел... На сей раз болезнь затянулась. Жена Аликула никого, кроме родственников и новообретенных приятелей, не пускала к больному, уверяя всех, что у него ужасно высокая температура и он, бедный, не ест и не спит, а только бредит и стонет.

Температура у Аликула, по словам жены, все поднималась и поднималась, так что уж давно должна была бы перевалить за пятьдесят градусов. Недели через две, как раз в то время, когда ревизионная комиссия при проверке обнаружила на складе большую недостачу ячменя, пшеницы и удобрений, по кишлаку разнесся слух, что Аликул при смерти. Приятели Аликула развили бешеную деятельность. Одни ринулись в город за «лекарствами», другие, рассказывая о болезни друга, старались поселить в душах дехан чувство сострадания, третьи неусыпно дежурили у постели умирающего; а сам умирающий, лежа в бреду, с благодарностью думал: «Не имей сто рублей, а имей сто друзей».

Когда к незадачливому завскладом заглянул новый председатель, Аликул встретил его стопами и вздохами,

жена Аликула — вздохами и плачем. Председатель решил не трогать «больного». Колхозное правление ограничилось тем, что отобрало у Аликула «в покрытие убытков» новый, почти достроенный дом и утвердило в должности заведующего складом другого колхозника.

Чудом спасшись от тюрьмы, Аликул спустя несколько месяцев нашел в себе силы подняться с постели и, туго обвязав голову бельбогом из синего ситца, вышел на улицу. Несколько дней он бродил по кишлаку, скрючившись, как ветвь саксаула, кряхтя, охая, хватаясь то за бок, то за спину... И вдруг исчез из колхоза, как в воду канул. Иные говорили, что его упрятали-таки за решетку, иные предполагали, что Аликула переманил какой-нибудь маломощный колхоз, а друзья и родственники бывшего заведующего складом уверяли, что болезнь дала повую вспышку и жена увезла больного на родину, в Алтынсай.

На самом же деле Аликул, узнав, увидев и услышав все, что ему надо было узнать, увидеть и услышать, понял, что оставаться здесь нет больше расчета, и тайно, под покровом ночи выехал из кишлака, переправился через Сырдарью и предложил свои услуги колхозу, где его еще не знали.

Тут его приняли тоже с радостью: в то время колхозы Голодной степи нуждались в работниках любых профессий. К тому же и на новом месте у Аликула нашлись дружки.

Первые месяцы Аликул работал сторожем при колхозном правлении. Услужливый, расторопный, он, казалось, припелся по душе председателю. Войдет председатель в кабинет — а на столе у него уже дымится кок-чай, и чилим, подаренный опять-таки Аликулом, ждет своего хозяина. Едва раскроет председатель рот, чтобы попросить лошадей, а лошади тут как тут. Не успеет он сообщить, что целый день был в поле, устал и проголодался, а уж Аликул ставит перед ним чашку с пловом: «Откушай, дорогой, это я сам готовил...»

Аликул в душе готов был торжествовать победу, но однажды председатель, успешно расправившись с аликуловским пловом, прищурил хитрые глаза, покачал в задумчивости головой и бросил то ли насмешливо, то ли одобрительно:

— Приток ты, однако!

Затем извлек из объемистого кармана старенького галфе небольшой потертый бумажник, достал деньги и, вру-

чая их онешившему Аликулу, молвил с улыбкой, то ли насмешливой, то ли благодарной:

— Спасибо тебе, товарищ, и за чай, и за плов, и за чилим. Негоже мне быть у тебя в долгу. Вот тебе деньги, тут все точно подсчитано. Ты мне продавал, я у тебя покупал. Ты не в убытке, и у меня совесть чиста. Ты, верно, и сам понимаешь: самое главное для нас — жить с чистой совестью. А за заботу еще раз спасибо.

В эту ночь Аликул долго не мог уснуть...

Но вскоре на помощь ему пришла чужая беда, и, умело воспользовавшись этим счастливым для него случаем, Аликул сделал сразу несколько шагов на ухабистом пути к вожделенному благополучию.

За кишлаком, на берегу небольшого канала с быстрой, работающей водой, стояла колхозная мельница. Председателю понадобилась мука, намолотая на мельнице из его зерна. Аликул вызвался съездить за пей. Шел дождь, но сторожа это не смущало. Однако дождь незаметно превратился в ливень, и, когда Аликул добрался до мельницы, на землю уже низвергался гигантский водопад. Аликул промок до нитки, одежда прилипла к телу, и даже в сапоги, хотя он не сходил с арбы, набралась вода. Подъехав к пристройке, где жил мельник, Аликул спрыгнул в образовавшуюся у порога огромную лужу и постучался. Никто не откликнулся... Аликул злобно выругался и огляделся вокруг. Сквозь плотную стену дождя, как сквозь туман, он увидел недалеко растерянно суетившегося человека. Разбрызгивая сапогами воду, Аликул решительно зашагал к каналу, а человек, бегавший как угорелый по берегу, заметив знакомую фигуру правленческого сторожа, всплеснул руками и бросился ему навстречу. Он весь дрожал, зубы у него стучали, губы тряслись.

— По... помоги, дорогой... В-выручи... Вода... Вода выпла из берегов! Я тут не... недавно... Я... я из города...

Это был мельник. Он и правда совсем недавно переехал в колхоз, дело свое знал слабо, и неожиданное наводнение нагнало на него панику. Семена рядом с Аликулом, мельник жаловался:

— И-ну ее к аллаху, эту мельницу! Ей, и-наверно, тысяча лет! В-ветер дует — рассыплется. Вода поднапрет — колесо к черту!

Вода в это время и впрямь «поднаперла», и мельнице грозила опасность. С большим трудом удалось Аликулу

перекрыть канал и отвести воду в другое русло. Мельник не помогал ему, а только мешал.

Но, памятуя о возможных будущих благах, Аликул не жалел ни сил, ни здоровья: он словно знал, что стараясь его не пропадут даром, что он из наводнения извлечет выгоду.

И он не ошибся. После этого случая Аликула назначили мельником, а мельника взяли в сторожа. Аликулу удалось погасить в глазах председателя насмешливые искорки недоверия. Теперь и прежняя его услужливость предстала как бы в новом свете: ведь она увенчалась трудовым «подвигом»! И никому в голову не приходило, что ядрышком этого «подвига» был трезвый расчет...

Щуку пустили в реку. Аликул стал заведовать мельницей. Наученный горьким опытом, теперь он действовал осторожно. Он, как говорится, «горел на работе», «отдавал все силы», «проявлял инициативу», и заветная его кубышка пополнялась до поры до времени лишь честно заработанными рублями.

Жилось Аликулу на мельнице не худо. Вокруг росли тополя, карагач, тал; вода в канале была темной от постоянной тени, которую бросали высаженные по обоим берегам деревья. От воды веяло прохладой... Это был самый живописный уголок в окрестности, и в дни, свободные от работы, на владенья Аликула нисходил сладостный покой.

Но Аликул не желал довольствоваться малым. Уже через год он запустил руку в колхозные закрома. Правда, сделал он это так, что к нему поначалу трудно было придраться. Он завел при мельнице эдакую частную птицеферму, благо вдоволь тут было бесплатного корма — муки и зерна, которое сыпалось при всяких перевозках и перепосках. Куры и утки, выращенные Аликулом, пользовались на базаре большим спросом; хозяйство нового мельника разрасталось. Вскоре Аликул позаимствовал малую толику из того колхозного урожая, который сдавали ему для помола.

На этот раз председателя не снимали. Он был человеком решительным и сам прогнал Аликула.

Благодеяние Аликула оказалось недолговечней полевого мака. И опять пришлось все начинать сначала...

Теперь он задерживался в каждом новом колхозе на более долгое время, чем в предыдущем, и перевозил из колхоза в колхоз все больше скарба. Он уверенней держался

на бурных волнах житейского моря. Неудачи лишь возвели в новую, высшую степень издавна присущие Аликулу изворотливость и осмотрительность. Потолкавшись среди народа, изучив в своих скитаниях жизнь и людей, он стал, как говорят русские, «тертым калачом». И желания и характер бывшего купчика остались прежними, но свойства, особенности его характера словно бы заострились: жизнь отточила их, как затачивают карандаш, чтоб он писал лучше, четче. Аликул был наблюдательным — стал еще наблюдательней, был скрытным — стал еще более скрытным, умел втираться в доверие, а теперь «усовершенствовал» и это свое умение. И все трудней становилось распознавать истинные его цели и намерения.

Но вместе с житейским опытом пришла к Аликулу и старость. Поредела борода, окрасившись в какой-то серый цвет, сморщилось лицо, и спина согнулась, отчего Аликул казался еще ниже ростом. Лишь походка была, как в молодости, живой и быстрой, а силы в руках, пожалуй, даже прибавилось.

В один из очередных переездов Аликул потерял жену: она умерла ночью, па арбе, тоскливо глядя в раскинувшееся над дорогой небо, усыпанное, как цветами, голубыми звездами.

У Аликула из близких осталась только дочь. Все тепло, которое еще не ушло из его сердца, он отдал юной Назакатхон.

Назакатхон еще в детские годы обещала стать красавицей, а когда ей минуло четырнадцать лет, на нее начали засматриваться самые видные, знающие себе цену парни. Да и мужчины постарше дольше, чем позволялось, задерживали взгляд на ее нежнокожем лице с румянцем во всю щеку, на черных с золотой искоркой глазах с длинными мягкими ресницами. Высокая, стройная, она кому угодно могла вскружить голову.

Аликул души не чаял в Назакатхон. Но чувства, вызревшие в его душе, были какими-то уродливыми, и любовь Аликула к дочери не приносила ей ни пользы, ни радости.

Самому Аликулу никак не удавалось вкусить от древа жизни сладчайших плодов, но он мечтал сорвать их для дочери. Пусть живет она в роскоши и достатке, пусть цветет, как садовая роза, на зависть и удивление окружающим! А потом... потом он выдаст ее замуж за солидного,

влиятельного человека. И Назакатхон с мужем будут по-
коить его старость...

Назакатхон, из-за частых переездов учась урывками, еле-еле дотянула до седьмого класса. Отец оберегал ее и от работы. Считая, что красота девушки стоит дороже знаний, ума и трудовой сноровки, Аликул, как купец над золотом, трясся над своей красавицей дочкой. Если бы он мог, то до поры до времени упрятал бы ее красоту в кубышку, где хранились у него деньги и драгоценности.

Покупая дочери сладости, украшая ее серьгами, браслетами и монистами, Аликул жадно высчитывал, насколько дороже становилась от этого ее красота. Любуясь Назакатхон, он удовлетворенно думал: такую рад будет взять в свой дом достойнейший из достойных!

— Думай о своем будущем, дочка, — ласково наставлял он Назакатхон. — А будущее твое — в хорошем муже... Выйдешь за большого начальника, заживешь как твоей душе угодно. Будут у тебя дом — полная чаша, самые дорогие наряды и такие украшения, каких ни у кого нет! Слушайся отца, доченька, он добра тебе хочет...

И росла Назакатхон избалованной, легкомысленной и капризной. А жила скучно. Подруг у нее почти не было: отец не разрешал ей «якшаться с кем попало». Книг не читала: на что красивой девушке книги? Целыми днями Назакатхон возилась с платьями, помогала отцу по хозяйству, а по вечерам услаждала слух гостей Аликула игрой на дутаре и песнями. Гости не отрывали глаз от ее нежного лица, от статной фигуры, и Назакатхон все чаще отвечала им кокетливо-благожелательными взглядами. Внимание мужчин льстило ее самолюбию, а скучная, пустая, однообразная жизнь рождала в ее глупом, нищем сердечке смутные, греховные желания.

Кончилось это тем, что Назакатхон нанесла сокрушительный удар по планам и мечтам отца. Уверенный в скромности дочери, он и не заметил, как она сблизилась с одним из его гостей, пригожим парнем, заведовавшим колхозным клубом и знавшим наизусть все самые красивые слова из книг о любви. О позоре дочери Аликул узнал только тогда, когда она подарила ему внучку. Избранник Назакатхон был в это время уже далеко: его призывали в армию, и он отбыл из кишлака, забыв испросить у Аликула родительское благословение на брак с его дочкой...

Аликул ходил темнее тучи, но дочь не корил: бранить

ее было уже поздно. К тому же, когда у Аликула рушились планы, он думал лишь об одном: как на месте разрушенного здания выстроить новое.

И снова Аликула выручило несчастье. Ребенок, не прожив и нескольких дней, захворал и умер. Теперь легче стало скрыть позор Назакатхон. Отец и дочь, придумав какой-то предлог, перебрались в отдаленный кишлак, и закрытый котел так и остался закрытым.

Мужчин, как мух на мед, по-прежнему тянуло к Назакатхон. Аликул, продолжая лелеять в душе мысль о выгодном зяте, ловил теперь и возможности, которые предоставлял ему сегодняшний день. Он пользовался, как приманкой, красотой дочери, чтобы добиться расположения пужных людей. Пораскинув умом, он решил устроить Назакатхон на работу: к девушкам-узбечкам, не боявшимся труда, окружающие относились с большим уважением и доверием. Трудовые заслуги росли в цене...

Назакатхон, чувствуя себя виноватой перед отцом, во всем его слушалась, и это не было ей в тягость. Аликул, сам ненавидевший грубую, «черную» работу, подыскивал для дочери работу «поинтеллигентней»: в библиотеке, в кооперативе, в колхозной канцелярии... Общительная по натуре, Назакатхон быстро сходилась с людьми, и это было на руку Аликулу. Выходило так, что теперь он действовал не в одиночку, ему во многом помогала дочь.

Жизнь Назакатхон, по-прежнему бездумная, обрела веселую пестроту. У девушки обнаружились повадки завзятой кокетки и любвеобильное сердце. Решительно изгнав из памяти первого своего возлюбленного, она устремилась навстречу новой любви, а отец умело направил ее пылкое чувство по пужному руслу.

После неудачного романа с безусым заведующим клубом Назакатхон сама благоволила к людям посерьезней, солидней. С ними было интересней: они неумолимо, наперебой выказывали ей самые горячие знаки внимания, готовы были исполнить любую ее прихоть, все делали, чтобы потешить, развлечь беспечную красавицу. Назакатхон правилось это. Лишь изредка тень набегала на ее лицо: это случалось, когда она замечала в глазах знакомых девушек трепетный, чистый свет большой, застенчивой, непонятной для Назакатхон любви... И, сама не зная почему, она испытывала легкую, щемящую зависть...

Так и жили бывший купчик, в котором крепкой оста-

валяса торгашеская закваска, и его дочь, смазливая, веселая Назакатхон.

По время бежало, словно быстрая вода в арыке. Аликул затосковал по родным местам. Там начинался его извилистый жизненный путь, там ему надлежало и завершиться... В последние годы Аликула все реже преследовали неудачи, у него был уже завидный послужной список, он сумел сколотить небольшой «капиталец». Оставалось только осесть навсегда в родных краях, добиться наконец всеми правдами и неправдами почета, покоя и всяких благ, о которых он мечтал еще в молодости.

Аликул вернулся в Алтыпсай.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ СНОВА В АЛТЫПСАЕ

В Алтыпсае давным-давно забыли о прегрешениях Аликула и даже обрадовались возвращению земляка. На первых порах он поселился у одного из своих родственников. Самые докучливые из алтыпсайцев пытались выведать у Аликула хоть что-нибудь о его делах и похождениях за годы отсутствия, но на все расспросы он отвечал неохотно и лишь многозначительно подчеркивал, что все это время он жил и трудился не где-нибудь, а в Мирзачуле, в колхозах, славившихся умельцами-хлопкоробами, настоящими мастерами своего дела. Оп, Аликул, многому научился у них, да и сам не раз получал премии.

Любопытные односельчане вскоре отстали от неразговорчивого «мирзачульца» и принялись ждать доказательств делом, работой. Ждать пришлось недолго...

Отдохнув несколько дней, Аликул отправился в сельсовет, к Айкиз, познакомиться с молодой «начальницей», поздравить ее с удачным замужеством, расспросить о здоровье старого Умурзака-ата. Это был долг вежливости, выполнить его было и выгодно и приятно...

Айкиз вышла из-за стола навстречу почтенному гостю, провела его к стулу и, сев на свое место, окинула посетителя внимательным взглядом.

Аликул поставил между коленями сучковатую, отполированную палку, оперся о нее ладонями и сказал с извиняющимся смешком:

— Вот, дочка, зашел представиться местным властям...

Хе-хе... Ты-то меня, верно, и не помнишь. А я тебя помню. Хе-хе... Да, помню. Ты тогда во-от такой была.— Аликул простер над ладонь, показывая, какой крохотной была когда-то Айкиз.— И мужа твоего помню, Алимджана... Непоседливый был малыш, да простит меня аллах! Во всех драках верховодил... А теперь, говорят, тоже большой человек. Так что, дочка, прими мои поздравления. Рад я и за тебя и за Алимджана...

Айкиз решила наконец перебить посетителя. Поблагодарив его за теплые слова, она улыбнулась и вскользь бросила:

— Отец рассказывал мне о вас...

Аликул перехватил короткую улыбку Айкиз, тяжело вздохнул.

— Э, дочка, много снега с тех пор выпало, много воды утекло. Был я когда-то молод да глуп, не понимал, что к чему. Потом пожил среди добрых людей, набрался ума-разума, стал своими руками растить хлопок, «белое золото», пушистый жемчуг. Хвалили меня в Мирзачуле. Да, хвалили... Не хотели даже отпускать. Но возраст у меня преклонный, потянуло старого медведя в родную берлогу, хе-хе... Решил на склоне лет поискать приюта, опоры и защиты в родном кишлаке, среди друзей-земляков. Надеюсь я, дочка, и на твою помощь...

— Ворота нашего кишлака открыты для всех честных людей,— сказала Айкиз.— И двери сельсовета — тоже.

Аликул помолчал, обдумывая слова собеседницы, потом взглянул на нее в упор и медленно произнес:

— Ты достойная дочь своего отца, Айкизхон. Он в свое время старался наставить меня на путь истинный, да не послушался я его, и вот... Сколько горя, сколько мук довелось мне испытать, пока не просветлел мой разум! — На глазах у Аликула выступили слезы, он вытер их пальцами и, успокоившись, осведомился: — Как здоровье почтенного Умурзака-ата? Давно мы с ним не виделись!..

Растроганная речь Аликула, Айкиз разговаривала с ним мягко, ласково... На ее вопрос, не хочет ли он работать в колхозе, гость ответил утвердительно. Айкиз обрадовалась.

— Вот и хорошо, Аликул-амаки! Нам нужны опытные хлопкоробы. Я поговорю с Кадыровым, а вы пока напишите заявление.

Уже прощаясь, Аликул, как бы между прочим, спросил:

— Каков он сейчас-то, наш председатель? Помню, прежде был боевой джигит! Не раз попадало мне от него на собраниях...

Айкиз неопределенно пожала плечами.

— Годы идут, люди меняются... Вы же сами сказали: много снега с тех пор выпало. Зазнался чуть-чуть Кадыров, оброс жирком. Но вы не беспокойтесь, Аликул-амаки, вас он не обидит. У него хлопкосеющий колхоз, знающим работникам цены нет. Это-то Кадыров понимает...

В беседе с Кадыровым, к которому направила его Айкиз, Аликул не преминул заметить, что он, пожалуй, не вернулся бы в родной колхоз, если б не прослышал о его успехах. Коль верить молве, с таким рисом, как Кадыров, можно делать большие дела, а он, Аликул... хе-хе... как и все люди, одержим грешными помыслами, не прочь сойтись на короткой ноге с почетом и славой...

Кадыров довольно усмехнулся. Аликула назначили в одну из бригад поливальщиком.

Годы скитаний и жизнь в Голодной степи не прошли для него даром: он многое сумел заметить, перенять у мирзачульцев. Когда наступило время полива, Аликул удивил и порадовал земляков. Он проводил полив не методом «затопления», как это делалось до сих пор в «Кызыл юлдуз», а по-новому, пропуская воду в борозды через камышовые трубки. Вскоре у Аликула появились ученики, звеньевые и поливальщики из других бригад, и «новатор» охотно делился с ними опытом.

С Кадыровым Аликул держался почтительно, не забывая при случае воздать должное его былым и будущим заслугам. Опытному сердцеведу, понаторевшему в обращении с разными людьми, ничего не стоило нащупать слабую струнку самолюбивого председателя. Однако, как и воду при поливе, он пускал лезть на благодатную почву кадыровского тщеславия небольшими дозами, разумно отказавшись от метода «затопления». Так он добился от Кадырова не только благосклонности, но и уважения.

Приятелей Аликул не заводил. Но зорким, наметанным глазом он, словно ястреб добычу, высмотрел среди алтынсайцев заведующего молочной фермой, неуклюжего, неповоротливого, толстого, как бочка, Рузы-палвана, бригадира отстающей бригады Молла-Сулеймана, поклонявшегося, как богу, собственному желудку, и еще нескольких любителей поесть и повеселиться.

Все они появились в Алтынсае не так давно. Колхоз «Кызыл юлдуз» богател, и, как мухи на мед, слетались сюда охотники до чужого добра. Кадыров готовно оказывал им покровительство и поддержку: памятуя о том, как несколько лет назад в схватке с Айкиз и ее сторонниками он оказался в одиночестве, раис теперь старался окружить себя «верными», преданными ему людьми.

Вот этих прихлебателей Кадырова Аликул время от времени приглашал к себе на обед или ужин. Он не скупился на угощение: знал, что рубль, если его истратить с толком, может превратиться в два рубля.

С остальными алтынсайцами Аликул оставался одинаково приветливым, но сдержанным. Он больше любил слушать, чем говорить. Слушая собеседника, раздумчиво шевелил губами или соглашался с ним одобрительным кивком головы. Собственные мысли, если не пужно было их скрывать, он излагал лишь в конце разговора, кратко, веско, с достоинством. На собраниях Аликул не выступал, держался в сторонке. Если при нем завязывался спор, отмалчивался, старался уйти под каким-нибудь удобным предлогом. В кишлаке его прозвали «Аликул-скрытный», но приносили эти слова не без уважения...

Слава лучшего поливальщика, как хороший бульдозер, расчистила и разровняла дальнейший путь Аликула. Когда его сделали колхозным мирабом, все приняли это как должное. Алтынсайцам казалось, что Аликул вернулся домой иным человеком, чем был прежде. Работал он не хуже других. Многие даже уступали ему как хлопкоробу. Жил он тоже, как все. Правда, помпившие прошлое Аликула недоверчиво покачивали головами: «Этот между жерновами попадет — и то останется невредимым!» Но остальные, а их было большинство, считали нового мираба честным, безобидным дехкапином: «Он и у барашка травы не отщипнет».

Кадыров все чаще навещался к Аликулу: посоветоваться, похвастаться, пожаловаться на своих недругов, послушать песни Пазакатхон, на которую он глядел, как кот на сметану, жадными глазами. Однажды председатель пригласил к своему мирабу Султанова. Аликул готов был в лепешку разбиться, чтобы угодить дорогим гостям. Он угостил их супом из рубленого мяса, красным пловом, сочным виноградом, свежей, сладкой дыней, которая всю комнату наполнила нежным ароматом. Пазакатхон, кокетливо по-

глядывая то на Султанова, то на Кадырова, спела для них лучшие свои песни.

Султанов остался доволен и обедом, и песнями, и хозяйном. На лице его вспышками магия сверкала белозубая улыбка. Благодаря Аликула за доставленное удовольствие, Султанов произнес целую речь, щедро украсив ее цветами из сада своего пышнословия.

После обеда, когда зной сменился предсмеречной прохладой, Султанов выразил желание посмотреть хлопок. Все трое, хозяин и гости, сели на молодых, горячих карабаиров и торжественной кавалькадой двинулись к хлопковому полю. Возле участка, где трудилась бригада Суванкула, Султанов, недовольно нахмурившись, остановил копя. Через поле тянулись борозды, но поливальщик, видимо по неопытности, решил затопить участок водой. Поймав осуждающий взгляд Султанова, Аликул быстро спешился, скинул сапоги и, войдя по колено в воду, запрудил арык. После этого, подобрав бумажный пакет из-под минеральных удобрений, мираб смастерил из него подобие трубки, вставил ее узким концом в земляную перемычку, отделяющую поле от арыка, и принялся равномерно, бережливо распределять воду по бороздам.

Султанову понравилась расторопность Аликула. Чуть приподнявшись в стременах, подняв в приветственном жесте руку, он крикнул:

— Молодец, мираб! — и, обернувшись к Кадырову, сказал: — Надо ценить таких людей, раис! Надо смелей выдвигать их на руководящую работу. На хлопок твой колхоз «сел» недавно, так крепче держись за хлопкоробов-специалистов. Руками и ногами держись! По-моему, этот мираб — самая подходящая кандидатура на пост председателя совета урожайности.

Аликул успел уже дать нужные наставления поливальщику. Вымыв в арыке руки, вытерев их полкой халата, он обулся и возвратился к своим спутникам.

— Молодец, мираб! — снова похвалил его Султанов.

Аликул, напустив на себя озабоченность, смиренно ответил:

— Я, товарищ Султанов, только исправил ошибку нерадивого поливальщика... Ведь колхозный хлеб положено зарабатывать честным трудом!..

После нескольких застольных встреч с Султановым Аликул стал председателем совета урожайности. На полях

он теперь бывал реже, зато алтынсайцам приходилось чаще выслушивать его кичливые поучения, начинавшиеся обычно неизменными словами: «Вот у нас в Мирзачуле...» Выходило, что местным колхозникам далеко до мирзачульцев, что только председатель совета урожайности может научить их по-настоящему, «по-мирзачульски» растить хлопок. Впрочем, с людьми Аликул оставался неизменно мягким, обходительным, и не было еще случая, чтобы, встретив кого-нибудь из колхозников, он не поздоровался с ним с подкупающей вежливостью за руку, не улыбнулся поощряюще-приветливой улыбкой.

Толки об освоении целины заставили Аликула настрожиться: меньше всего нуждался он в лишних заботах и хлопотах. Однако на колхозном собрании, где обсуждали план паступления на целинные земли, он промолчал и лишь после бюро райкома дружески поделился с Кадыровым своими мыслями о Джурабаеве и Айкизе, которые, не считаясь с заслугами Кадырова, явно под него «подкапываются»...

Аликул понимал, что его благоденствие зависело от благоденствия Султанова и Кадырова, и мрачно размышлял, как бы насолить Айкизу и ее друзьям. Их честность и энтузиазм, словно гранитные скалы, преграждали ему дорогу к спокойной, безмятежной жизни.

С помощью Айкиза Аликулу удалось пристроить Назакатхон на теплое местечко в конторе колхозного правления. Он «приручил» Султанова, и в руках оказался еще один козырь. А когда на поля обрушилась песчаная буря, душу Аликула объяло злобное торжество.

Однако он избегал открытого боя. Когда давний его приятель Гафур сказал, что хочет отомстить племяннице, Аликул укоризненно покачал головой.

— Ай, дорогой, недоброе ты задумал. Только глупцы становятся на путь мести.— И уже тише добавил: — Есть, дорогой, хорошая пословица: «Души врага ватой».

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ НА БЕРЕГУ КАНАЛА

К этому-то «утешителю» и направился Кадыров после столкновения с Джурабаевым и колхозниками. Обогнув хлопковые поля, он поехал берегом канала к месту, где

теперь иногда обедал Аликул с друзьями, превращая каждый такой обед в долгое, веселое пиршество. Кадыров частенько присоединялся к беззаботной компании и не видел ничего худого в том, что его приятели с таким размахом отдыхают и душой и телом от трудов праведных, беспечно наслаждаясь искрометной застольной беседой.

Солнце, словно кипятком, ошпаривало плечи и спину. От травы и цветов, устилавших берег, исходил дурманящий, душный запах. Мокрая грива коня свалилась. По лицу Кадырова ручьями струился пот, но он не замечал жары. Кожа на его пизком лбу сложилась в гармошку, в голове тяжелыми жерновами ворочались докучные невеселые мысли...

Никогда Кадырову не приходилось размышлять так много над столь трудными вопросами. Голова разламывалась от назойливых дум, а в душе в каком-то пестром хороводе смешались строптивость, гнев, растерянность.

Спор с Джурабаевым встревожил Кадырова. Джурабаев при всех отчитал его, как мальчишку, а ему, председателю, оставалось только молча хлопать глазами. Он был один против всех! Даже старики за него не вступились, а ведь на их глазах прошла вся его жизнь. Или забыли они, как он громил кулачье, строил по кирпичику алтынсайский колхоз, за руку вводил в дома колхозников достаток и счастье? Джурабаев и Айкиз призывают к лучшей жизни. Но разве сейчас алтынсайцы живут не лучше, чем прежде? Прежде на их полях росла только хилая пшеница, а нынче распушился хлопок, и этого богатства колхозу хватит надолго!..

Как хорошо все складывалось: колхозное хозяйство постепенно, незаметно наливалось соками, Кадыров научился растить пшеницу, а потом хлопок; жил по-простому, без выдумок, занимался изо дня в день одним и тем же, совершенствуя свой опыт и знания; ладил со всеми колхозниками, и никто, слава богу, еще не видел от него зла... Так нет же, явились «энтузиасты», подняли шумиху! Не успел он осмотреться, освоиться, приноровиться к той нови, которая властно утвердилась на алтынсайской земле, а ему уже подсовывают целину. Целина!.. Шутка сказать, пробудить к жизни неоглядную степь. Это как в бурную реку кинуться, выплывешь ли — неизвестно. К тому же совладают они с целиной — хвалить будут Айкиз и Джурабаева, а провалятся — на дно пойдет Кадыров! Слава — им, а ши-

шки — ему. И никто не хочет его понять! Никто ему не посочувствовал! Вот ярлыки приклеивать находятся мастера: «Кадыров тормозит развитие колхоза. У Кадырова мысли покрылись плесенью. Кадыров себя любит больше, чем колхоз!..» Только злейшие враги способны так черпнуть его, называя лето зимой, ясное небо — облачным. Ну разве так бывает, чтобы человек, создавший колхоз, тянул его назад? Нет, не заслужил он таких упреков! Кадыров любит свой колхоз! Ведь он не мыслит себя без колхоза; это его колхоз, он всей своей жизнью выстрадал почетное право быть здесь хозяином и никому, — да, да, товарищ Джурабаев! — никому не позволит попирать это право.

Конь не спеша шел вдоль канала. Разомлевшая на солище трава устало шуршала под копытами... Вдруг копь споткнулся, упал на передние ноги, уздечка выскользнула из рук всадника, а сам он, перелетев через голову иноходца, грузно грохнулся на горячую землю. Конь, почуввав свободу, тут же устремился к воде, жадно припал к ней измученными жаждой губами.

Ошеломленный неожиданным падением, Кадыров долго не мог прийти в себя, сидел, чуть откинувшись назад, опираясь о землю ладонями, и бессмысленно смотрел перед собой. Наконец, побряхтывая, поднялся, подобрал откатившуюся тюбетейку, смахнул ею пыль с гимнастерки, с сапог, нахлобучил ее на бритую голову и с угрожающим видом, похлопывая по сапогу плетью, которую еле отыскал в высокой траве, двинулся к коню. Тот даже не заметил, как подошел хозяин. А Кадыров схватил окупившиеся в воду поводья, дернул их на себя с досадой, изо всех сил хлестнул копя плетью. Конь рванулся было в сторону, но хозяин ту же натянул поводья и еще раз хлестнул его по потному боку. Только вдоволь натешившись властью над незащитным, сразу смирившимся животным, выместив на нем всю свою злость, Кадыров вскарабкался в седло и поехал вперед ровной, быстрой иноходью. Езда успокоила председателя. Он достал из кармана наскладу с насваем, раскрыл ее ударом о луку седла, бросил табак под язык и мысленно повел беседу с друзьями и недругами...

Ах, Бекбута, и ты кинул камень в председателя; видно, и у тебя память отшибло. Босоногим мальчишкой ты бежал по пыльным улицам Алтынсая, а Кадыров уже возглавлял колхоз. Когда твоей матери, нищей вдове, обивавшей из-за куска хлеба пороги байских домов, стало невмоготу,

Кадыров первый протянул ей руку помощи, затащил в колхоз. А тебя самого кто выдвинул в бригады? Ты же за все добро платишь своему председателю черной неблагодарностью, подпеваешь тем, кто задумал его погубить!

Один Гафур пришел сегодня Кадырову на выручку. Но что в нем толку, в Гафуре?.. Он ведь не так давно вышел из тюрьмы, где сидел за воровство... Вот если бы кто другой поднял голос в защиту председателя... Но все подобрались один к одному: приперли его к стене и ждут, неблагодарные, что он поклонится им в ноги, попросит: «Валите на меня все, уважаемые товарищи, засыпайте по самую макушку вашими грандиозными планами и идеями». Ну нет, по доброй воле он не сунет голову в петлю: голова ему еще пригодится. Пока — ваша взяла, а там посмотрим...

Конь бежал вперед, Кадыров подпрыгивал в седле, задумчиво посасывая насавай. Вдруг лицо его прояснилось: он увидал на берегу канала в просторном камышовом шалаше своих друзей. Они сидели на траве за обеденной трапезой; тут были и Аликул, и Рузы-палвап, и дочь Аликула, красавица Назакатхон, давно приглянувшаяся председателю, и бригадир Молла-Сулейман, длиннолицый и чернобородый. Все обернулись на мягкий стук копыт, встали с мест, приветствуя председателя. Молла-Сулейман помог ему сойти с коня, и Кадыров очутился в кругу настоящих друзей, не державших за пазухой камень, не вовлекавших его в опасные затеи. Тут было легко и привычно спокойно. Он поудобней устроился перед положенным прямо на землю пустым хурджуном, на котором, дразня аппетит, красовались лепешки, свежие огурцы, помидоры, красный и черный перец, молодой лук, гранаты, сохранившиеся еще с прошлого года, и жирная, отдающая тмином холодная баранина (Рузы-палвап приволок с фермы чуть не целую тушу!).

— Видно, теща тебя любит, раис! — весело заметил Рузы-палвап. — Поспел как раз к обеду. Мы еще не начали. Развлекались разговорами да песнями прекрасной Назакатхон!

Назакатхон, оказавшаяся справа от Кадырова, как бы подтверждая слова Рузы-палвана, тронула пухлыми пальчиками струны дутара, который принесла с собой, и лукаво взглянула на председателя.

— Тещи, отдающие дочерей таким мужьям, должны чувствовать себя счастливейшими из смертных!..

— Ну-ну, довольно вам,— через силу улыбнувшись, буркнул Кадыров.— Счастьем тещ сыт не будешь.

— Золотые слова! — подхватил Аликул и, прижав руки к груди, с шутовой торжественностью сообщил: — Клянемся, раис, желудки у нас сухи, как луковая шелуха. Все мы рвемся в бой! Рузы-палван, подвинь-ка мне мясо.

Достав нож из черных кожаных ножен, Аликул принялся ловко разрезать жирную, ароматную баранину на мелкие доли. Молла-Сулейман занялся овощами. Из-под его ножа посыпались в большую миску кружки помидоров, огурцов, лука. А Рузы-палван с таинственным видом поднялся с места, подмигнул своим сотрапезникам, отошел к капалу, вынул что-то из воды и торжественно вернулся к «столу», держа на воздетых к небу руках бутылку коньяка и дыню, имевшую удивительное сходство с продолговатой головой Молла-Сулеймана — ей недоставало только черной окладистой бороды.

С бутылки и дыни капала вода, а из уст Рузы-палвана лился попеременно с шутками сладкий слей:

— Это мой подарок, дорогие друзья. Дыню я растил специально для нашего уважаемого раиса. Ухаживал за ней, как за девушкой! А потом решил обручить ее с бравым капитаном, имя которому — коньяк четыре звездочки! — Он потряс в воздухе бутылкой и, усаживаясь на свое место, обнадеживающе добавил: — Сказать по секрету: там, в холодной водице, томится еще один жених...

— Славная дынька! — одобрительно сказал Кадыров.

— Говорят: ешь дыню по утрам, не то она покажется горькой, как яд! Но ведь человек, друзья, властелин природы. И сказал Рузы-палван: да будет утро, и опустил дыню в холодную воду, и обрела дыня утреннюю свежесть! А свежая дыня не чета вялой! Мы ведь в этом знаем толк, уважаемый раис, да, да, знаем!

— Молодец, Рузы-палван,— не без зависти похвалил своего приятеля Аликул.— Обо всем-то позаботится зарание. Сидит на верблюде и смотрит вперед!

Ободренный похвалой, Рузы-палван заговорил еще оживленней:

— Я, друзья, полагаюсь на чутье. Если есть у тебя чутье, можешь смело идти на риск! Помню, весной попросил меня наш председатель купить для него корову. Я тут же отправился на базар. Приглянулась мне одна коровенка.

Породы неизвестной, сколько дает молока — неизвестно, что предпочитает из кормов — тоже неизвестно. Приятели отговаривают: плюнь ты на это дело. А я думаю: эх, была не была! Пока осторожный рассчитывает, смелый свершает задуманное! Купил я корову, и вот уже третья неделя, как она отелилась. И молока дает по ведру в день. Да какого! Все в золотых блестках, словно небо в звездах! Сдунешь пену, а под ней сплошной жир. Так что с тебя магарыч, раис!

Кадыров, довольно рассмеявшись, хлопнул Рузы-палвана по плечу.

— Не человек — золото! Спасибо тебе за все, дорогой!

— Да, знаем толк, знаем!.. — хвастливо повторил заведующий фермой. — Вот мы и обмоем удачную покупку!

Ловким ударом он вышиб из бутылки пробку. Коньяк даже не замутился. Наполнив граненые стаканы, Рузы-палван обратился к Кадырову:

— Ты что-то хмур сегодня, раис... Шутить, смеешься, а глаза сердитые. Не таись, друг, тут все свои.

Кадыров, не отвечая, выпил свой коньяк, отправил вслед за ним кусок баранины и, потянувшись за новым, левой рукой налил себе еще коньяку. Лицо у него побагровело, глаза налились грозной чернотой. Аликул поспешно пододвинул к нему миску с помидорами и огурцами, густо поперчил их и, подцепив на вилку несколько кружков, передал председателю. Дожевывая закуску, Кадыров проворчал:

— Будешь сердитым... То отбивался от молодых петушков, а сегодня пришлось схватиться с самим Джурбаевым! Носятся они со своей целиной, а не умиляешься с ними заодно — крик поднимают!

— Э, дорогой, воробьев бояться — проса не сеять! — сказал Аликул. — Ты ведь тоже небось не остался в долгу?

— Я спорил, пока не охрип... Да разве их переспоришь! Затвердили одно: надо, мол, сразу делать тысячу дел! Попробуй переубеди их!..

— Это, видать, про них сказано: кто говорит небдуманно, тот, не заболев, помрет, — заметил Рузы-палван.

— А они живут, живут и здравствуют! Да еще и другим копают яму. Вы бы послушали, что они мне наговорили: «Ты, говорят, потекаешь лодырям!» Это вы-то лодыри! Самые лучшие мои помощники, самая надежная опора! А от тебя, Молла-Сулейман, только перья летели.

Общипали тебя дехкане, как курицу. Все припомнили: и помшкы, и много чего другого...

Молла-Сулейман замер, не донеся куска баранины до открытого рта. Черные коротышки-брови подпрыгнули вверх; большие и глупые, как у барана, глаза вытянулись, приняв форму дождевых капель,— лицо от этого стало казаться еще длиннее.

А Кадыров продолжал, с возмущением глядя на своих собеседников:

— Больше всех разорвалась, конечно, Айкыз. «Гони, говорит, в шею нерадивых бригадиров, назначай на их место женщин».

— Это кого же, к примеру? — не без ехидства полюбопытствовал Аликул.

— Они сказали кого — Михри! Девчонку, у которой молоко на губах не обсохло! Керим так за нее распинался, противно было слушать.

— Ах, Керим-им!.. — понимающе протянула Назакатхон. — Я его часто вижу вместе с Михри. — Она вздохнула. — У них ведь любовь.

— Стыда у них нет, вот что я скажу! — возмущенно произнес Аликул. — Мало им того, что они у всех на глазах шуры-муры разводят, так этот молодчик добивается еще для своей красоты всяких побрякушек. Подумайте, друзья, вместо нашего почтенного Молла-Сулеймана в бригаде будет верховодить какая-то вертихвостка!.. Тьфу!.. Упаси нас бог от такого позора... — Он обернулся к Кадырову и строго спросил: — И ты смолчал, раис?

Кадыров побагровел еще гуще.

— Плохо ты знаешь своего председателя, братец! Когда есть что сказать, я не пощажу и родного отца. Я предупредил: «Отвечать за все придется вам самим!» Я сказал: «Я не допущу расправы с верными своими друзьями!» — Он распалился и выкладывал все, что накипело на душе и что не успел выложить в недавнем споре с Айкыз и Джурабаевым. — Я сказал: «Забрасывать грязью моих друзей — значит забрасывать грязью меня, Кадырова! А я не позволю подрывать свой авторитет, товарищ Джурабаев! Я больше двадцати лет руковожу колхозом! Вам не удастся спихнуть меня, посадить на мое место своих любимцев. У Кадырова корни крепкие, как у тысячелетней чинары».

Неожиданно Кадыров затих, опустил голову, набычился... Аликул поднял стакан с коньяком, налитым из вто-

рой бутылки, которую успел припрести Молла-Сулейман. При общем молчании он произнес с почтительным восхищением:

— У того, кто может так разговаривать с Джурабаевым, львиное сердце!

А Назакатхон, положив обе ладони на плечо председателя, заглянула ему в глаза и шепнула:

— Это у вас львиное сердце, ранс-амаки!.. У вас!

Кадыров молча погладил ее руки и отважно выплеснул в свое луженое горло коньяк.

Веселья сегодня не получалось... И когда на быстром, как ветер, велосипеде к обедающим подъехал Алимджан, он застал их задумчивыми, угрюмыми... Взглянув на их кислые лица, Алимджан незаметно усмехнулся. Пожелав всем приятного аппетита, он отозвал в сторону Кадырова.

— Не вовремя вы затеяли этот пир, ранс.

— Хм... Уж не прикажешь ли ты нам оставаться голыми, парторг? А может, мы за обедом обсуждали важные колхозные дела?

Алимджан кивнул на Назакатхон.

— А она?

— Дочь почтенного Аликула согласилась приготовить для нас обед... Нам самим некогда этим заниматься.

— Ладно, это я так, к слову. А приехал я вот по какому делу. Мы с товарищем Джурабаевым были недавно в колхозе «Первое мая». Чтобы вспаханная целина не пропала в этом году даром, первомайцы решили засеять ее джугарой. Я и подумал: а хорошая это затея! Молодцы первомайцы!

— Да что ты заладил: первомайцы, первомайцы! — раздраженно прервал его Кадыров. — Мне-то до них какое дело?

— А такое, что и нам следует перенять их опыт.

— Перенять? Значит, если кто-нибудь с крыши прыгнет, так и нам прыгать?.. Нет, уважаемый партийный секретарь! Не думай, что ты сидишь на ветках, а я на листьях!.. У Кадырова своя голова на плечах. Кадыров жить чужим умом не согласен! Не буду я целицу засеивать джугарой! — Он прищурился и со злорадным торжеством добавил: — Ее уж и так... ха-ха... песком засеяло!..

Алимджан, пропустив мимо ушей язвительную реплику Кадырова, горячо произнес:

— Ты пойми, ранс, какую мы извлечем из этого вы-



году! Доходы от животноводства у нас невелики. О заготовке кормов мы совсем забыли. Другие колхозы силос сотнями тонн закладывают, а у нас его ни грамма! Рузы-палван коров соломой кормит, хотя сам, я вижу, любит подзаправиться!.. Вот наши коровы и дают молока меньше, чем козы. Я тебе давно твержу: у нас животноводство хромает на обе ноги. Надо новые фермы строить, кормами запастись. А тебе и горя мало! Давай хоть теперь исправим наш промах — именно наш, потому что и я во многом виноват. Мало, видно, на тебя наседали.

— Ты мне еще совсем на шею сядь! — буркнул Кадыров, и, как всегда, когда он с кем-нибудь ссорился, брови у него насупились, шея вспотела, лоб собрался в жирные складки.

— Зря сердишься, раис,— дружелюбно сказал Алимджан.— Ведь для людей наших, для родного колхоза будет лучше, если в этом году мы получим хорошие удои.

Кадыров брезгливо оттопырил губы, усмехнулся неприятной, тяжелой усмешкой.

— Бойки вы, как я погляжу! И хлопок вам подавай, и молоко, и целину, и джугару! Хотите из одного лука сразу семь стрел выпустить!

— Ну, лук, положим, оружие устаревшее,— возразил Алимджан.— Сейчас мы вооружены получше. Так что не стоит, раис, унывать. Почти все работы выполняют эмтэ-эсовцы, тебе же придется лишь выделить для ухода за посевами небольшую бригаду. А Рузы-палван подготовит силосные ямы, это его прямая обязанность.

— Так, так,— с угрюмой иронией произнес Кадыров.— Ты напридумывал невесть что, а я отдувайся!.. Ты, выходит, законодательная власть, а я исполнительная. Мне полагается только подчиняться, проводить в жизнь твои директивы...

Алимджан лишь вздохнул с какой-то усталой безнадежностью.

— Трудный ты стал человек, раис... Опять надулся, как индюк, опять лезешь в бутылку. Ведь Джурабаев звал тебя, ты отказался с нами поехать. А мы сегодня все предарительно и обговорили.

— Кто это «мы»?..

— Товарищ Джурабаев, председатель сельсовета и я, как секретарь парторганизации колхоза.

— Погоди, погоди! Председатель сельсовета — это ведь Айкиз?

— Да, Айкиз...

— Ты бы и говорил: я и моя жена.

Алимджан недоуменно пожал плечами.

— Ну, пусть будет так: я и моя жена. Так вот, обсудили мы все, обдумали и пришли к выводу: до того как колхоз засеет целину хлопком, он успеет вырастить на ней джугару. Дело это не очень тяжелое, зато оч-чень полезное! Партийное собрание я решил не созывать, время горячее, страдное, но посоветовался с коммунистами, с бригадирами. Все — «за». Слово за тобой, раис.

— С бригадирами-то зачем советовался? — подозрительно, уже готовясь обидеться, спросил Кадыров. — Им ведь с твоей джугарой не вознться!

— Все равно, надо было знать их мнение. Бригадир — сердце колхоза!

Кадыров возмущенно засопел; теперь и на лбу у него выступили крупные капли пота.

— Та-ак, парторг... Ко мне ты, значит, идешь к последнему? Значит, я, председатель колхоза, вообще уже нуль без палочки. Пугало на колхозном огороде! Колхозный сторож!.. Так прикажешь тебя понимать?

Алимджан внимательно посмотрел на Кадырова и с раздумчивой укоризной, с какой-то даже жалостью покачал головой. Разубеждать председателя было сейчас бесполезно. Глупая обида, упрямое честолюбие замутили ему глаза, и он все видел перекошенным, как в кривом зеркале.

— Вот что, раис, — сухо и твердо сказал Алимджан. — Никто не покушается на твои права. Но ты, кажется, начал забывать, что у тебя есть и обязанности... Вместо того, чтобы считать обиды да печься о своем престиже, ты бы лучше подумал, как успешней провести сев кормовых. Партийная организация проследит за этим.

Уже оседлав велосипед, он обернулся к Кадырову, на которого словно столбняк напал, и предупредил:

— То, о чем я говорил тебе, партийное поручение. Учти это.

Кадыров, не поднимая головы, медленно повернулся и медленными шагами направился к шалашу... Среди его приятелей царил пасмурное молчание. На Кадырова устремились ожидающие, спрашивающие взгляды. Он тяжело опустился на свое место, пошарил вилкой в миске с ово-

щами, в сердцах бросил ее на хурджул так, что она подпрыгнула несколько раз, и крикнул:

— Ну, что молчите? Или у вас молоко во рту скисло? Вашего председателя свалили в грязь и топчут, топчут, а вы только ушами хлопаете!

Аликул осторожно кашлянул, виновато и льстиво улыбнулся.

— Чтобы тебя затоптать, раис, понадобились бы все слопы Индии... хе-хе... Ты уж положиись на нас, раис... Мы тебя в беде не оставим. Что бы с тобой ни случилось, мы всегда поможем. И советом, и... делом. Мы — тебе, а ты — нам... Хе-хе...

В это время к обедающим подошел Гафур. Кадыров покосился на него и пробурчал недовольно:

— Ждать себя заставляешь, звеньевой...

Гафур развел руками.

— Вы что, не знаете нашего бригадира? Совсем нас загонял! Ему, можно сказать, в лицо плюнули, а он выслуживается перед обидчиками... Из кожи воп лезет, чтобы спасти хлопок, который по милости моей бесценной племянницы — да пошлет ей аллах кучу детей, чтоб не мешалась в чужие дела! — чуть не погубила песчаная буря. Бригадиру махнуть бы на все рукой: пусть герои сами выкручиваются как хотят. А оп целыми бочками льет воду на их мельницу: и сам не выпускает из рук кетменя, и другим не дает ни минуты отдыха!

— Тебе, пожалуй, не дашь... — криво усмехнулся Кадыров.

— Ай, раис, ты-то уж меня не обижай! Я, кажется, все для тебя готов сделать.

Аликул разлил по стаканам остатки коньяка. Рузыпалвац, быстро разрезав дыню, положил перед каждым по душистому, искристо-белому полумесяцу.

— Предлагаю, друзья, выпить по маленькой за хорошее настроение и поближе познакомиться с моей дынькой.

— И пусть раис расскажет, чем... хе-хе... порадовал его паш молодой парторг.

Кадыров впился зубами в нежную мякоть, обглодал корку, отбросил ее в сторону и обвел приятелей недобрый взглядом, палитым хмурой тупой обидой.

— Радости мало. Председателя вашего уже ни в грош не ставят! — Он расправился еще с одной дынной долькой

и с горькой усмешкой продолжал: — Я-то, дурак, думал: я — голова колхозу! Да недаром говорят, что вода, которая течет потоком, не ценится. Главные хозяева у нас, оказывается, бригады. Парторг так и заявил: бригадир, мол, — сердце колхоза! — Кадыров в ярости стукнул кулаком по хурджуну и требовательно спросил: — Ну, а я тогда кто? Бригадир — сердце колхоза, а председатель — пустое место? Печенка, селезенка, слепая кишка? Отрезать ее да выбросить! — Он чуть не всхлипнул от жалости к самому себе и воскликнул с горечью: — Ну как такое терпеть? Как после этого работать? Руки опускаются...

Аликул поднял глаза к небу и сказал вкрадчиво и болезненно:

— Нам больно за тебя, раис... Мы видим, слова парторга ранили тебя в самое сердце, словно острие отравленного кинжала.

— Погодите! — со злорадной угрозой прервал его Кадыров. — Погодите, они и до вас доберутся. Наплачетесь с этой целиной! Особенно ты, Аликул!

Глаза у Аликула забежали, словно мыши в мышеловке.

— Это почему же я, уважаемый раис?

— Ты — председатель совета урожайности. Мы с тобой оба в ответе за урожай нынешнего года.

Аликул задумался. Потом, обращаясь к Молла-Сулейману, поинтересовался:

— У тебя-то на участке opravился хлопок?

— Какое там! Людей мало. Лучшие хлопкоробы ушли в строительную бригаду.

— А остальные на базаре гуляют?

— Да нет... Ковыряемся помаленьку...

Аликул насмешливо прищурился:

— А бригадир, если меня не обманывают глаза, ведет бригаду в бой, крепко сжимая в руках стакан о коньяком!.. Нет, так не пойдет, братец... Запомни: все твои дехкане — золотые работники и все делают, из последних сил выбиваются, чтобы спасти хлопок. А сам ты ночей не спишь, глаз не смыкаешь, все думаешь: как справиться с лихой бедой? Но вот людей у тебя мало... Как солнце высасывает из земли влагу, как болезнь изуряет человека, так и целина обескровила, истощила твою бригаду. И как ни бьются герои-дехкане, а хлопок, придавленный бурей, поднять уже не могут... И гибнет на наших полях бесценное «белое золото», гибнет по вине тех, кто не во-

время и не рассчитавши сил решил взять на ура неприступную крепость — пустыню, добыть себе дешевую славу...

Все как замороженные слушали Аликула. Молла-Суллейман глядел прямо в рот оратору своими выпуклыми глазами. Лица Кадырова и Гафура выражали мрачное тупое внимание. И лишь Рузы-палван морщил лоб, стараясь сообразить, куда клонит хитрый старик. Аликул, насладившись впечатлением, которое произвела на слушателей нарисованная им страшная картина, коротко вздохнул и, как о чем-то решенном, сказал:

— Так мы и напишем, дорогие...

Первым пришел в себя Рузы-палван. Он улыбнулся как-то неуверенно и, помявшись, спросил:

— Куда же это, Аликул?

— Как «куда»? — в свою очередь удивился Аликул. — В газету. В нашу районную газету. Как видите, основание для жалобы на Айкиз имеется. А поломаем головы — так еще что-нибудь отыщем... И подрежем крылья нашей занесшейся в облака орлице... Печать, братцы, бо-ольшая сила.

— И нам... поверят? — усомнился Рузы-палван: он-то не привык, чтобы ему верили.

— А мы сделаем так, что поверят. Мы обопремся на гору! Есть руководители и позорче и поумнее Айкиз с Джурабаевым...

— Султанов? — догадался Кадыров.

— Ты попал в цель, раис. Вспомните мудрую пословицу: только золотых дел мастер способен оценить золото. Разве не о Султанове это сказано? Уж он-то разбирается в людях. Он уважает нашего председателя, он самый желанный гость в моем доме. И он не оставит нас в беде, братцы...

— Так-то оно так... — угрюмо возразил Кадыров, — только ведь и его клюют молодые петушки.

— Ай, раис, ну что для него их наскоки? — возбужденно размахивая руками, воскликнул Рузы-палван, успевший уже увлечься замыслом Аликула. — Их критика как укус москита: почесется и пройдет. Ведь Султанов — хозяин района! Он не испугается Джурабаева. Говорят, он, как лев, бился с Джурабаевым и Айкиз на бюро райкома. За такого руководителя жизнь отдать не жалко!

— Верно, братец, — кивнул Аликул. — Султанов большой

человек и поможет нам. И помните: дорогу осилит идущий! Ты, раис, завтра поезжай в район к товарищу Султанову. Прихвати для него барашка пожирнее: пусть на нашем письме... хе-хе... будет ценная марка. Так оно надежней. И я думаю, товарищ Султанов не откажется передать это письмо в газету...

— Хм... А председатель совета урожайности дело говорит, — раздумчиво произнес Кадыров. — Только кто же, по-твоему, должен подписаться под жалобой?

— Я подпишусь! — с готовностью отозвался Гафур.

— Нет, нет, братец, — запротестовал Аликул. — Ты достоин самых высоких похвал, но твоя подпись... гм... Пусть подпишется Молла-Сулейман: у него хлопок под песком, а бригада ослаблена! И хорошо бы еще подписаться лицу постороннему, не замешанному в наши споры да свары... — Он обратил ласковый взгляд на Назакатхон и добавил твердо, но как бы и просительно: — Придется тебе, доченька, тоже подписать это письмецо...

— Ой, отец! Я же в ваших делах ничего не понимаю!..

— Ты сидишь в колхозной копторе, дочка, тебе оттуда многое видно, ты не можешь не знать, что творится в колхозе. Кстати, Молла-Сулейман, ты уверен, что твоей бригаде не удастся выходить хлопок?

— Если очень поднатужиться...

— Гм... Поднатужишься — лопнешь. А спасибо тебе никто не скажет. Будем считать, что хлопок на твоём участке... хе-хе... приказал долго жить. И не ты в этом виноват, Айкиз виновата. Айкиз и ее покровители... Вот это и напишите.

— Отец! Айкиз добрая, она не сделала мне ничего плохого...

— Это и хорошо, дочка, так тебе скорей поверят. А об Айкиз ты не думай. Подумаи лучше о своем будущем. Наш раис низко тебе поклонится за такое письмо. И товарищ Султанов будет доволен. Не упрямясь, милая...

Назакатхон вопросительно посмотрела на Кадырова. Тот тяжело вздохнул.

— Что делать, красавица? Не усмирим эту взбалмошную бабу — она от нас от самих мокрое место оставит.

Назакатхон не сразу преодолела свою нерешительность. Ей и Айкиз было жалко, и в то же время хотелось угодить отцу и Кадырову. Кадыров, правда, человек пожилой, женатый. Но жена у него старая, некрасивая.

А в их доме раис частый гость, и приходит не с пустыми руками: то подарит Назакатхон бусы, прозрачные, как слезы, или алые, как капельки крови, то купит для нее новое платье, то смущенно и неловко вынет из кармана и поставит перед ней флакон дорогих духов, и тогда в комнате пахнет, как в саду... Может быть, и есть женщины, которые в силах устоять перед этим, но только не Назакатхон. У нее голова начинает кружиться, когда она видит нарядное платье... Даже свое скромное жалованье Назакатхон с разрешения отца тратит на наряды, на безделушки и в контору является разодетая, словно в праздник. Но жалованья хватает на одну-две кофточки, на один-два браслета. А Назакатхон не дурнушка, чтоб по целым неделям щеголять в одном и том же наряде. Красота как облако: оно радует глаз, оттого что неустанно меняет окраску — то оно снежно-белое, то розовое, то золотистое, то переливчато-перламутровое, и можно любоваться им без конца. Так и Назакатхон: сегодня она в пестрой тюбетейке, расшитой причудливыми узорами, а завтра в черной «чусте», а через день в легкой косынке самой веселой расцветки... И взоры, привыкшие к ее красоте, вновь и вновь устремляются на нее с немим восхищением, а ее возбуждают и согревают эти взгляды... Нет, не может она отказаться от подарков Кадырова. Да и отец, если разгневается, будет держать ее в строгости... Поколебавшись, Назакатхон снова уголком глаза взглянула на Кадырова и, потушившись, покорно произнесла:

— Пусть будет по-вашему, раис-амаки... Я все напишу, как вы скажете...

— Вот и умница! — обрадовался Аликул. — Я знаю, дочка, Айкиз тебя приласкала, устроила на работу... Но ведь ты напишешь только правду. А правда, дочка, — Аликул приставил к груди сложенные лодочкой руки и с наигранным смирением возвел очи к небу, — правда превыше всего!.. Превыше даже благодарности... Гм... Ты что-то хочешь сказать, Гафур?

Гафур давно уже сопел, сердито и недовольно, дожидаясь, когда ему дадут возможность обогатить общую беседу своим веским словом. На вопрос Аликула он откликнулся угрюмым вопросом:

— А как же Джурабаев?

— Джурабаев?..

— Ай, Аликул, рассуди сам: если под письмом подпи-

шутся только Молла-Сулейман и Назакатхон, то как же мы впишем туда Джурабаева? Тут нужны подписи посольднее.

— А я думаю, — медленно произнес Аликул, — нам пока и не надо трогать Джурабаева. Одно дело — председатель сельсовета, другое...

— Ай! — не дал ему договорить Гафур. — Белая собака, черная собака — все равно собака!

— Э нет, братец! Толкнешь с горы маленький камешек — так он скатится без шума... Толкнешь большой — шум будет, грохот будет. А зачем нам шум?

— Да ведь Айкиз за Джурабаевым как за каменной стеной! Не потопим Джурабаева — так он и Айкиз за волосы вытянет!..

— Гм... Ты играл когда-нибудь в бильярд?

— Сам знаешь, не до бильярдов мне было.

— А я вот играл... Хитроумная это игра, братцы! Бьешь одним шаром, а в лузу ложится другой... Не удастся товарищу Джурабаеву спасти Айкиз — она сама его за собой потянет. Одно ему останется — отречься от запятанного работника. И от идеи, которую она замарала, — тоже...

Назакатхон зябко передернула плечами: от канала повеяло сырым, ознобным холодком. Обед, как всегда, затянулся, время близилось к вечеру... Притомившееся солнце, на что только не нагладевшееся за день, спешило укрыться за вершинами гор.

Кадыров, крихтя, поднялся. Встали и остальные. Председательский конь, пощипывавший невдалеке повядший клевер, замотал головой, заржал призывно и приветно: он, в отличие от хозяина, недолго помнил обиды... Кадыров велел Гафуру и Молла-Сулейману торопиться на свои участки: их длительное отсутствие и так уж, верно, вызвало нареканья. Договорились, что вечером все они соберутся у Аликула. Назакатхон принялась убирать посуду. Аликул, оставшись один на один с председателем, приложил руку к сердцу и еще раз проникновенно заверил:

— Можешь во всем положиться на меня, раис. Все от тебя отвернутся, но Аликул и в трудную минуту останется верным другом. Тебе есть на кого опереться, раис...

Рядом с грузным Кадыровым Аликул выглядел щуплым и маленьким.

Утром Кадыров отправился в район. Вид у него был помятый, под глазами мешки, лицо опухшее, серое, как пыль на дороге. Он плохо спал этой ночью, к тому же сказывался вчерашний коньяк. Перед тем как тронуться в путь, Кадыров выпил на ферме у Рузы-палвана еще коньяку, но легче не стало. На душе было скверно, смутно... Теперь бы поразмыслить обо всем трезво, спокойно, неторопливо; хорошенько обдумать те шаги, которые он собирался предпринять, взвесить возможные последствия. Но в голову лезли только поговорки да присловья, которыми был щедро приправлен вчерашний обед. «Воробьев бояться — так не сеять проса, — с кашляющим смешком убеждал его Аликул. — Дорогу осилит идущий!». «Их критика как укус москита, — вторил ему Рузы-палван, — почешется — и пройдет». «У вас львиное сердце, раис», — пела сладкоголосой птицей Назакатхон... От чужих приторно-сладких слов, еще звучащих в ушах Кадырова, голова гудела, как улей: пчелы-слова прилетали и улетали, сповали, пестрые и бестолковые, туда-сюда, сшибались, ломая друг другу хрупкие крылья, заползали, щекочуще перебирая лапками, в самые потаенные уголки сознания и жужжали, жужжали... «Нам больно за тебя, раис... Мы тебя в беде не оставим... Тебе есть на кого опереться, раис...»

Дорога в районный центр проходила через целинные земли; они раскинулись справа от всадника. Вот целина, поднимаемая его колхозом... Вот участки, прилегающие к угодьям других колхозов... А вот еще нетронутая, пустынная степь. Она похожа на шкуру линяющего верблюда, но раскинулась так широко, что ее глазом-то не окинешь, а уж об освоении нечего и думать. Попробуй-ка этакую ширь вспахать, напоить живительной влагой, уберечь от горячих ветров, несущих колючий песок! А если и случится чудо, если вырастет тут хлопчатник, он все равно пропадет: ведь никаких сил не хватит собрать урожай вовремя! Алимджан, верно, опять сослался бы на машины. Но машины — дело темное. На машины надейся, а сам не плошай. Замапчиво, конечно, представить эти вот степи залитыми белой пеной раскрывшегося хлопчатника. Разбогател бы тогда колхоз... Но пока можно обойтись богат-

ством, нажитым за последние годы. Обходились же до сих пор! Кадырова в районе хвалили, колхозники обзавелись кто мотоциклом, кто велосипедом, и никто его, председателя, не смел попрекнуть: ни Айкиз, ни Джурабаев. Славно тогда работалось и жилось славно. А теперь...

Кадыров тубетейкой вытер лицо, шею и причмокнул, поторапливая коня. Хорошо бы попасть в район пораньше, пообедать вместе с Султановым, а за обедом, по-приятельски потолковать о том о сем... Для иных Султанов, может, и начальство, а Кадырову он близкий друг. Он примет его в любое время в райисполкоме, позовет домой. А дома у него и улыбка другая, и слова не те, что на работе!.. К тому же к горячим бокам кадыровского коня прочно прижаты две сумы перекинутого через седло хурджуна, в котором покоились мясо и сало барашка, зарезанного утром на ферме Рузы-палвана. Это был и подарок, и взятка, и в то же время не совсем взятка, потому что барашек, плачевно закончивший свой жизненный путь, принадлежал, как это ни удивительно, самому товарищу Султанову. Султанов взятку не брал — не такой это был человек! — да и подарка, пожалуй, не принял бы, блюдя партийную непорочность. Кадыров, чтобы задобрить друга, вез к нему собственного его барана.

Уже не один хурджуи с бараниной был переправлен с фермы в дом Султанова, и каждый раз Кадыров сопровождал подарок клятвенными заверениями, — да видит аллах! — что это бараны не колхозные, а собственные султановские. Ведь товарищ Султанов помнит, наверно, как года два назад по его просьбе пустил Кадыров в колхозную отару трех султановских барашков? Просьба была, пожалуй, и не совсем законной, но не самому же председателю райисполкома пасти свою скотину! Кадыровские бараны тоже нагуливают жир вместе с колхозными. Что же тут такого? Дело житейское... Правда, те три султановских барашка давно уже превратились в шашлык, который был подан к столу в доме Султанова... Но ведь от них был приплод. А от того приплода — еще приплод. Теперь султановских барашков и не сосчитать! Товарищ Султанов знает, наверно, заведующего фермой Рузы-палвана? Ну, того, балагура? Толстого такого! На него вполне можно положиться, это работник преданный, добросовестный, и он так сказал: «Колхозное добро я берегу пуще глаза, отчетность у меня в полном порядке, не придерешься. А этого

вот барашка отвезите товарищу Султанову, это его барашек...» И уж пусть уважаемый товарищ Султанов не беспокоится, колхозная скотина у нас вся учтена, а чужой колхозу не надо... Пасутся у нас ваши барашки, и ладно, а сколько их нынче — это уж Рузы-палвану лучше знать.

Кадыров скосил глаза на хурджун с бараниной и чуть заметно усмехнулся... Легко говорить с людьми, которые любят пожить! По чести сказать, только с ними и можно договориться... Предложил бы он подобную услугу Айкизи или Джурабаеву, так нарвался бы на крупную неприятность. А Султанову поможешь — он тоже в долгу не останется. Попросишь его, чтобы он во время уборки направил в колхоз побольше людей из города, — разве он откажет? Джурабаев, тот сразу бы в крик: «А почему именно в твой колхоз? Другие колхозы не меньше твоего нуждаются в рабочей силе!» Чудак, право... Да ведь, когда нужно, и Кадыров может сослужить тебе хорошую службу... Как говорится, услуга за услугу. На этом все в жизни держится. Иначе как бы он вел колхозное хозяйство? Только тебе, товарищ Джурабаев, этого не понять... Не умеешь ты ценить настоящих друзей. О своей выгоде не думаешь... Ты, конечно, непустишь своих барашков в колхозное стадо, даже если все будет шито-крыто. Ох, уж эти чистюли! Упрутся на своем, и ничем их с места не сдвинешь! Вот и приходится идти на крайние меры...

Кадыров покачал головой: ему даже жалко было Джурабаева, не желающего понять, что жизнь — сложная штука и на упрямстве да несговорчивости далеко не уедешь. «Не захотел, уважаемый, поддержать Кадырова, которого знаешь уже много лет, так пеняй на себя. Стрела, пущенная в Айкизи, и тебя заденет, дорогой товарищ... Война так война! А на войне все средства хороши».

Когда Кадыров въехал в районный центр, от мрачного настроения не осталось и следа. Чужие слова-пчелы уже не терзали его своим надоедливым жужжаньем, они незаметно обернулись собственными его мыслями, а спорить с самим собой не хотелось. Следовало беречь силы, крепить в себе боевой дух: схватка предстояла не из легких!

Конь зацокал копытами по булыжной мостовой. Центральная улица поселка содержалась в опрятности. Каменная мостовая, асфальтированные тротуары, аккуратные, свежесбеленные ограды, из-за которых, словно спедаемые любопытством, перевешивались наружу кудрявые

деревья... Кадыров решил заглянуть в райисполком, может быть, Султанов еще там? Он пересек заасфальтированную площадь, на которую смотрели окна райкомовского здания (Кадыров даже не взглянул в ту сторону), миновал еще несколько домов и остановил коня перед входом в обширный сад, в глубине которого пряталось здание райисполкома. Дом был старый, но добротный. Когда начали строиться новые дома на главной площади, Султанов отказался переводить туда райисполком, так как вполне был доволен прежним местоположением, к тому же райисполком находился теперь в некотором отдалении от райкома, что создавало у Султанова ощущение независимости.

Здание райисполкома утопало в зелени; вдоль широкой аллеи, ведущей к дому и усыпанной гравием, тянулись низенькие скамейки. Здесь все было приспособлено для того, чтобы... ждать. В приемной Султанова было удобно и чисто, как в парикмахерской; на отдельном столике даже лежали журналы — читай, коли соскучишься! Сад манил чистотой и тенью; душно станет в здании — иди в сад, отдохни на скамейке, поразмысли в тени: может, с таким пустячным делом, как у тебя, и не стоило идти в райисполком, тревожить председателя, у которого всегда дел по горло. Нет, никто не мог бы упрекнуть Султанова в том, что он не заботится о посетителях! А что дел у него по горло, в этом тоже легко можно было убедиться: ведь если бы он не был так занят, разве заставлял бы людей часами дожидаться приема?

Был уже полдень... У подножья дерева лежала ровная, круглая тень. Кадыров привязал коня к одному из тополей, стороживших текущий вдоль тротуара арык, прошел через калитку в исполкомовский сад и, поглядывая с чувством превосходства на томившихся просителей, зашагал, хрустя гравием, к зданию, двери которого всегда были открыты перед Кадыровым. Он был здесь своим человеком. Секретарша председателя райисполкома, пышная и грозная, решительно останавливала случайных посетителей неизменной фразой: «У товарища Султанова совещание!» — но Кадырова она всегда встречала приветливой улыбкой.

— Да, да, у товарища Султанова совещание, но вас он ждет... — И конфиденциально добавляла: — У него сейчас машинистка, он диктует доклад...

Проществовав в комнату, где восседала секретарша, Кадыров поздоровался с ней и кивнул на дверь, обшитую чер-

ной кожей и перекрещенную светлым шнуром, словно офицерский мундир ремнями.

— Здесь?

— Сам-то? — почему-то шепотом переспросила секретарша. — Домой пошел. Голова разболелась...

— М-да... От такой работы заболит!..

— Врачи говорят: ум у него переутомился. Он мне сам сказал! Видали, сколько посетителей? Отбою нет! Тут и здоровый сляжет... Вы идите к нему домой, вам он обрадуется.

Кадыров скользнул привычным взглядом по красочным плакатам, развешанным на стенах, зовущим на самые лучшие дела, и вышел из комнаты.

Дом Султанова находился в конце этой же улицы. Он был обнесен новой кирпичной оградой, скрывавшей от посторонних взоров личную жизнь председателя райисполкома. Ограда была такой высокой, что не только с лошади, но и с верблюда нельзя было заглянуть во двор.

Кадыров, спешившись, постоял перед воротами в немом изумлении: эту ограду Султанов воздвиг недавно, Кадыров ее еще не видел. Справа от ворот белой мишенью блестела кнопка звонка. Кадыров осторожно нажал ее: раз, другой. Отворила ему молодая жена Султанова и тут же исчезла, стыдливо прикрыв лицо краем платка...

До прихода Кадырова Султанов, видно, возился с цветами, посаженными вокруг новой беседки. Он любил цветы и ревниво отбирал для своего сада самые редкостные, привозные. Облаченный в шелковую пижаму, радужной, полосатой расцветки, переливавшуюся в лучах солнца, как павлинье перо, он, прищурившись, смотрел на гостя, а узнав его, помахал алой розой, которую держал в руке, и весело крикнул:

— Салам алейкум, председатель! Рад тебя видеть! Коня привяжи воц там, во-он к тому дереву... Э, да ты опять с гостинцем!.. Эй, жена! Возьми-ка у Кадырова пашего барашка, дай бог всем овцам быть такими плодовитыми! Сюда его, мошенника, тащите, сюда, в подвал! Тут прохладно, как в раю!

Переутомление выражалось у Султанова своеобразно: он был оживлен, весел, магниевые вспышки его улыбок спорили с лучистым сверканием солнца, шутливые команды сменялись шутливыми изречениями... Кадыров, подойдя к нему, почтительно поздоровался, пожав руку Султа-

нова обеими руками, и, заражаясь его пастроением, пошутил:

— Ты думаешь, в раю прохладно, товарищ Султанов?

— Когда на улице жара, я говорю: прохладно, как в раю. Когда на улице холод, рай мне представляется огромным сандалом! А когда меня потчуют жестким шашлыком, я в мечтах вхожу в рай, как в шашлычную, где шашлык сочный и мягкий, как уста красавицы... Рай, председатель, — это то, чего недостает нам на данном отрезке времени. — Султанов засмеялся и хлопнул Кадырова по плечу. — Но мы, люди, сами творим рай на земле. Так ведь, дорогой председатель?

От дома, от двора, от слов, от самой фигуры Султанова веяло прочным благополучием, радостным жизнелюбием. На истерзанную душу Кадырова снизошел теплый покой... Он обвел восхищенно-завистливым взглядом новые постройки, новые цветники в султановском дворе, и хозяин, проследив за его взглядом, самодовольно улыбнулся.

— Видал, раис? Рай на земле!.. Нет, ты посмотри на эту беседку — это же восьмое чудо света!

Беседка радовала глаз: голубая масляная краска еще не успела потрескаться, цветы расстилялись вокруг ярким ковром с искусными узорами. Невысокая решетка, оплетавшая беседку, была украшена тончайшей резьбой; веселые тона и оттенки чередовались на ней с причудливым разнообразием. Под потолком, расписанным пестрым орнаментом, висела, угрожая жизни гостей и хозяина, массивная хрустальная люстра. Такую же люстру Султанов видел однажды в квартире одного из городских руководителей... И хотя в люстре, красовавшейся в султановской беседке, светилась по вечерам всего лишь одна лампочка, хозяин это не смущало. Все во дворе Султанова свидетельствовало о широкой натуре, и если бы вещи умели говорить, они, выдавая тайные мысли хозяина, воскликнули бы хором: «Знай наших!»

Впрочем, Султанов умел совмещать роскошь с удобствами. Основанием беседки служил бетонный подвал, стены которого наполовину покоились в земле. В подвале можно было хранить любые продукты: даже в зной там царил спасительный холод. Неподалеку от беседки, на пути быстрого прозрачного арыка, зеркально сверкал небольшой водоем — хауз, тоже бетопированный. Вода в нем всегда была ледяная; виноград и напитки, опущенные в эту воду,

становились холодными и в жару для жаждущих желудков были во сто крат благодатней...

Беседка являлась предметом хозяйской гордости. Султанов ораторствовал, не отрывая от нее удовлетворенно поблескивавшего взора.

— Славно ведь? А, раис?.. Ты-то это понимаешь, ты знаешь толк в жизни! А в райкоме мне в нос тычут моим домом: негоже, мол, тебе жить так широко, что люди скажут! А какие люди? Сплетники, завистники... От их языков все равно никуда не денешься: скромно ли ты живешь или нормально, по-человечески. Зачем нам прибедняться, раис? Мы боремся и трудимся не затем, чтобы нам жилось плохо. Мой отец в двадцатые годы гнал отсюда богачей в три шен. Неужели же я позволю им смеяться над собой? Отец, мол, отдал жизнь за прекрасное будущее, а сын, хозяин района, живет бедней последнего батрака?.. Нет! Пусть все видят, что мне, сыну простого дехканина, дала Советская власть! — Султанов горделиво оглядел свои владения и, повернувшись к Кадырову, доверительно сообщил: — Меня — слышишь, раис? — меня однажды феодалом назвали. Так и брякнули: у тебя, мол, товарищ Султанов, феодально-байские замашки!.. Ха!.. Да ведь при коммунизме все будут жить так, как я. Разве это значит, что все превратятся в феодалов? К тому же во всем, что ты здесь видишь, есть и мой пот и моя трудовая копейка! Думаешь, эту беседку мне колхозники отгрохали? Я сам, сам помогал им — видишь мозоли на ладонях? А если я и попросил пособить мне, так что в этом зазорного? Разве сам я мало для других стараюсь? Вон каким районом руковожу! Это, брат, немалая нагрузка... — Султанов на минуту задумался, а потом, спохватившись, быстро проговорил: — Да что я тебе голову разговорами морочу! Как говорится, больше дела — меньше слов. Пойдем в беседку, раис. Посидим, отдохнем...

Они поднялись по деревянной лестнице в беседку. Султанов, не дожидаясь, пока сядет Кадыров, с наслаждением растянулся на полу, на роскошном одеяле из маргиланского шелка, и, опершись локтем о мягкую пуховую подушку, пригласил гостя на такое же одеяло.

— Устраивайся поудобней, раис. Будь как дома!

В беседке все располагало к дружеской, откровенной беседе. Усадив гостя, Султанов снова заговорил так, будто спорил — то ли с невидимым противником, то ли с собст-

венной совестью. «Нагорело ему, видно, в райкоме,— подумал Кадыров,— вот он и оправдывается». Но слушал он Султанова по-прежнему с почтительным вниманием, не перебивая, лишь изредка понимающе и сочувственно кивая своей круглой головой.

— Да,— продолжал хозяин,— не все еще живут так, как я или, скажем, товарищ Абдуллаев...

— Наш секретарь обкома?

— Он самый. Ты бывал когда-нибудь у него на квартире? Нет? Э, дорогой, много потерял! Хоромы, а не квартира! Так вот, говорю, не все еще так живут. К сожалению, не все!.. Но нас-то, руководителей, само положение обязывает вести, так сказать, представительный образ жизни. На нас весь народ смотрит!.. Да и гостей в районе бывает немало, и из области, и из центра, и даже из-за рубежа! А у кого они останавливаются? У председателя райисполкома! Потому что дом у меня — лучший в районе. Да что там в районе: в области! Джурабаев вон и тот, если пожалует к нам высокий гость, ко мне его посылает: рад бы сам принять, да негде. И представь себе, Кадыров, что подумает такой гость, если председатель райисполкома примет его в тесном, старом домишке? «Э,— скажет,— видно, и район-то у него из захудалых! Какая уж там работа о народе, если он о себе не сумел позаботиться!»

Нет, председатель, авторитет руководителя должен опираться на крепкий фундамент! Ты пойми: народ доверил нам высокие посты, поставил над собой хозяевами... Случайно это? Нет, не случайно. нас выделили из общей массы, потому что — я тебе прямо скажу — есть люди, которым самой судьбой предназначено быть хлопкоробами, инженерами, писателями, а есть люди, словно рожденные для руководящей работы,— вот как мы с тобой... Ты себя можешь представить ну хотя бы инженером? Или агрономом? Нет? Вот и я тоже. Мы — руководящие работники, и нас немного, потому что руководить-то не каждый годится. Ты только вслушайся, дорогой, как звучит это слово.— Султанов поднял палец и в каком-то упоении произнес: — Ру-ко-во-ди-тель! Подумай-ка о нашем месте в жизни!.. Есть масса, так сказать, рядовые труженики. Есть вожак, застрельщики: их выдвигает масса, и они ведут ее за собой... Но есть — руководители. Номенклатура. Вожак впереди массы, а руководители — над ней. Это как на войне: командиры подразделений увлекают солдат в

атаку, а войсковое начальство наблюдает за боем с холма или следит за ним по карте. Оно все должно видеть, все должно охватить пронизательным взором! Потому что ответственности на нем больше! Сказать по секрету, я иногда завидую простым людям... Отработал свое — и свободен. Делай что хочешь, думай о чем хочешь. А у меня рабочее время не нормировано. Ответственность с себя ни на минуту нельзя свалить: кончился, мол, рабочий день — кончилась и ответственность. Не-ет, дорогой!.. Порой почками не слышь, все ломаешь голову: как бы не опозорить свой район, как бы свести концы с концами, половчей отчитаться перед областью? Или готовишься к ответственному выступлению, сел за тезисы, а дело не ладится! Значит, опять тебе не до сна... Вот и выходит, что ты на своем посту бодрствуешь и днем и ночью. Так имею я право в свободную минуту отдохнуть? Ведь мне отдых нужен для дела. Мне такая жизнь по должности положена! Золотое кольцо должен украшать рубин, так ведь, дорогой раис? Иначе не стоит и стараться.

Вкрадчивая речь Султанова навевала дремоту. Кадыров уже слушал хозяина вполуха, а сам исподволь рассматривал богатое убранство беседки, переводя лениво-рассеянный взгляд с хорезмских ковров на люстру, с люстры на зеркало, примостившееся в одном из углов беседки, с зеркала на высокую этажерку, уставленную книгами подозрительно девственной свежести. Можно было догадаться, что избрали они своим местопребыванием такое не подходящее для них помещение, как беседка, для того только, чтобы авторитетно свидетельствовать о высоких культурных запросах хозяина.

Когда Кадыров заметил приближавшуюся к беседке молодую хозяйку, он еле сдержал вздох облегчения: в разглагольствованиях Султанова Кадыров не совсем разобрался, он предпочитал пищу более осязаемую. Заметив жену с блюдом, Султанов прервал свою речь и, потирая руки, воскликнул:

— Готовься, раис, сейчас к нам пожалует уважаемый товарищ плов!..

Хозяйка поставила перед ними блюдо с пловом, принесла мелко нарезанную сладкую редьку, фаянсовую чашку с сюзьмой, кислым молоком, — все одобренное перцем, солью и душистым райхоном. Двигалась она быстро, бесшумно. Казалось, миски, чашки, тарелки возникают на

ковре сами по себе, без ее содействия. Подав угощение, она так же бесшумно скрылась, словно ее и не было...

Гость и хозяин принялись молча, сосредоточенно поглотить плов.

Ел Султанов со вкусом. Он все делал со вкусом: ел, пил, отдыхал, произносил речи, запекал по телефону и на совещаниях проштрафившихся работников, давал указания, составлял отчеты и сводки, прогуливался по саду, сажал цветы, принимал гостей, охотился. Даже если он спорил, оправдывался или каялся, он и тогда испытывал удовольствие: со вкусом выговаривал каждое слово, любясь собой, радуясь своему умению лепить, как пельмени, гладкие, вкусные, с острой начинкой, фразы...

Султанов любил жизнь. Вернее — себя в жизни. Ради этой нежной и самоотверженной любви он отказался от обывательского покоя, решил взвалить на себя тяжкий груз партийности и ответственности. Но и работая, он ни на минуту не забывал о себе, усердно стараясь разрешить в свою пользу острый конфликт между собой и работой. На этот счет у него тоже была своя — практическая — философия, которая при некотором упрощении сводилась к следующему: чтобы удержаться в должности, надо создавать видимость дела. Он, конечно, не исповедовал свою «теорию» открыто. Этот доверительно откровенный монолог, который он только что произнес перед Кадыровым, был для Султанова как бы разрядкой — ему надо было выплеснуть перед надежным человеком хоть часть того, что переполняло его. Своей «теорией» жизни Султанов следовал иногда даже бессознательно, побуждаемый любовью к своей особе, подчиняясь инстинкту самосохранения.

«Где бы ты ни работал, прежде всего заручись — по выбору — поддержкой лиц подчиненных и особенно лиц вышестоящих» — такова была его первая заповедь. Дилемму — быть хорошим работником или только считаться таковым — Султанов без раздумий решил в пользу последнего, ибо быть — несравненно трудней, чем считаться... Какой для тебя толк, если ты стараешься, а твоих стараний не замечают, если ты честный, а тебе не все верят, если ты настоящий коммунист, а прозябаешь на пизовой работе? За уважение, за доверие можно, конечно, бороться, все это можно завоевать, но можно и приобрести. Верный путь к этому — отчет, доклад, совещание. Все это весомо, заметно и дается Султанову легко, а результат поразит-

тельный: он все время у всех на виду, все видят его работу! Ну съездил бы он в колхозы... Со сколькими колхозниками можно поговорить за день? С десятью — пятнадцатью? А на совещании его слушают сразу десятки, сотни людей, и все ему аплодируют, и каждое его слово стенографируется! Вот это — вещественное, наглядное, зафиксированное доказательство неутомимой его деятельности на благо района!

Джурабаев порой поучает его: «Вникайте в каждую мелочь, будьте внимательны к каждому посетителю». По кто будет знать об этой его внимательности, кроме самого посетителя? И может ли он, при своей должности, тратить время на мелочи? В обкоме, в облсовете видят султановские сводки, отчеты, протоколы, а не приемную Султанова, где он ублажал бы жалобщиков. Джурабаев — тот «вникает в мелочи», а вот отчетность у него бывает порой запущена, он часто ввязывается в безрассудный спор с обкомовскими работниками, и Абдуллаев недовольно морщится, когда речь заходит о Джурабаеве. Вот у кого можно поучиться ведению дел — у товарища Абдуллаева! Когда однажды срочно понадобилось представить отчет о ходе уборки хлопка, Абдуллаев сел в самолет и с воздуха оглядел все поля области, за какой-нибудь час охватил своим вниманием весь фронт работ. Вот это размах! Первый секретарь подивился оперативности своего соратника, но, кажется, так ни о чем и не догадался... А Султанов знает об этом. Они с Абдуллаевым давно нашли общий язык. Это Абдуллаев предложил и отстоял кандидатуру Султанова в председатели райисполкома.

Конечно, о работе председателя райисполкома судят не только по отчетам и докладам, а в первую голову по конкретному положению в районе. Но дела у него в районе идут в общем неплохо: стараются же колхозники! Да и райком не дремлет. До сих пор в смысле хозяйственного руководства районом райком многое брал на себя, и это вполне устраивало Султанова. Ему очень не нравились разговоры о расширении прав местных Советов. Он и так проявлял немало инициативы, когда приходилось в сводках сглаживать острые углы. Расширение прав грозило повышенным ответственности, а об ответственности все-таки приятней было рассуждать, чем нести ее. Этак и должность председателя райисполкома могла потерять свою привлекательность.

Но пока она была Султанову по душе, и, оберегая ее от посягательств со стороны, он сумел добиться того, что и в районе и в области о нем говорили как о заправском ораторе (а это ведь ценится в руководителях), как о человеке крайне загруженном. Если не все могли воочию убедиться, сколь он загружен, то, во всяком случае, все знали об этом. Абдуллаев к тому же всегда подчеркивал, что Султанов очень исполнительный работник...

Султанов и не заметил, как блюдо с пловом опустело до дна, до выведенной на дне фамилии хозяина. Весело взглянув на тяжело отдувавшегося Кадырова, он предložил:

— Повторим, раис? Плов-то — пальчики оближешь.

Кадыров устало отвалился на подушки, подставил побагровевшее лицо легкому ветерку, насквозь продувавшему беседку...

— Погоди, товарищ Султанов... Дай отдышаться.

— А мы не спеша, полегоньку...

— Погоди. Я ведь не обедать приехал. У меня к тебе разговор.

— Вот за пловом и потолкуем... Или... Нет, давай уж сначала с делами покончим. Выкладывай, что там у тебя?

— Недовольны у нас в колхозе председателем сельсовета.

— Умурзаковой? — Султанов усмехнулся и стукнул себя кулаком по шее. — Вот где она у меня сидит, ваша Умурзакова!.. Ну-ну?

— Много она о себе возомнила, вот что, — мрачно продолжал Кадыров. — Распоряжается в колхозе, как дома... И не видит ничего, кроме своей целины.

— Упрямый фанатизм, — определил Султанов.

— Вот-вот! Только и слышишь от нее: целина да целина! А эта целина уже все соки из колхоза высосала! Мы так плап можем сорвать!

— Вот как?

— И сорвем! Буря нас так приласкала, что до сих пор не можем опомниться. Тут уж не до целины!..

— Верно, раис. Надо было весь народ мобилизовать на борьбу с последствиями бури.

— Я и мобилизовал. Да мне же за это влетело.

— От Умурзаковой?

— От нее и от Джурабаева.

— Так... Ну-ну?

— Чтобы спасти хлопок, я снял людей со строительства поселка, отозвал с целины. В общем, принял решительные меры. Умурзакова накиннулась на меня, как коршун! Ты, говорит, не веришь в народ. У народа, мол, хватит сил и целинну поднять, и хлопок выходить!..

— Демагогия.

— Ясно, демагогия! Только мне-то от этого не легче. Умурзакова добилась-таки того, что все осталось по-старому: на полях людей не хватает, а мы развлекаемся тем, что поселок строим.

Султанов слушал Кадырова, а сам подыскивал формулировку, под которую можно было бы подвести действия Умурзаковой. Формулировки успокаивали Султанова, он верил в их силу и знал, что иная формулировка эффективней длинной цепи доказательств и обоснований: навесишь на человека ярлык, и уже не тебе, а ему приходится что-то доказывать.

— Так, так... А знаешь, раис, как это называется? Самоуправством! Умурзакова возомнила себя таким маленьким диктатором: что ей взбредет в голову, то и хорошо! А с остальными можно не считаться. Вспомни-ка, как началась эта затея с целиной. Умурзакова даже со мной не посчиталась, хотя подчинена непосредственно именно мне. Как я советовал ей еще раз все обдумать, не спешить, а она помчалась со своим планом к Джурабаеву! Решила через голову действовать! А что получилось? Райком принял постановление — хоть я и предупреждал на бюро, что авантюристические прожекты Умурзаковой идут вразрез с указаниями партии, — а выполнять его поручил нам, райисполкомовцам, председателям колхозов! Это тоже штучки Умурзаковой! Она больше всех шумит; послушать ее — так получается, что у местных Советов мало своих хлопот, подбавьте, мол, еще. Вот райком и поделил с нами эту обузу... М-да... Так, говоришь, сумела она настоять на своем? — Султанов потянулся, раскинув руки, зевнул сладко и бросил с намешливым небрежением: — Растяпы вы все, раис... Растяпы! С бабой сладить не можете.

— Так ведь она всем головы задуррила! Народ тоже словно взбесился: вынь да положь ему целину!

— Ну, народ у нас такой, ему только дай пошуметь. Народ любит сказки. В сказках-то все богатыри!.. Ты лучше вот что скажи: неужели нет у тебя в колхозе трезвых, рассудительных людей?

Кадыров посмотрел на Султанова с удивлением: тот словно догадался, с чем пожаловал к нему неурочный гость. Мысли у них, выходит, сродни друг другу... А раз так, то стесняться нечего. И Кадыров решительно отрубил:

— Эти люди и послали меня к тебе, товарищ Султанов. Допекли нас наши «активисты», лопнуло наше терпение! Не знаешь, что делать — то ли колхоз поднимать, то ли с Умурзаковой сражаться. Эти споры только от работы отвлекают. Вот мы и решили...

— Кто это «мы»?

— Не бойся, товарищ Султанов, люди все достойные. Они и посоветовали пропечатать про все махинации Умурзаковой в районной газете. А потом, может, в областной. Я вот письмо привез... Заметку, так сказать...

Кадыров расстегнул карман гимнастерки, достал аккуратно сложенный лист бумаги, протянул Султанову.

— Ого! — оживился Султанов. — Вы уж, оказывается, обо всем позаботились! Кто писал?

— Писали-то все... А подписались Назакатхон, наш правленческий работник, и Молла-Сулейман, бригадир. Его участок как раз больше всех пострадал от бури. Пропал там хлопок!

— Пропал, говоришь? Вот и отлич... — Но тут Султанов осекся и принял печальный, сожалеющий вид. — Жаль, очень жаль. За это кое-кому здорово может нагореть.

— Еще бы!..

— Так, — сказал Султанов. — Значит, один из авторов этого письма работает в колхозном правлении, другой — пострадавший бригадир. Что ж, это неплохо. Они-то в курсе всех дел, им должны верить!

И Кадыров опять удивился: на этот раз тому, как точно совпали соображения Султанова и Аликула.

А Султанов продолжал размышлять вслух:

— Отец Назакатхон тоже показал себя с самой лучшей стороны. Прекрасный работник! Гм... А знаешь, раис, неплохая идея. Клянусь аллахом, неплохая! Жаль даже, что не мне пришла в голову. Как же это мы про прессу забыли? Вот теперь мы эту вапу Умурзакову за ушко да на солнышко! Обожди, я сейчас...

Султанов, живо поднявшись, шагнул к телефону, который укреплен был на одном из столбов, подпиравших крышу беседки.

— Мне редакцию. Вы что, оглохли? С редакцией меня соедините. Это Султанов говорит. Вот то-то... Редакция? Позовите-ка Юсуфия... Салам алейкум, дорогой! Ну да, а то кто же? Ха-ха... Слушай-ка, ты ко мне можешь ненадолго забежать? Вот и ладно. Что? Да так, темка есть интересная!.. Ха-ха!.. Подарю, если будешь себя хорошо вести! И скорепько-скорепько, а то у нас плов стынет.

Когда Султанов вернулся на место, Кадыров, кивнув на письмо, белевшее на подушке, папомнил:

— Ты бы прочел, что мы там нацарапали...

— Сейчас, сейчас, председатель, всему свое время.

Султанов не спеша водрузил на нос очки в светлой роговой оправе, поднес к самым глазам письмо, привезенное Кадыровым, и углубился в чтение. Читал он тоже со вкусом, смакуя каждую строчку, подчеркнута выражая свое отношение и к тем местам, которые ему нравились, и к тем, которые вызывали сомнение. То он недовольно сдвигал черные, как уголь, брови, то заливался одобрительным, победным смешком, то восклицал, восхищенно причмокивая: «Ай, молодцы! Круто завернули!» Дочитав письмо, он с минуту размышлял о чем-то, зло прищурил глаза, а потом пригрозил, ни к кому не обращаясь:

— Ну, погоди... Это тебе так не пройдет! — Но тут же встрепенулся, сверкнул улыбкой и весело посетовал: — Что-то не торопится этот титан газетной мысли! А сказал: одна нога здесь — другая там. Ноги-то у него — знаешь, раис? — словно ходули!

Юсуфий, однако, явился вовремя — как раз к той минуте, когда блюдо снова наполнилось пловом.

Газетчик казался каким-то червеобразным... Он был длинный, тонкий, как червь, скучный и серый. Глаза его ничего не выражали, да к тому же их надежно прикрывали толстые стекла очков. Лицо у Юсуфия узкое, очки огромные, и потому через стекла видны не столько глаза, сколько приплюснутые к черепу уши. Тонкие, бескровные губы, казалось, не знали, что такое улыбка. Волосы, щетинившиеся ровным ежиком, были какого-то серого, пыльного цвета... Старенький серый пиджак болтался на Юсуфии, как на вешалке; просторные брезентовые сапоги были слишком свободными для его длинных, тощих ног, казалось, что нога в сапоге толкалась, как бревно в маслобойке. Трудно угадать возраст Юсуфия, по еще труднее — его

склонности и совсем невозможно — чувства и мысли. Эта бесцветность, невыразительность, неопределенность его облика пугали собеседника.

Держался Юсуфий при высоком начальстве не совсем независимо, но и без угодничества. Обменявшись вялым рукопожатием сначала с Султановым, а потом с Кадыровым, он уселся на одеяле так ловко, что нескладные его ноги никому не мешали. Отпустив дежурную шутку о теще, у которой он, видно, любимый зятек, Юсуфий бесцеремонно накинулся на плов. Ел он жадно и много, по подбородку стекал жир, но он не вытирал его, и жир капал на засаленные пиджачные лацканы.

Султанов хотя и чувствовал над ним свою власть, однако, желая задобрить газетчика, разговор начал с шуточных похвал, адресованных «титану газетной мысли».

— Ты не смотри, раис, на его скромность!.. Он недаром подписывает свои фельетоны грозным псевдонимом: Уткыр. На кончике его пера — яд! — И он добавил с усмешкой: — А?.. Ведь наповал убиваешь? Верно? Я и сам, грешным делом, его побаиваюсь... Ха-ха...

По тонким губам газетчика скользнула тень усмешки. Откровенно говоря, он был очень польщен тем, что Султанов принял его как почетного гостя, но не выдал своей радости.

Беседа постепенно оживлялась. Султанов сообщил гостям, что им получен долгосрочный прогноз, обещающий наступление погожих дней, просмаковал несколько пикантных историй из частной жизни ответственных товарищей, которые покровительствовали ему на том или ином этапе его плодотворной деятельности. Кадыров с подъемом поведал, как под его неусыпным руководством боролись колхозники с недавней бурей. Даже Юсуфий рассказал о нескольких читательских письмах, из которых он, Юсуфий, сделал «конфетку».

Анекдоты смеялись забавными историями, хвастливые рассказы — взаимными восхвалениями....

И только об одном не говорили собеседники: о письме, из-за которого приехал Кадыров и был вызван Юсуфий. Газетчик ни о чем не спрашивал Султанова. Он понимал: зря Султанов не вызвал бы его. Раз пригласил, значит, поручение серьезное, значит, надо это поручение выполнить. Такой обед стоил того, чтобы потрудиться во славу хозяина. Кадыров тоже помалкивал, целиком поло-

жившись на Султанова; он чувствовал себя перед Султановым кроткой, неопытной овечкой. У хозяина с гостями установилось молчаливое взаимопонимание...

В конце пиришества Султанов, будто вспомнив о чем-то незначительном, небрежным жестом передал Юсуфию кадировское письмо.

— Вот, дорогой, ознакомься.

Юсуфий «по диагонали» пробежал глазами письмо, взглянул на подписи, хмыкнул неопределенно:

— Хм... Две подписи?..

— Что-нибудь не так? — с беспокойством спросил Кадыров.

— Да нет... Письмо звучит убедительно. Но две подписи... Маловато! Хм... А что, если я состряпаю из этого статейку?

— Делай как лучше, дорогой, — лениво отозвался Султанов. — Поезжай в колхоз. Поговори с людьми. Там есть товарищи, заслуживающие доверия. Аликул, например, председатель совета урожайности. Еще... м-м...

— Можно с Муратали побеседовать, — подсказал Кадыров.

— Да, поговори с Муратали. А кто это?

— Один из лучших наших бригадиров. Крепко обижен на Умурзакову. Не хочет перебираться в новый поселок.

— Что ж, подходяще... — протянул Султанов. И, обращаясь к Юсуфию, нетерпеливо воскликнул: — В общем, не зачем тебя учить! Ученого учить — только портить. Сам во всем разберешься. Кадыров тебе поможет. А покончим с этим делом — съездим все вместе на охоту. Много в степи джейранов, раис?

— Еще ни один охотник не возвратился без добычи! Джейраны сами под выстрел лезут.

— Вот и отлично! Поохотимся... А пока, друзья, предлагаю сослуть часок-другой... Мне ведь вечером работать...

Предложение было принято единогласно.

Вечером, провожая Кадырова, Султанов положил ему на плечо руку и хвастливо сказал:

— Видишь, как все устраивается? Пока я жив, можешь ни о чем не беспокоиться. Все будет в порядке!

У Кадырова опять заскребли на душе кошки. Он вздохнул.

— Ладное ли мы задумали?

— Э, дружок, ты что же, сам заварил кашу и в кусты? Не-ет, так не пойдет... Отступить поздно. И запомни, дорогой: в белых перчатках не воюют...

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ
МИХРИ И КЕРИМ

В один из летних воскресных вечеров в Алтынсае должен был состояться концерт с участием артистов из Ташкента.

Молодежь Алтынсае потеряла покой: шутка ли, артисты из самой столицы! Многих алтынсайцы слышали по радио, но видеть их у себя в колхозе им еще не доводилось. Хотя написанные от руки афиши оповещали о дне концерта, но парням и девушкам, видно, не терпелось, и, улучив свободную минутку, они спешили к Алимджану, Кериму или Айкиз с одним и тем же вопросом: не прибыли ли артисты? Айкиз терпеливо объясняла, что до концерта осталось столько-то дней и об этом четко объявлено в афишах. Когда к ней в сельсовет заглянул Алимджан, она устало пожаловалась:

— Видишь, парторг, концерт для наших дехкан — целое событие!.. Не слишком-то, видно, мы их балуем.

— Разве мы виноваты? Так уж повелось: прославленные артисты выступают в колхозах поименитей!.. — Алимджан усмехнулся. — Будто дехканам, чьи колхозы еще не отличились, песня и танец не так дороги, как передовикам. Смешно... Искусство мы порой превращаем в премию за трудовые успехи. А ведь это как хлеб, в этом все нуждаются!

Айкиз положила руку на плечо мужа.

— Верно, верно, милый... Песня, танец, пьеса — это такая радость для людей!! Вот отец... Он в эти дни места себе не находит: все ждет артистов. — Она задумалась. — А ты не заметил, он за последнее время похудел, осунулся...

— Работы много, Айкиз. Сейчас у всех много работы.

Айкиз помолчала, потом как-то неуверенно и грустно, то ли упрекая, то ли спрашивая, промолвила:

— Наверно, из-за этого мы с тобой так редко бываем вместе...

Алимджан чуть нахмурился.

— Не пам жаловаться, Айкыз. Мы по доброй воле при-
пяли на себя заботу о многих людях и не должны сетовать,
что все время, до последней минуты, заполнено у нас ра-
ботой.

— Может, ты и прав... — тихо отозвалась Айкыз.

В день концерта кишлак припарядился. На централь-
ной площади, перед памятником Ленину, вырос дощатый
помост; решено было провести концерт под открытым не-
бом. Комсомольцы всю площадь заставили скамейками,
вытащенными из клуба. Дул легкий горный ветерок, тре-
петала листва тополей, обступивших площадь, и каза-
лось, кроны деревьев подернулись рябью...

Колхозники трудились в этот день особенно споро —
хотелось пораньше управиться. Девушки перекликались
звонкими голосами, парни подгоняли друг друга хлестки-
ми шутками...

Лишь Михри была печальна и озабочена, а с прибли-
жением вечера ее беспокойство возросло. Тоскливо по-
сматривала она на свои запыленные поношенные сапожки,
на простенькое старое платье, вылинявшее на солнце. Ей
бы сейчас домой, в Катартал: умыться, заплести волосы
в мелкие косички, надеть синее в белый горошек платье,
которое так правится Кериму. Но до Катартала далеко, и
нет крыльев, чтобы долететь туда, и нет машины, чтобы
доехать. Был бы поблизости Погодни — она уговорила бы
его отвезти ее домой на мотоцикле. Но Погодни на целине
и катает теперь на своем «воропом», как он ласково на-
зывает мотоцикл, только Лолу. А Керим мотоциклом не
обзавелся, да с Керимом отец ее и не отпустил бы.

Михри взглянула искоса на отца, сдвинула брови. Бро-
ви у нее широкие к переносице, узкие у висков. Когда она
хмурится, широкие их концы сливаются в темное пуши-
стое пятнышко. Сегодня это пятнышко на переносице по-
являлось особенно часто...

Муратали, как нарочно, не спешил с поля. На соседних
участках уже не осталось ни души, своих колхозников
Муратали тоже отправил по домам приодеться. В поле
остались только он да Михри. Идти сейчас в Катартал
было поздно. Муратали видел, что дочь недовольна, и по-
пымал ее: неудобно девушке явиться на такой вечер в буд-
ничном наряде. Но старику трудно было признать правоту
дочери, и он упрямо доказывал себе: ничего, рабочая одеж-
да — почетная одежда, и на вечере будут все свои люди,

такие же труженики, как он и Михри. Все знают, как далеко им до дома. В горячую пору им и ночевать-то приходится в Алтынсае, на полевом стане или у родных. Так было в бурю, так было в первые дни после бури. Муратали за это время не успевал даже поливать свое урюковое дерево, а стоял зной, дерево могло зачахнуть. Надо завтра полить его... Завтра?.. Выходит, после концерта ему и Михри опять предстоит долгая ночная прогулка? Ничего, ноги у них крепкие, а короткий сон — самый сладкий.

Муратали взглянул на солнце, стоявшее над самыми горами. В кишлаке делать еще нечего. Михри, чтобы не терять времени даром, рыхлила землю, окучивала хлопок. Сам же он решил, прежде чем отправиться в Алтышсай, проверить, надежно ли закрыты выходы из главного арыка.

Он выпрямился и позвал дочь:

— Михри!

Михри сделала вид, что не слышит.

— Михри! Дочка!..

Михри, не подняв головы, быстрее, усердней заработала кетменем.

Муратали укоризненно покачал головой. Ай, дочка!.. Даже разговаривать не желает. В кого она уродилась такой упрямой?

Он вздохнул и направился к арыку, а потом вдоль арыка к главному каналу. Вскоре он скрылся за невысоким холмом...

Михри продолжала окучивать хлопок. Но теперь она взмахивала кетменем все реже и реже. После каждого взмаха с тоскливым нетерпением поглядывала то на дорогу, то в сторону участка, где еще недавно работал со своей бригадой Керим. Сейчас Керим, наверно, уже в кишлаке... Если бы не отец, он бы непременно зашел за Михри. Но отец, когда видит Керима, оцетнивается, словно еж. И отчего он так не любит Керима? Не считает ли, что это Керим уговорил ее переселиться на целину? Но это неправда! Ей самой надоело жить вдали от кишлака. Сколько у нее из-за этого лишних хлопот и огорчений! Вот и сегодня... Но лучше уж не думать об этом! Или, может быть, отцу не по душе, что они с Керимом не скрывают своей любви? В старину судьба девушки не зависела от нее самой. Все делалось по слову старших: на кого они укажут, тот и жених. Вольную любовь воспевали только

поэты, а простые люди, отравленные ядом темных обычаев, зорко оберегали своих детей от греховных помыслов. И любовь по кишлакам цвела, словно дикий цветок: и зной ее палил, и секли колючие ветры, и сухой снежок обжигал трепетно-пежные лепестки. Встречались любящие тайком, расставались не по своей воле... Сейчас иная жизнь, но старым людям трудно отречься от старых обычаев. Вот и Муратали: трудится по-новому, а жить хочет по старинке. Он, конечно, не выдаст Михри замуж за любимого, он дорожит счастьем дочери. Но и па любовь она не имеет права, пока отец не освятит эту любовь своим согласием. Выходит, сначала нужно договориться о любви, поставить в известность родителей и только потом любить, да и то скрывая это от всех. У отца, верно, просто не было такой любви, как у нее и Керима. Потому он и осуждает их. Он не понимает, что любовь для них как рассвет, постепенно наливающийся сиянием солнца. А рассвет нельзя подчинить никаким обычаям.

Прознав о ее встречах с Керимом, отец сказал: «Смотри, дочь, осрамишь ты меня на весь кишлак». Но разве любить позорно? Ведь за невест теперь не дают и не берут калыма, парень и девушка за любовь платят друг другу любовью. Придет время, Михри и Керим сами лягутся к Муратали, попросят его благословить их на долгую дружную жизнь. Но, может быть, как раз этого-то отец и боится? Боится, что Михри уйдет к Кериму, а он останется один? Он любит Михри. Как говорится в пословице, она для него и белок и зрачок. Кроме дочери, у старого Муратали никого нет.

Михри перестала рыхлить землю, устремила вдаль задумчивый, рассеянный взгляд. Вздохнула, словно всхлинула. Вдруг ей стало жаль отца... Он добрый, хороший, ему сейчас не легче, чем ей. Старикку суждено расстаться с родным очагом, а тут еще и дочь собирается его покинуть. Но ведь его опасения напрасны. Если даже Михри и выйдет замуж за Керима — а это еще неизвестно, она ему ничего пока не обещала, — замужество не разлучит ее с отцом. Она и Керим возьмут Муратали к себе. Он будет жить вместе с ними в новом поселке. Только согласится ли он на это? Он добрый, хороший, но и упрям за троих! Вот он ушел, и ему дела нет до забот и огорчений Михри! Он старик, ему не стыдно прийти на вечер в старом халате. А каково ей, молодой девушке? Ее подруги наряжаются в

красивые праздничные платья, а она из-за отцовского упрямства будет среди них как куст полыни среди ярких цветов!

Р-раз!.. И Михри, взмахнув кетменем, с яростной силой вонзила его в землю. Р-раз, р-раз! Она чувствовала себя такой несчастной, что только работа могла утепшить ее и успокоить. Р-раз, р-раз!..

А дальше все случилось как в сказке. До Михри донеслось прерывистое тарахтенье мотоцикла. Треск мотора становился громче. Но вот он оборвался, и Михри услышала знакомый голос:

— Михри! Едем!..

Михри бросила на землю кетмень и стремглав кинулась к дороге. В седле мотоцикла, упираясь ногами в землю, важно восседал Керим. Он, видно, тоже не успел переодеться: на нем был обычный светло-желтый костюм из каламянки, ферганская тюбетейка с порыжевшими от времени узорами и выдавшие виды сапоги. За озабоченностью, написанной на его лице, угадывалась неудержимая мальчишеская радость и гордость.

— Садись, Михри! Едем!

— Куда?

— Как куда? В Катаргал! Я, когда уходил с участка, видел, ты еще в поле. А тебе надо принарядиться.

— Спасибо, Керим... А откуда у тебя мотоцикл?

— Я забежал к эмтэсовцам, выпросил у Ивана-ака. Оп сегодня может обойтись и без «вороного». А для нас с тобой, — Керим с шутливой многозначительностью поднял палец, — это вопрос жизни и смерти!

— Ой, спасибо, Керим! Еще раз спасибо!

Керим печально вздохнул.

— Значит, только за спасибо я и старался?

— А тебе мало моей благодарности?

— Я комсомолец и не должен успокаиваться на достигнутом!

Михри, с опаской оглядевшись, наклонилась к Кериму, поцеловала его в щеку и, зардевшись, отпрянула в сторону. Керим тоже покраспел, но он был мужчиной, а мужчине не подобало теряться ни при каких обстоятельствах. И Керим дерзко промолвил:

— Я мчался к тебе, как ветер, Михри! Я заслужил большую награду!

Михри отступила еще на шаг и, смеясь, ответила:



— Ты комсомолец, Керим, и должен знать, что нельзя жить былыми заслугами!

— Михри!..

— Подожди меня, Керим, я захвачу кетмень.

Не успела Михри добежать до грядки, у которой она оставила кетмень, как из-за холма показался Муратали. Михри остановилась в нерешительности, оглянулась на дорогу, снова посмотрела в сторону холма... Если она дождется отца, нечего и думать о поездке в Катаргал. А поедет без его разрешения — не миновать отцовского гнева. Что же делать?..

Муратали помахал дочери рукой. Михри не двигалась. Но вот она рванулась вперед, подняла с земли кетмень и тут же побежала обратно. Раскрасневшаяся, запыхавшаяся, она уселась, не говоря ни слова, на мотоцикл позади Керима и поторопила:

— Едем скорей!..

Керим обернулся, лицо у него было растерянное.

— А как же Муратали-амаки? Он рассердится и на тебя и на меня.

Брови Михри упрямо сошлись в темное пушистое пятнышко.

— Едем, Керим! Отец сам виноват. Он не хочет жить, как все люди!.. Он не хочет понять меня! Едем же, едем, Керим!

Керим приложил ладонь рупором ко рту и крикнул:

— Э-эй, Муратали-амаки!.. Мы в Катартал съездим! Скоро вернемся!..

Ни Керим, ни Михри с дороги не видели, как потемнело лицо Муратали, каким гневным блеском вспыхнул его непронцающий взгляд..

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

ПРЯМАЯ ДУША

Утро следующего дня было ясное, тихое. Природа, словно спеша загладить недавнюю вину, расщедрилась: она подарила людям безоблачное небо, спокойное сияние солнца, освежающий ветерок..

Но Муратали ничто сегодня не радовало — ни ветер, ни солнце. С лица не сходила мрачная тень, он часто задумывался. На Михри он старался не смотреть. Михри тоже не поднимала виноватого взгляда. Весь вчерашний вечер, все сегодняшнее утро отец и дочь не разговаривали. Молча, хотя и рядом, сидели они на концерте; молча шли домой; ни словом не перемолвившись, пришли на работу.

И сейчас молчали.

Муратали шёл к кому не придирался, но все были какими-то подавленными: бригаде, видно, передалось настроение бригадира.

Муратали отличался крутым и упрямым нравом, и дехкапе его побаивались. Побойвались и любили: крутоват он, но справедлив и честен. Он не лебезил перед сильными, не отыгрывался на слабых, у него была открытая, прямая душа, и, если что-нибудь возмущало его, он резал правду в глаза, без оглядки и без опаски. В бригаде он никого не выделял, был со всеми строг, требователен, не давал поблажек лодырям и даже Гафуру, которого считал приятелем, не прощал нерадивости. Но, спрашивая с других, Му-

ратали не падал и себя, трудился не за страх, а за совесть. Искусный хлопкороб, он знал и самозабвенно любил свое дело, и вся бригада любовалась старым умельцем, когда он показывал кому-нибудь, как надо ухаживать за хлопком.

Недолюбливал бригадира только Гафур, но он умел скрывать свои чувства и мысли...

И теперь лицо Гафура, как и лица остальных дехкан, выражало озабоченное сочувствие, а в глубине души он откровенно злорадствовал: «Что, бригадир, не сладко приходится? Поделом тебе, старый придира!»

Муратали обошел все звенья, взыскательно проверил работу хлопкоробов и двинулся к полевому стану: там находился учетчик, с которым надо было поговорить. Старик шел и все спорил, спорил с самим собой... Сердце его вило дочь, а разум — оправдывал. Сердце оправдывало все его решения и поступки, а разум не одобрял.

Не доходя до стана, Муратали остановился, и взгляд его невольно устремился в ту сторону, где рождался новый поселок. Он не хотел смотреть на поселок. Поселок не должен был интересовать старого Муратали. Но лицо его все-таки оказалось обращенным к новому кишлаку.

Муратали мысленно не мог не похвалить строителей. Споро работают! Еще недавно в степи белела одинокая палатка, и Муратали помнит день, когда возле нее появился высокий, кряжистый, как дуб, Уста Хазраткул. Теперь палатки нет. Там, где она когда-то стояла, выстроились новорожденные домики — ровненько, аккуратными рядами, словно пиоперы на своих сборах, куда часто приглашали и Муратали порассказать новому поколению о тягостном прошлом, о войне. Даже отсюда видно, как приглядны эти дома: добротные стены, шиферные крыши, большие окна. В комнатах, должно быть, светло, как на улице, а зимний студеный ветер не отыщет ни щелочки, чтобы пробраться в теплое жилье. И от полов не дует, полы деревянные, их не надо устилать соломой. А домишко в Катартале вот-вот развалится... Летом в нем темно, а зимой холодно, ледяные вьюжные струи проворными змеями ползут в комнату из-под двери, из крохотных окон, из щелей в одряхлевшей крыше. Одно спасение — сандал. Надо бы сладить новый дом... Но он, Муратали, и старый-то домишко не променяет на весь этот степной кишлак! Дочку, понятно, тянет сюда. А Муратали привык к горам, он горный житель, он,

словно вековое дерево, ушел корнями в катартаальскую землю. Для него в Катартале все родное: каждый камень, каждая ветка, каждая трещинка в прокаленной солнцем земле; там все напоминает ему о пережитых горестях и радостях, о близких, которых он потерял... Жизнь в Катартале течет, не меняя своего русла, годы же у него такие, что поздно отказываться от привычного покоя. Муратали кажется: проснется он однажды, не увидит над собой зеленых ветвей урюка, и тогда случится беда... Он вот смотрит на новый кишлак, а перед глазами у него — урюковое дерево, краса и гордость Катартала, дерево, выхоженное самим Муратали, хранящее частичку его души. Михри этого не понять: молода, легкодумна. И Айкиз не понимает старого Муратали. У них свой мир, у него — свой. И уж лучше бы отстали они от него, позволили бы ему дожить стариковский век тихо и беззаботно. Нет, все хотят думать не только за себя, но и за него, будто жизнь не одарила его собственной мудростью. Керим и тот, вместо того чтобы принять его сторону и заслужить этим снисходительность будущего тестя, тоже при случае его агитирует. Это он сбил с толку Михри, это он настраивает ее против родного отца! Вчера вот увез ее в Катартал; стыда у него нет! Молодежь нынче ни с кем не считается. Сами себе хозяева! Что хотят, то и творят. Много воли им дали, ой, много им дали воли...

Но не успел Муратали подсчитать все грехи нынешней молодежи и в особенности Керима, как за плечом его вырос... сам Керим! Старик, занятый своими невеселыми мыслями, и не заметил, как тот подошел.

— Муратали-амаки, я к вам...

Муратали строго взглянул на юношу и ничего не ответил.

— Муратали-амаки, мне надо поговорить с вами.

— Чего тебе? — неприветливо буркнул Муратали.

Керим покраснел, замаялся... Больше всего ему хотелось сейчас или уйти, или провалиться сквозь землю. Но он был мужчина, а мужчине не подобало останавливаться на полпути. Он пришел к старому бригадиру с важным разговором, и следовало перебороть смущение, довести дело до конца.

— Вы не сердитесь на нас за вчерашнее, Муратали-амаки. Михри не успела бы переодеться... Я же кричал вам!

— Ты бросил работу лишь для того, чтобы повиниться перед брюзгливым стариком? Это можно было сделать в другое время. А можно было вовсе не делать... Кувшин уже разбит, поздно теперь каяться!

— Муратали-амаки! Я не только за этим... Я пришел поучиться у вас, посоветоваться... Ведь мы соседи, и оба — бригадиры. Верно, Муратали-амаки?

— Это ты ловко подметил, прощипательный юноша, — без улыбки сказал Муратали.

Но Керим пропустил насмешку мимо ушей и так же сбивчиво продолжал:

— И потом... У нас на участке хлопок уже дал бутопы! Знаете, как мы этого добились, Муратали-амаки? Произвели подкормку одновременно с первой обработкой.

— Та-ак... — протянул Муратали, недобро прищурившись. — Ты, значит, пришел учить меня?

— Что вы, Муратали-амаки! Я просто хотел сказать, что это очень выгодно.

— Вот и держал бы свои секреты при себе! Не суй свой нос куда не следует!

Керим не догадался, что Муратали сказал это только от злости и раздражения, и всерьез принялся растолковывать ему пользу обмена трудовым опытом.

— Как же так, Муратали-амаки!.. Мы должны помогать друг другу. Я расскажу вам о способе, который применила наша бригада, а вы воспользуетесь нашим опытом и обгоните нас. Вы же лучший хлопкороб в колхозе! А глядя на вас, и мне захочется подтянуться. Так мы и будем равняться друг на друга, а колхоз будет богатеть. Трудно плыть без маяка, Муратали-амаки. А ведь сам себе маяком не послужишь.

Муратали слушал Керима молча, а в душе закипала слепая, упрямая ярость. Его раздражали и мальчишеская пылкость Керима, и его мальчишески поучительный тон. Шарень, конечно, дело говорит... Но Муратали не позволит этому желторотому птенцу учить себя! Какой приткий! Завел шашни с дочерью, а старика отца наставляет, как надо жить и работать. Муратали сам как-нибудь во всем разберется! Обходился до сих пор без молокососов-учителей, обойдется и впредь!..

Сдвинув жесткие, как щетина, брови, Муратали, еле сдерживая гнев, резко сказал:

— Послушай, уважаемый комсомольский бригадир, я

старше тебя, я в сто раз больше тебя износил рубах! Когда я впервые взял в руки кетмень, тебя и на свете не было. А теленку, как говорит пословица, дальше хлева не уйти! Не тебе, щенку, учить старого Муратали! Я и прежним способом выращу хлопка больше, чем ты новым. Возвращайся на свой участок, бригадир. Не заставляй бригаду ждать себя.

Неожиданно в разговор вмешалась Михри. Она работала неподалеку и слышала весь спор отца с Керимом. Выпрямившись и повернувшись к Муратали, девушка выкрикнула напряженным, полным слез голосом:

— За что вы с ним так, отец? Что он сделал вам? Он же с добром к вам пришел!..

— Помолчи, дочь! — прикрикнул на нее вконец разъяренный Муратали. — У меня и без того хватает советчиков! Ну, что ты стоишь, бригадир? Я сказал — ты слышал.

Но Керим был не из тех, кто унывает. Прежде чем уйти, он остановил долгий взгляд на Михри, но не в поисках поддержки, а чтобы ободрить ее этим взглядом: «Держись, Михри! Не падай духом! Я отступаю, но не сдаюсь». Так же безмолвно Михри ответила ему легким кивком: «Не волнуйся за меня, Керим. Отец упрям, но неизвестно, кто кого переупрямит. Мое-то слово последует примеру твоей бригады. И все будет так, как мы решим!»

Муратали, даже не попрощавшись с Керимом, зашагал на полевой стап. Тут его нагнал незнакомый человек, длинный и тощий, в больших очках с толстыми стеклами.

— Мне сказали, что ты — бригадир Муратали, — произнес длинный и вопросительно, но без особого любопытства уставился на старого хлопкороба.

— Верно сказали... Я Муратали. А ты сам кто такой?

— Я из газеты. Из нашей, из районной газеты. Ты, верно, не раз встречал мою подпись: Юсуфий. Псевдоним — Уткыр.

Муратали задумчиво пожевал губами. Районную газету он читал редко и не знал по фамилии ни одного корреспондента.

— Псевдоним Уткыр? Чудное у тебя имя, сынок... Нет, я не слышал такого имени.

Юсуфий не счел нужным объяснить старику, что «псевдоним» не имя, он даже не улыбнулся.

— Ты мне нужен на пару слов, бригадир.

— Я на работе, сынок.

— Ничего, работа подождет,— пренебрежительно бросил газетчик.— У меня дело поважнее.

— Тогда пойдем к хаузу, Исидоним,— обреченно вздохнув, предложил Муратали,— там есть скамейка.

Он отвел газетчика к хаузу; такие хаузы, в которых отстаивалась вода, имелись на каждом полевом стане.

Лицо старика по-прежнему оставалось неприветливым, хмурым. Этот длинный, строгий газетчик с причудливым именем и упрятанным под очки взглядом пришелся ему не по душе, но как-никак он был человеком официальным, и Муратали, сев рядом с ним на скамью, приготовился отвечать на его вопросы.

Юсуфий достал блокнот и сказал требовательно и сухо, словно следователь:

— Я должен задать тебе несколько вопросов. У вас, говорят, была недавно песчаная буря. Когда это было? Большой ли она причинила ущерб?

Муратали посмотрел на гостя с некоторым недоумением.

— Буря была, это верно. И бед она наделала немало. Но только это дело прошлое... Хлопок поднялся, урожай мы собираемся снять хороший. Тебя ведь это интересует, сынок?

Карандаш Юсуфия, начавший было скользить по блокноту, с разбегу остановился и повис в воздухе.

— Меня все интересует, бригадир! И прежде всего действия председателя вашего сельсовета Умурзаковой. Ведь это по ее указанию дехкане из полеводческих бригад были переброшены на целину и на строительство поселка?

Муратали насторожился. Что надо от него этому человеку с блокнотом? Почему, упомянув про Айкиз, он так пристально и испытующе взглянул на Муратали?

— Айкиз тут ни при чем, сынок... Не в ее воле давать нам такие указания. Это мы сами решили. Сами колхозники...

— И в результате этого бригады оказались ослабленными? — продолжал газетчик.— Ведь в твоей, например, бригаде теперь наверняка не хватает людей. Так?

Муратали обвел рукой расстилающееся перед ними хлопковое поле.

— Видишь, Исидоним Уткыр? Этот хлопок вырастили люди моей бригады. Загляни через год-другой, и ты уви-

дишь, какой хлопок вырастим мы на целине. Пиши, Псидоним Уткыр. Пиши. Я расскажу тебе о наших дехканах. О каждом из них можно написать целую книгу.

Карадаш Юсуфия оставался неподвижным...

— Может, ты хочешь, бригадир, чтобы я написал хвалебный очерк и об Умурзаковой?

— От Айкиз мы видели много добра. Ведь это она взяла нас за плечи и повернула лицом к петропугутому, бесценному кладу...

— И к повому поселку, который она строит вашими же руками, чтобы силой переселить туда жителей горных кишлаков? Скоро тебе придется справлять новоселье, бригадир!

У Муратали побелели губы.

— Поги моей не будет в этом поселке! Никто не заставит меня покинуть землю предков. Разве есть у Умурзаковой такие права, Псидоним Уткыр?

— Кто ее знает... Я слышал, Умурзакова склонна к администрированию. И напрасно ты ее защищаешь. Совершенно напрасно. Умурзакова мягко стелет, да жестко сплетает... Ты, наверно, знаешь, что на участке Молла-Сулеймана хлопок уже не спасти?

— На месте нашего председателя я бы давно прогнал этого лодыря из бригадиров. Айкиз не раз ему советовала!.. Но губам Юсуфия скользнула сострадательная усмешка.

— С тобой не договоришься, бригадир... То ты бранишь Умурзакову, то хвалишь... Или ты еще не научился разбираться, кто твой друг и кто враг?

Муратали некоторое время молчал, потом поднялся и поглядел прямо в лицо газетчику. Даже стоя, он был только чуть выше сидящего Юсуфия.

— Жизнь многому научила меня, Псидоним Уткыр. Она научила меня видеть и говорить правду. Чужие наговоры и свои обиды как пыль: они могут запорошить человеку глаза. Но у меня глаза стариковские, зоркие! И я вижу лучше, чем ты через свои очки. Напиши в своей газете, Псидоним, что старый Муратали никогда не будет жить в степном кишлаке. Это ты можешь написать. А про Айкиз напиши так: она во всем советуется с народом, и народ уважает ее. Прости, сынок, но мне пора запясться делом.

Юсуфий закрыл свой блокнот.

— Я тоже тороплюсь. Ты не знаешь, где сейчас можно пайти Умурзакову?

До сих пор Муратали сдерживался только из уважения к гостю. Но тут не вытерпел и твердо сказал:

— Иоици ее на целинных землях. Но помни: Умурзакову мы в обиду не дадим. Ее обидишь — нас обидишь.

Муратали заспешил на полевой стан. Юсуфий, проводив его сердитым взглядом, снял зачем-то очки, долго протирал их носовым платком не первой свежести, словно обдумывая очередной ход в этом увлекшем его разоблачительном деле, подсказанном самим Султановым, затем зашагал к каналу, чтобы берегом пройти к целине.

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ

ЧЕЛОВЕК-ТЕНЬ

Айкиз пришла на полевой стан к Погодину, когда трактористы, которым предстояло работать во второй половине дня, принимали смену от намаевшихся за утро товарищей. Тракторы, оставленные в степи, выглядели без людей непривычно сиротливыми, заброшенными, словно бы лишними среди этих просторов... Земля, ждущая плуга, и тракторы, стоящие в неподвижном бездействии, — в этом было что-то противоречивое, неестественное.

Вернувшиеся с работы трактористы, шумно фыркая, умывались в арыке, подставив жгучему полуденному солнцу мускулистые, с бронзовым отливом спины. Иные, успев переодеться, уже спешили в столовую. Прежде это был длинный навес, людей защищала от пыли простая марля, но после бури столовую огородили легкими фанерными стенками.

Айкиз подробно расспросила Погодина о ходе работ, поговорила с трактористами, которые уже перепахивали занесенные песком участки и упорно продолжали двигаться на Кызылкумы, не обошла вниманием и худенького, задорного героя-экскаваторщика, полюбившегося ей с первого знакомства. Паренек торопился к своему экскаватору. Его лицо, совсем юное, с едва пробивающимся светлым пушком, было озабоченно, пышная, круглая, как пережаренное поле, копна белесых волос золотилась на солнце. «Одуванчик!» — опять ласково подумала Айкиз. Она по-

интересовалась, как идут у экскаваторщика дела. Паренек, больше всего на свете боявшийся, как бы его не посчитали слишком молодым, нанустил на себя важность и солидно пообещал:

— Скоро, товарищ председатель, свой участок канала я сдам. Теперь дело за вами: подавайте воду.

— А как у тебя с качеством работы? — спросил Погодин.

— Ого! — Паренек не выдержал серьезного тона, глаза его загорелись, в голосе прорвалась мальчишеская гордость. — У меня лучший экскаватор и самый красивый участок! Мой «костромич» прорыл его ровненько, как по линейке. Дно, как паркетный пол, стены глаже стекла! Посмотрите сами, товарищ Умурзакова.

— Я видела, — успокоила его Айкиз и с улыбкой добавила: — Молодчина твой «костромич»! Передай ему большое спасибо.

У Айкиз с утра крошки не было во рту. Погодин, видно, понял это и позвал ее в столовую. Они помыли руки в арычной воде и вскоре уже сидели под навесом за одним из вкопанных в землю столов.

В столовой стоял прохладный сумрак, даже не верилось, что снаружи, за фанерными щитами, жарко пышет достигшее зенита июньское солнце.

Напротив Айкиз оказался старый ее знакомый Суванкул. Отработав свою смену, он теперь с тем же богатырским энтузиазмом, с каким пахал землю, опустошал вторую чашку любимой маставки. Айкиз, покончив с маставой, в которую накрошен был суванкуловский райхон, подняла голову и сказала Суванкулу:

— Я вчера видела Бекбуту, он просил передать тебе пламенный привет. Мы, говорит, не виделись целую неделю. Это первый в истории случай...

Суванкул сокрушенно помотал головой.

— Как он там, бедный, без меня? Мы ведь с ним каждую изюминку делили надвое.

— Он спрашивал, как ты без него обходишься. «Друг мой, говорит, неповоротлив, как Коктау. Пока он натягивает сапоги, проходят весна, и лето, и осень. — Айкиз невольно улыбнулась и продолжала: — На целине у него, говорит, дело едва ли ладится. Передай ему, что я готов взять на себя его долю работы и управлюсь с ней попровней». Вот как он сказал.

— Ай, какой замечательный человек! — Суванкул даже языком зацокал, словно не веря, что у него такой заботливый друг. — О себе может забыть, а обо мне печется, как о родном! Слушай, Айкиз, а правду ли говорят, будто во время бури Бекбуту унесло ветром километров за тысячу? Ай-ай! Ведь кушает он столько, что слону впору, да недаром, видно, молвится: как бы ни жирел воробей, пудового веса не пагуляет.

— Вот дьяволы! — с восхищением воскликнул Погодин. — Ведь дышать друг без друга не могут, а встретятся — сцепятся, словно петухи. Ты, Суванкул, даже на расстоянии без промахаразишь Бекбуту.

— Куда ему со мной тягаться! — пренебрежительно произнес Суванкул. — Мозги у него жиром заплыли. Ты ему скажи, Айкиз, пусть не налегает так на еду.

Молвив это, Суванкул, кряхтя, вылез из-за стола и отправился за добавкой.

Айкиз, засмеявшись, взглянула на Погодина.

— Это ты, Иван Борисыч, сманил к себе Суванкула, разлучил верных друзей.

— Разлука закаляет дружбу, Айкиз! И не будем считать, кто кого куда сманил. Не проявляй местнических настроений!

После того как состоялась его помолвка с Лолой, Погодин стал мягче, добродушней. Он по-прежнему неприемлемо относился к промахам своих работников, но теперь, если случалось бранить кого-нибудь, смотрел на провинившегося с жалостливой укоризной, словно досадуя, что кто-то нарушил его душевное равновесие, заставил повысить голос, стать непохожим на того Погодина, какого любила Лола: доброго, застенчивого, уюепного своим счастьем.

Управившись с обедом, Погодин вытер носовым платком губы и, заговорщически взглянув на Айкиз, пробасил:

— А на сладкое, дорогой председатель, я приготовил тебе сюрприз... Ты еще не видала моей бахчи?

— Той, с которой ты возился перед массовым выходом? Ты мне ее показывал.

— Это были еще цветочки, Айкиз! Полюбуйся-ка на нее теперь. Всем бахчам бахча!

— Ты расхвастаяся, Иван Борисыч, — рассмеялась Айкиз. — Чувствую влияние нашего уважаемого раиса.

Погодин надул щеки и, подражая Кадырову, самодовольно, напыщенно произнес:

— Это моя бахча, товарищ Умурзакова! — Он ударил себя кулаком в грудь. — Я сто потов пролил, трудясь на благо своих энтээсовцев. Сам председатель сельсовета одобрил в свое время мое смелое начинание!

— А вы не думаете расширить свою бахчу, товарищ Погодин? — подлаживаясь к его шутливому тону, спросила Айкиз. — Народу на целине все прибавляется, всем захочется попробовать ваших дыnek.

— Расширить бахчу? — изумился Погодин и, сдвинув брови, решительно отрубил: — Безумное прожектерство. Гигантомания! Сто веков назад не было даже и этой бахчи, и народ не роптал. Печенка, которая варится в котле...

— ...лучше курдюка, болтающегося на баране! — весело закончила Айкиз и поторопила Погодина: — Хватит, пойдем, покажи бахчу.

Миновав сборный домик, в котором размещался «штаб» тракторной бригады, и аккуратные зеленые вагончики, отвоеванные директором МТС у Смирнова, Погодин и Айкиз вышли к арыку, огибавшему полевой стан и бахчу. Невдалеке виднелись стройные ряды молодых деревьев, убранных робкой, нежной листвой. Этот маленький сад, заложенный неутомимой помощницей старого Халим-бобо, Лолой, возник возле тракторного стана недавно. Лола не зря старалась: в награду за свои труды она получила возможность чаще встречаться с Иваном Борисовичем...

Недавняя буря похозяйничала и на бахче: темно-зеленые, с чуть поднятыми краями листья дынь и арбузов потускнели от пыли, кое-где на листьях еще лежал песок. Погодин огорченно покачал головой.

— Видишь, Айкиз? И мои дыни не пощадила проклятая буря. Я, как улучу свободную минутку, бегу на бахчу, навожу здесь порядок, как хорошая хозяйка в новом доме.

В словах Погодина слышалась озабоченность, а лицо было благодушное, довольное. Иван Борисович гордился своей бахчой, он сам сажал дыни и арбузы, сам их растил, выхаживал, а буря, подбавив ему хлопот, еще сильнее привязала к бахче: ведь чем больше мучаешься над своим творением, тем дороже оно становится...

Оставив Айкиз у арыка, Погодин прошелся между грядками, заботливо выпрямляя сухие плети, стряхивая

с листьев песок. Он ступал с необычной для него осторожностью, руки его, потемневшие от постоянного общения с металлом, неуклюже-бережно, любовно касались запыленных листьев, атласной кожицы арбузов. Арбузы были еще зеленые и маленькие, как теннисные мячики. дыни тоже пока не созрели, но над бахчой, разогретой солнцем, колыхался слабый теплый медовый запах.

У одного из растений Погодин задержался, наклонился и, не оборачиваясь, поманил рукой свою спутницу.

— Погляди-ка, Айкиз!

Айкиз поспешила к Погодину. Иван Борисович выпрямился и молча, с победоносным видом, показал кивком головы на желтую-желтую дыньку, размером чуть больше чайника. Это была дыня хандалык, скороспелка. Погодин, сорвав, стер с нее ладонью песок. Дынька засветилась на солнце, как слиток золота. Он протянул ее Айкиз.

— Видишь, вполне доспела! Доспела — пазло всем бурям!

Айкиз, приняв ее от Погодина, взвесила в руке, кивнула с одобрительным удивлением: дыня была маленькая, но тяжелая, как булыжник. Поднеся ее к лицу, Айкиз с наслаждением вдохнула сладкий, неповторимо нежный аромат, исходящий от желтой кожицы.

— Вот и третье блюдо! — сказал Иван Борисович. — Пойдем к арыку, дорогая гостя, по-царски закончим наш обед, полакомимся первой дыней с целинной земли!

На берегу арыка Айкиз села на траву, опустив к воде ноги в маленьких шевровых сапожках, прикрыв подолом простенького ситцевого платья обтянутые чулками колени. Погодин преподнес госте лепешку, запасенную еще в столовой, достал из-за голенища большой складной нож, разрезал дыню на равные дольки и, когда Айкиз отведала ее, торжествующе спросил:

— Хороша?

Айкиз восхищенно покачала головой: ведь нет ничего вкуснее свежей дыни с лепешкой!..

Сам Погодин быстро расправился со своей долькой и, пока Айкиз доедала дыню, прошел по берегу арыка, присев на корточки, отбросил руками несколько комьев из зауряды и пустил воду на бахчу, да так и остался сидеть над журчавшим ручьем словно замороженный, задумчиво наблюдая за прытким бегом освобожденных струй... Вода бежала меж грядками с веселым, довольным ворко-

ваньем, разливаясь лужицами возле плетей, преграждавших ей путь. Сухая земля впитывала ее ненасытно, яростно, жадно, торопясь передать жизнетворные соки корням, укрепившимся в ее лоне. Так торопливо птицы, раздобыв корм, несут его своим птенцам.

Вздохнув с сожалением, Погодин снова закрыл воду, вымыл руки и поднялся. Взгляд его мечтательно задержался на молодых деревцах, посаженных Лолой. За садом виднелись хлопковые поля. Через ближнее поле шел к саду нескладный, долговязый мужчина, шаг у него был широкий, но переставляя ноги он так, словно ему приходилось вытаскивать их из вязкой грязи. По этой широкой, медленной походке Погодин узнал работника местной газеты Юсуфия.

— К нам, кажется, гость, — сказал он, возвращаясь к Айкиз, и, недоуменно пожав плечами, добавил: — И за каким чертом его сюда несет?

Айкиз укоризненно взглянула на Погодина.

— Иван Борисыч!..

— Что «Иван Борисыч»? Не люблю этого типа. Это же не человек, а тень! Муха в плове! — возмущенно говорил Погодин. — Уж лучше бы черная кошка дорогу перебежала.

Юсуфий, обогнув сад, уже приближался к Айкиз и Погодину. Айкиз встала с травы.

— Салам алейкум, товарищ Юсуфий!

— Салам алейкум! — без особой приветливости повторил Погодин.

— Алейкум ассалам, — сухо ответил Юсуфий и, повернувшись к Айкиз, сказал ей: — Уделите мне несколько минут, товарищ Умурзакова. Где мы можем поговорить?

— Да вот тут! — Айкиз показала на берег. — Чем тут плохо?

— Самое подходящее место для задушевной беседы, — ехидно заметил Погодин. — Природа, как известно, пахнет на поэтический лад.

Юсуфий и бровью не повел, лишь скользнул по Погодину скучающим взглядом, намекаяще кашлянул и выжидательно уставился на Айкиз.

— Не хотите ли дыни? — дружелюбно предложила Айкиз. — Иван Борисыч с удовольствием угостит. Это первые плоды целины.

— Я пришел сюда не угощаться дынями, — сказал

гость, и хотя произнесенные им слова выражали раздражение, в голосе этого раздражения не было, голос оставался бесцветным, скучным.

Юсуфий покосился на Погодина, и в его равнодушном взгляде Иван Борисович прочел терпеливую, настойчивую просьбу: «Уйди, ты мне мешаешь». Погодин решил пренебречь этой просьбой, но за ним прибежал молоденький тракторист: Ивана Борисовича звали к телефону. Он вздохнул и нехотя ушел к сборному домику.

Юсуфий опустил на траву и, заглянув в блокнот, приступил к допросу. Тон и строгий вид Юсуфия не оставляли сомнений: это был именно допрос. Но Айкиз никак не могла понять его цели. Сведения, интересовавшие журналиста, не имели друг с другом прямой связи, вопросы были разрозненные. Казалось, он руководствовался четким, но ясным лишь для него одного планом, что статья, ради которой он прибыл в Алтыпсай, уже готова, и в ответах Айкиз Юсуфий искал лишь подтверждения известных ему фактов.

У него еще до разговора с Айкиз сложилось «свое», подсказанное Султановым и Кадыровым мнение о ее действиях. Беседуя с Айкиз, он мысленно подбирал фразы, которые должны были придать его статье надлежащую убедительность: «Сама товарищ Умурзакова



признала...», «Из слов самой Умурзаковой со всей очевидностью явствует...» Он не старался разобраться в причине поступков, предложений, решений Айкиз, это не входило в его планы. Ему важно было одно: чтобы Айкиз признала факты, которые он сумеет потом преподнести в невыгодном для нее свете. Айкиз и не оспаривала этих фактов. Она не понимала, куда клонит газетчик. В ее голосе, когда она отвечала Юсуфию, сквозило недоумение, но факты, о которых он ее расспрашивал, имели место, и она спокойно их подтверждала. Да, земли, которые сейчас осваивал колхоз, до сих пор считались неплодородными. Да, здесь часто бывают бури и суховей. Да, недавняя буря панесла колхозу немалый урон. Но...

Однако, как только возникало это «но», газетчик прерывал Айкиз и предлагал ей следующий вопрос. Айкиз пожимала плечами и отвечала — больше ей ничего не оставалось делать. Она так и не смогла объяснить Юсуфию, что мнение о неплодородности целинных земель опровергнуто многократными исследованиями и самой жизнью, что по ее предложению Халим-бобо отвел участок своего сада под хлопок и хлопок на этом целинном участке начал уже цвести, что от бурь не застрахован ни один район этого края, что последствия недавней бури почти сведены на нет. Обо всем этом Юсуфий не дал ей рассказать. Но стоило ли разъяснять то, что и так для всех должно быть ясно? Айкиз знала Юсуфию по его статьям и фельетонам. Ее корбило порой от их развязного тона, но это не давало оснований усомниться в добросовестности газетчика. Лишь одно обстоятельство насторожило ее: Юсуфий не записывал ее ответов, а только подчеркивал что-то в своем блокноте...

— Скажите, пожалуйста,— продолжал между тем Юсуфий, скосив глаза на страницу блокнота,— вас трудно застать в сельсовете, вы иногда по целым дням пропадаете на целинных землях. Разве освоение целины — главная ваша функция как председателя сельсовета?

Айкиз улыбнулась.

— Вы сами, конечно, понимаете, председатель сельсовета не должен быть кабинетным работником. Народ выбрал нас для того, чтобы мы помогли ему в самом главном, насущном. А главное сейчас — поднять новые земли. И это не мешает мне...

— Пошмаю, понимаю,— снова перебил ее Юсуфий и,

перевернув страницу блокнота, спросил: — Говорят, это вы настояли, чтобы часть колхозников, работавших на хлопковых полях, была переброшена на целину и на строительство нового поселка?

— На это пошли сами колхозники. Ведь там, где хватало и одного, Кадыров из перестраховки ставил двух. К технике он тоже не благоволит. К тому же...

— Что же все-таки важнее, по-вашему: растить хлопок или строить поселок?

— Да разве можно одно противопоставлять другому? Чем скорей мы построим поселок, тем скорей колхозники-переселенцы получают возможность работать в полную силу, и работать именно на хлопковых полях.

— Возможно, возможно, — певнято буркнул Юсуфий и опять что-то отметил в блокноте. — Я слышал, на одном из участков... м-м... кажется, в бригаде Молла-Сулеймана, хлопок все же погиб?

У Айкиз потемнели глаза, она глухо сказала:

— Да, тут мы, видно, недоглядели... Этой бригадой давно нужно было заняться. Вы бы, товарищ Юсуфий, разобрались в причинах отставания отдельных бригад. Колхоз сказал бы вам спасибо.

Но Юсуфий уже не слушал Айкиз. Закрыв свой блокнот, он угловато, деревянно (так разворачиваются складные метры) поднялся с земли и как бы между прочим спросил:

— Скажите, секретарь здешней парторганизации, Аллимджан, — это ваш муж?

— Да-а... Но какое это имеет отношение...

— Все имеет отношение. Так учит нас диалектика, — наставительно произнес Юсуфий. — Он тоже выступает за освоение целины?

— Все коммунисты колхоза проголосовали за наш план. Вот, кстати, возвращается Погодин, один из авторов этого плана. Он вам расскажет обо всем лучше, чем я.

Юсуфий резко повернулся — к ним действительно приближался Погодин. Раздумчиво пожевав губами, газетчик поднес к самым очкам часы и торопливо проговорил:

— К сожалению, я должен спешить. С Погодиным я поговорю в другой раз. Спасибо вам, товарищ Умурзакова, вы многое помогли мне выяснить.

Он вяло пожал руку Айкиз и, не дожидаясь, пока по-

дойдет Погодин, зашагал прочь от арыка нескладной, ломкой, как у цапли, походкой.

Айкиз смотрела ему вслед. Лицо ее было напряженным. К концу беседы она уже чувствовала какой-то подвох, но защититься себя она могла только в споре, а от спора с ней Юсуфий уклонился.

Он не давал ей даже высказываться — он спрашивал, она отвечала. Его это, видимо, устраивало. Но выгодно ли это было для Айкиз?

Погодин пришел с хорошими вестями. Его широкое, открытое лицо радостно сияло: на МТС прибыли новые хлопкоуборочные машины. Он собирался обрадовать и Айкиз, но, взглянув на нее, нахмурился. Кивнув на удаляющуюся фигуру Юсуфия, спросил:

— Что было нужно?

— Странно как-то... — медленно, словно размышляя, произнесла Айкиз. — Он расспрашивал меня о целине, о буре. У меня такое ощущение, будто он... будто ему хотелось в чем-то меня уличить. Он разговаривал со мной, словно следователь, для которого уже ясен состав преступления. Только вот в чем оно?

— Так... А меня он, значит, не пожелал дожидаться? И впрямь странно.

— Может быть, я неправа, — сказала Айкиз, — он ведь со всеми так говорит.

— И добром это никогда не кончается. — Погодин с дружеской заботливостью поглядел в глаза Айкиз и ласково предупредил: — Будь пачеку, Айкиз. Почуешь недоброе — кликни друзей, мы всем миром поспешим тебе на выручку. Непременно Расскажи обо всем Алимджану.

— Мы с ним теперь так редко видимся, — с горечью сказала Айкиз и, словно оправдывая мужа, торопливо добавила: — Он все время занят, он ведь и бригадир и парторг. А завтра должен ехать в город, вызывают зачем-то в институт.

— Все мы люди занятые, — ворчливо проговорил Погодин. Заметив в глазах Айкиз озабоченность и печаль, он поспешил перевести разговор на другое: — Я вижу, тебя все-таки расстроил этот тип.

— Ой, Иван Борисыч, ты, кажется, относишься к журналистам не лучше гоголевского городничего. Все они «щелкоперы», да?

— Ну, положим, не все. Но этого опасайся. То есть

я хотел сказать: не бойся ты его! Правда на нашей стороне. Ты говоришь, он тебя о целине расспрашивал? — Погодин повернулся лицом к распаханной целинной степи и широко расставил руки, словно хотел обнять эту землю. — Вот она — целина! Бывшая целина! Она жаждет воды, жаждет семян, жаждет труда человеческого!.. Ей самой надоело быть в плену у бурь и зноя. Все живое хочет жить, а ведь земля — она живая, Айкиз. Для нее противоестественно быть бесплодной. Она должна рожать и кормить деревья, пшеницу, хлопок, цветы. Мы с ней поладим, Айкиз, мы поможем ей обрести древнюю живородящую силу. Это всем нам нужно, всей стране!

Погодин стоял на берегу арыка, прорытого человеком, на виду у степи, распаханной человеком, гордый, сильный, уверенный. Ворот белой рубахи был расстегнут, степной ветерок обвевал открытую грудь. Над необозримым земным простором раскинулась необозримая сверкающая синева неба.

ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ

СТАТЬЯ

От Айкиз Юсуфий пошел прямо к Аликулу и остаток дня провел там. Неизвестно, о чем они говорили, но в статье, появившейся через несколько дней в местной газете, имя Аликула упомянуто не было: об этом, видимо, попросил сам Аликул.

Статья называлась по-фельетонному хлестко: «Горестрактор». Изобличительный ее пафос был направлен против Айкиз, по при этом она порочила и саму идею освоения целины. Ссылаясь на письмо Назакатхон и Молла-Сулеймана, на беседы с Кадыровым, с Айкиз, даже с Муратали, Юсуфий тизился доказать, что попытка наступления на пустыню, предпринятая по инициативе Умурзаковой, Погодина и Смирнова, оказалась слишком рискованной и, судя по всему, несостоятельной. «В свое время авторам проекта освоения целины, — писал Юсуфий, — указывали на полную его бесперспективность и экономическую нерентабельность. Возня горе-проекторов с целиной отвлекла колхозников от их главного дела, от ухода за основными хлопковыми массивами, от борьбы за повышение урожайности на поливных землях, от борьбы, к которой призывает нас партия. Смешно было бы от-

рипать важность такого мероприятия, как освоение новых земель. Но это мероприятие — предельно ответственное, и в данном случае вполне применима мудрая поговорка: семь раз отмерь, один раз отрежь. Наши же доморощенные «новаторы», погнавшись за дешевой славой, не рассчитали сил, и пустыня, вместо того чтобы дать хлопок, поглотила хлопок. Умурзакова и другие решили открыть, так сказать, «второй фронт» — и оголили главный, распылив рабочую силу, лишив колхозников возможности с «полной отдачей» трудиться на основных, уже освоенных, хлопковых полях. Засев целину, они, так сказать, «пожали бурю», погубившую хлопок на одном из участков колхоза «Кызыл юлдуз». Основная тяжесть вины падает, конечно, на Умурзакову, которая в данной ситуации действовала как зарвавшийся администратор и в самую тревожную для колхоза пору настояла на малоэффективном перераспределении рабочей силы.

Доставалось в статье и Алимджану, которого Юсуфий обвинял в том, что он в силу родственных отношений попустительствовал Умурзаковой, своей жене, и как партийный руководитель колхоза не дал отпора вмешательству председателя сельсовета во внутриколхозные дела, ее увлечению экономическими преобразованиями.

Лишь один из горячих сторонников плана освоения целины оказался «помилованным»: это был Джурабаев, на которого Юсуфий не осмелился поднять руку.

Айкиз получила газету со статьей Юсуфия только к вечеру (газеты в сельсовет доставлялись поздно). В этот день она принимала посетителей, долго беседовала с Уста Хазраткулом, раздумывая вместе с ним, как быстрее закончить строительство поселка; весь день был заполнен важными делами, заботами, встречами. Читая газету, Айкиз еще жила инерцией этого напряженного, честного трудового дня. Может, потому до ее сознания не сразу дошло то, о чем писал Юсуфий... Это казалось слишком нелепым, несправедливым, слишком не вязалось со всем тем большим, светлым, чем жила сама Айкиз. Это был подлый, неожиданный удар в спину. Айкиз ощутила почти физическую боль от мысли, что есть еще люди, способные наносить такие удары. Ей припомнилось все, что говорил о Юсуфии Ногодин. Директор МТС оказался прав. Он больше знал жизнь и лучше, чем Айкиз, разбирался в людях. А она молода, доверчива... Но и она права, права

в этой своей доверчивости: ведь доверие к людям — закон нашей жизни. Нужно только быть зорче. Нужно быть и доверчивой и зоркой.

Айкиз отложила газету и задумалась... Как отнестись к этой статье? Пока она чувствовала лишь горькую грусть, даже боль, но не негодование. Горько ошибиться в человеке. Горько сознавать, что тебя не поняли, что на пути твоём неожиданно появилась новая помеха. Но стоило ли из-за этого расстраиваться? Статья обидная, злопыхательская. Но что она может изменить в судьбе Айкиз? Ровно ничего! Айкиз как была, так и осталась убежденной в своей правоте. Она боролась за то, чтобы дехканам жилось лучше, и не перестанет бороться. Сейчас в нее кинули грязью. Но грязь, брошенная печестной рукой, не прилипнет к честному имени. А если и прилипнет — что ж! Пусть Кадыров дрожит над своим авторитетом, а она не боится хулы — не замарали бы только ее светлых целей...

Она снова взяла в руки газету, внимательней перечитала статью. Юсуфий чуть ли не в каждой строке склонял ее фамилию, но теперь Айкиз вдруг резко и ясно увидела: атака-то ведется не на нее, а на ее план, рожденный и выношенный в гуще народной. Статья ничего не меняла в судьбе самой Айкиз, но могла повлиять на судьбу целинных земель, на судьбу колхоза, на будущее простых дехкан! Противник, обнажив меч, использовал в своих недостоинных — да, недостоинных! — целях партийную трибуну, силу печатного слова. Это, паверно, только первая его атака, и нужно отразить ее и приготовиться к тому, чтобы отразить следующую. А она-то беспечно отмахнулась от мысли о защите! Если бы речь шла только о ней, если бы статья грозила неприятностями только ей, — Айкиз, пожалуй, вправе была бы отмолчаться. Но статья опасна не для нее одной... Она обязана защищаться, — нет, не защищаться, а всеми своими силами защищать то дело, за которое борются и Айкиз, и Погодин, и старый Халимбобо, и молодой экскаваторщик, и Бекбута, и Керим, и Михри! Если в обьоме поверят хоть одному слову Юсуфия, тогда не только Айкиз, но и всем станет труднее!

Айкиз отшвырнула газету и, встав из-за стола, засунув руки в карманы своей жакетки, взволнованно прошлась по комнате. Надо хорошенько продумать, как бо-

ротья, от кого защищаться. За спиной Юсуфия, конечно, стоит противник посолдней. Может быть, Султанов? Или Кадыров? Или кто-то из их покровителей? Но их позиции, казалось бы, разбиты. Почему же они не складывают оружия? Что заставляет их так яростно противиться ясным и пужным для всех планам? Неужели они не понимают, что идут против воли народа? Или именно потому, что они явно не правы, они с особой ожесточенностью нападают на тех, кто стоит на правильных позициях? Не всегда угадаешь, на что они решатся, что предпримут, ослепленные неправотой и бессильной яростью! А главное, види, чему они противятся, не всегда понимаешь, почему они это делают. Какими побуждениями они руководствуются? Трусостью? Тупостью? Упрямством? Жадной мелкого благополучия и покоя? Стремлением остаться у власти при полной неспособности руководить людьми, при явном нежелании заботиться о нуждах народа?..

Вот Кадыров... До сих пор не удалось Айкиз разгрызть этот орешек. А нужно, нужно понять Кадырова, чтобы определить, как же действовать по отношению к нему — помочь или оттеснить с дороги, убеждать или драться. Что движет Кадыровым? Неправильность к Айкиз? Но сама она всегда старалась оправдать Кадырова, веря в его честность и добросовестность. Даже теперь она не хочет поверить, что он руководствуется корыстными, мелкими целями. Он, наверно, искренне предубежден против их плана. И, в сущности, его можно только пожалеть... Страшно и горько, когда руководитель думает, будто народу нужно одно, а народ для своего счастья желает совсем другого. Для руководителя, вожака народа, если только этот руководитель искренен, это подлинная трагедия...

Или все сложнее, чем она представляет, и не нужно торопиться с выводами? Одним решением бороться, защищаться делу не поможешь. Нужно во все это выкинуть поглубже. Не спеши, Айкиз... Разберись, подумай.

За окном темно. Солнце клонилось к западу. Тень от горы Коктау наплывала на склоны соседних гор, падала в долины, старалась догнать другие быстробегающие тени, и казалось — движется вдоль гор караван легконогих великанов верблюдов.

Айкиз зажгла свет и подошла к карте сельсоветских земель. Через хлонковые массивы, заштрихованные зеленым карандашом, струилась, как синие, жилки по заця-

стью руки, тонкие линии каналов и арыков. Горы на карте — желтые, поселки и кишлаки — скопление красных квадратов и прямоугольников. Только целинная степь лишена была красок. «Белое пятно на карте, — подумала Айкиз и провела пальцем по пунктиру, отделяющему целину от хлопковых полей. — А на карте не должно оставаться белых пятен! Ради этого я буду защищаться. — И повторила про себя: — Нужно только все хорошенько обдумать... — Взгляд ее упал на телефон. — Не позволят ли Джурабаеву? Нет, подожду до завтра. Дело терпит. Не бог весть что стряслось».

Домой Айкиз вернулась поздно. Алимджан еще не приехал из города, Умурзак-ата спал. Он дышал во сне тяжело, прерывисто. Айкиз тихо подошла к кровати. С нежностью, с тревогой всмотрелась в его лицо. Оно чуть осунулось, под глазами всухли лиловые мешки. Старик в последнее время нездоровилось, и сегодня Айкиз не пустила его в поле. Днем между делами она заглянула домой, накормила отца обедом, заставила выпить лекарство. Умурзак-ата, не любивший лечиться, на этот раз подчинился дочери: ему хотелось поскорее встать на ноги. Врача вызвать он не позволил. Рано заводить знакомство с докторами, ему ведь еще не сто лет!..

Стараясь не потревожить сон отца, Айкиз проскользнула в свою комнату. Она не заметила, что Умурзак-ата, едва она отвернулась, приоткрыл глаза, поднял голову и посмотрел вслед дочери тоже нежным и тревожным взглядом. Он уже успел прочитать сегодняшнюю газету..

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ ТРУД — НАШЕ ОРУЖИЕ

Айкиз спала крепко, проснулась поздно. Солнце уже провело своей желтой указкой по стенам, расцветило их веселыми зайчиками... Она прошла в комнату отца, но Умурзака-ата там не было. Постель его была аккуратно скатана. Айкиз встревожилась: неужели он ушел на работу? Ведь ему нельзя выходить из дому! Он должен лежать, ему нужен покой, отдых.

Айкиз закусила губу и выбежала в сад, словно могла задержать, остановить неугомонного старика. Отец стоял, склонившись над ручьем, и умывался. Халата на нем не

было, ворот белой длинной рубахи открывал шею с морщинистой сухой кожей. Движения Умурзак-ата были медленными, он с трудом пагнал над арыком, зачерпывал ладонями воду, медленно выпрямлялся и — тоже медленно — растирал лицо, шею, грудь. Заслышав позади себя шаги, он обернулся и ласково поздоровался с дочерью:

— С добрым утром, Айкиз! Я рад, что душа у тебя спокойна: так крепко спят только с чистой совестью.

Отец, как всегда, говорил немного нараспев, чуть веле-речиво, но сердце подсказало Айкиз: он обо всем уже знает!

— Отец! Почему вы не в постели?

Вытирая шею и лицо полотенцем и, как показалось Айкиз, стараясь это делать с нарочитой бодрой непринужденностью, Умурзак-ата улыбнулся.

— Я уже стар, доченька! Если бы аллах отпустил мне побольше дней, я, пожалуй, мог бы пустить иные из них на ветер... Но путь мой короток, и остаток дороги хочется пройти гордым шагом, а не ползком. Только молодежь не дорожит временем. Пойдем поьем чаю. Я уже вскипятит чайник.

— А потом ляжете?

Старик пристально посмотрел на дочь и покачал головой.

— Нет, дочка, не время сейчас разлеживаться.

— Но вы больны. Видите, у вас руки дрожат.

— Это не от болезни. Сказать по чести, беспокойно у меня на душе, дочка... Боюсь за тебя.

— За меня нечего бояться.

По старик, не слушая ее, продолжал:

— Я ведь все знаю, Айкиз. Соседи вчера показали мне газету, ее привез из района Керим. Я положил ее под подушку и не спал всю ночь. Она жгла мне сердце!

— Эта статья не должна вас волновать, отец. Вам нельзя волноваться.

Умурзак-ата, уже подходивший к айвану, остановился.

— Только горы в любую погоду могут оставаться спокойными. У них камешные сердца, дочка. А наши сердца, как цветы, — трепещут под первым ветром. Недаром же говорит пословица: человек тверже камня, нежнее розы.

Айкиз удивляло спокойствие отца. В душе он, видно, возмущался, страдал, но не давал волю ни горю, ни гневу.

Он словно хотел передать Айкиз мудрое свое спокойствие. Взгляд его, по-прежнему ласковый, ободряющий, как бы говорил: «Крепись, дочка, надо достойно, с гордо поднятой головой пройти через испытание, посланное нам судьбой. Крепись, я верю в тебя».

Она снова попросила отца лечь в постель, но он, казалось, не слышал ее слов. Молча принес чайник, разлил чай в пиалы. Неторопливо отпивая терпкую, душистую, горячую влагу, он задумался. На лицо набежала тень, но он тут же согнал ее и все так же спокойно, ласково заговорил с дочерью.

— Слова клеветы, дочка,— это отравленные стрелы. Они могут больно ранить. И я боюсь за тебя... Ты думаешь, верно, что давно выросла из детского платья, что ты сильная, умная, зоркая. И люди стараются убедить тебя в этом. Не верь им, дочка! Для меня ты как была, так и осталась маленькой озорницей Айкиз. Маленькой и слабой. И я должен защитить тебя от отравленных стрел.

У Айкиз защемило сердце от благодарной нежности, от жалости к отцу, старому, хворому, но, как в молодости, отважному и воинственному, от ощущения собственного бессилия. Она чувствовала, что, как ни старайся, а отец не останется дома, не откажется от своего, еще неясного для Айкиз решения...

— Отец! — с мольбой сказала Айкиз.— Я сама сумею защититься. В статье говорится только обо мне, я сама дам отпор!

— Камень, брошенный в тебя,— это камень, брошенный в меня,— возразил, поднимаясь, Умурзак-ата.— А злые люди замахнулись не только на тебя! Они подняли руку на всех нас. На нашу мечту, на наше счастье. Я защищу от них наше счастье и доброе имя моей дочери. Я сказал — ты слышала. Принеси мне кетмень, Айкиз.

Айкиз радовалась непримиримости отца, его пренебрежению к клевете. Он словно угадал ее мысли. Но она не могла допустить, чтобы он из-за нее жертвовал покоем и здоровьем.

— Подождите, отец! Что вы можете сделать один, да еще в таком состоянии?

— И одинокий ручей приносит пользу — ведь в конце пути его вода смешивается с водами реки. А я, дочка, не один. У меня зveno. И Алимджап, когда уезжал, просил меня приглядеть, как справляется с делом его помощ-

ник. На моем участке много людей и много работы. Хлопок уже цветет, Айкиз.

— Ничего страшного не случится, если вы еще делек побудете дома. Вам нужен покой!

Умурзак-ата нахмурился.

— Дома мне не будет покоя. Когда у человека задета честь, он берется за оружие. У нас одно оружие — наш труд, паще усердие. Клеветники говорят: Айкиз пакликала на хлопковые поля песчаную бурю. А мы докажем, что народ сильнее бури. Клеветники говорят: хлопок погибнет. А мы уже спасли хлопок, и я выращу на своем участке такой урожай, какого не выдывали в Алтынсае! Они говорят: у вас не хватит сил, чтобы поднять целину и выходить хлопок на старых полях. Сказать по чести, дочка, этого и нельзя было бы сделать, если бы в Алтынсае жили лодыри да трусы. Но алтынсайцы умеют видеть, что для них хорошо и что худо... Дай кетмень, Айкиз, мне пора в поле.

Последние слова он произнес так, будто приказывал дочери: «Дай виштовку, я пойду воевать». Голос его звучал уже не ласково, а властно и твердо. Айкиз не посмела его слушаться. Скрепя сердце, браня себя за малодушие, за то, что не сумела удержать старика дома, она принесла кетмень, тельпак из белого войлока, поправила на старике выцветший бельбог и, проводив его за калитку, долго смотрела вслед... Он шел по дороге размашистой, упрямой походкой. Кетмень подрагивал у него на плече. «Забегу в сельсовет, а потом в поле, к отцу, — решила Айкиз. — Одна не смогла его уломать — другие помогут. Алимджана опять нет! Когда нужно, его, как парочку, не бывает рядом...»

К концу пути Умурзак-ата притомился, замедлил шаг. Когда он добрался до поля, работа была уже в разгаре. Вдоль грядок с бодрым рокотом двигались маленькие трехколесные «Универсалы»: одни волокли за собой культиваторы, другие — окучники. Дехкане занимались подвозкой удобрений, пускали воду в парезанные тракторами борозды, рыхлили кетменями землю, окучивали хлопчатник.

Хлопок цвет... Поле было пестрым, розово-белым, и порозовевших цветов стало больше, чем два дня назад. Белые оставались только у верхушек кустов. Опавших мало, — значит, мало будет пустоцвета. Хлопок цвет дружно, словно и не проносилась над этими полями песчаная буря. «Разве трудились бы так люди, — подумал Умурзак-

ата,— если бы сомневались в своей правоте? И в правоте дочки! Нет, народ всегда прав». Дехкане из звена Умурзак-ата повернули к нему головы. Поздоровавшись с ними, старик махнул им рукой: продолжайте, мол, работать, я от вас не отстану... Он не стал задерживаться около работающих людей, таких дорогих ему, словно родные. Ведь, чего доброго, они примутся уговаривать его лечь в постель. А какой он больной? Правда, левое плечо ноет, и голова кружится, и трудно дышать... Это, верно, оттого, что он вчера целый день провалялся в постели. Отдых ослабляет, а работа лечит. Умурзак-ата в годы гражданской войны был красноармейцем. Он помнит, как тяжело, совершив многокилометровый марш, подниматься после короткого привала с земли, снова трогаться в путь. Лучше шагать без передышки, вперед и вперед, к дальней, но непременно победе!..

Солнце висело над горизонтом. Умурзак-ата, вступив в междурядья своего участка, широко, равномерно взмахивая кетменем, двинулся навстречу солнцу. Земля мягко припикала к стеблям хлопчатника, листья чуть колыхались, как под дуновением ветерка, из-под листьев задорно, приветливо поглядывали на старика белые, розовые цветы. Порой Умурзак-ата задерживался, разбивал кетменем почву вокруг упрямого сорняка — гумая, выбирал руками из земли длинные белые корни и шел дальше.

Идти становилось трудней. Рубашка взмокла, а старика почему-то знобило, ноги казались ватными, и все сильнее ныло левое плечо. Солнце стояло уже высоко, жара стала тяжелой, оглушающей. Земля прогрелась, и под ударами кетменя взлетала пыль.

Скоро старик почувствовал себя обессиленным. Он остановился. Посмотрел в сторону неумолимых тракторов, с горечью подумал: «Когда же мы и кетмень заменим машиной? От омача вон давно избавились, молодежь даже не знает, что это такое. А кетмень... Привык я к тебе, дружок, а рад-радешенек был бы с тобой распротиться. Всю руку отмахал!»

Неожиданно над самым его ухом раздался знакомый хриплый голос:

— Салам алейкум, ата!..

Умурзак-ата вздрогнул, обернулся и увидел Гафура.

Несмотря на жару, Гафур был одет в ватник, тот самый, в котором приходил когда-то к Муратали. Глаза хит-

ро, торжествующе прищурены, под носом двумя пиявками чернели небольшие усы, а под усамн змеилась улыбка, в которой были и приветливость, и тщательно скрываемое злорадство. Гафур приложил руку к груди и повторил:

— Салам алейкум, дорогой родственник!

— Алейкум ассалам,— ворчливо откликнулся Умурзак-ата.

— Я слышал, вам нездоровилось?

— А ты, наверно, очень желал бы этого?

— Ай-ай,— с мягкой укоризной сказал Гафур,— зачем обижаете родича? Вы уже старый человек, не годится вам идти по стопам дочери.

— В твоём звене уже обеденный перерыв? — насмешливо осведомился Умурзак-ата.

— Всех дел не переделаешь! Я ведь по милости вашей дочки в тюрьме сидел. Здоровье подорвал... Чуть поработаешь — поясницу ломит.— Он, охая, потер поясницу, а Умурзак-ата потянулся было к плечу, но тут же опустил ладонь на ручку кетменя: не хотел показывать Гафуру, что ему нездоровится. Гафур торопливо проговорил: — Но я работаю. Изю всех сил! А сейчас гляжу: мой старый друг Умурзак-ата кетменем машет. Дай, думаю, пойду справлюсь о его здоровье.— Он взгляделся в лицо Умурзака-ата и с лицемерным сочувствием зацокал языком: — Ай, ай! Плохо, очень плохо выглядите. Как это дочь отпустила вас из дому?

— Дочь мне не нянька.

— Да, да, не нянька... А старому, как малому, как раз нянька пужна. Смирная, послушная дочь ему пужна, чтоб заботилась о нем, а не порочила его доброе имя.

— Иди работать, Гафур,— тихо попросил Умурзак-ата,— не серди меня.

Спокойствие, которое он сумел сохранить в разговоре с дочерью, готово было вот-вот изменить ему. Рука его судорожно вцепилась в кетмень, перед глазами запрыгали, сливаясь в радужные круги, черные, красные монки... Гафур, казалось, не замечал, что творится со стариком. Он достал из-за пазухи старую, словно изжеванную газету, побывавшую, видно, во многих руках, и протянул ее Умурзаку-ата.

— Не читали еще?

Умурзак-ата не пошевелился. Гафур, понимающе кивнув, спрятал газету опять под ватник.

— Ага! Значит, читали. Вот ведь как получается: было время, дочь ваша не постыдилась упрятать за решетку родного дядю, а теперь сама выставлена на позор. Аллах справедлив!

— Позор тому, кто писал это! — не сдержавшись, выкрикнул старик. — Вспомни-ка поговорку: камень кидают только в дерево, отягощенное плодами. Дочь моя не дает покоя лодырям, тормозит ленивых да пугливых, потому на нее и наговаривают. Сказать по чести, если уж эта кляуза по душе лентяям и ворам, значит, нет в ней ни слова правды!

— Это кто же лентяй и вор?

— Тебе лучше знать.

Гафур скорбно сжал губы и вздохнул.

— Бог вас простит, ага. А я на вас не сержусь. Вы меня обижаете, а я не сержусь. Я добра вам желаю. Завалит вашу крышу снегом — сам приду его счищать. Хочу дать вам совет: уймите дочь, не то докопает она вас своими фокусами. — Он снова с притворным участием оглядел Умурзак-ата и покачал головой. — Вот ведь как вас всех скрутило! Айкыз и Алимджан высохли, как голодные шелковичные черви. И поделом им, это им наказание за все их грехи. А вас мне жалко, ага. Поглядите, на вас же лица нет!

Умурзак-ата чуть приподнял над землей кетмень, словно



хотел замахнуться на Гафура, и, шагнув к нему, крикнул слабеющим голосом:

— Прочь отсюда, шакал! Не будет тебе в нашем колхозе поживы. Ни тебе, ни твоей стае! Шакалы боятся огня. А огонь наших сердец... огонь наших сердец — чистый и яркий...

Гафур уже не слышал этих слов. Довольный, что отвел душу, он поспешил к своему участку. С его лица не сходила мстительная, торжествующая усмешка.

Когда Гафур ушел, Умурзак-ата попытался снова приняться за работу, но по всему телу внезапно разлилась пугающая слабость. Тяжело дыша, он оперся ладонями о кетмень, глубоко и жадно втянул ртом сухой горячий воздух и вдруг начал медленно оседать на землю, пока не повалился лицом вверх между рядами выхоженного им хлопчатника. Кетмень тоже упал, глухо ударившись об откинутую в сторону руку. Рука вздрогнула, потянулась к вороту и бессильно опустилась на грудь. Когда к Умурзаку-ата подбежали дехкане, старик был уже мертв. Он лежал, обхватив левой рукой кетмень. Недвижные глаза смотрели на солнце, словно застывшее над цветущим хлопковым полем.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ ЖИТЬ ЕМУ ВЕЧНО

Весь Алтынсай провожал Умурзака-ата в последний путь. Пришли дехкане из соседних, из горных кишлаков. Старого хлопкороба знали многие...

День был знойный, тихий, недвижный. Все вокруг словно замерло в скорбном безмолвии. Торжественно-холодно сверкали вершины дальних гор. Над горизонтом заснеженными холмами топились белые облака. Листва на деревьях казалась окаменевшей. Даже пыль не вилась над дорогой, по которой направлялось к кладбищу многолюдное молчаливое шествие.

Путь до кладбища был долгий, но гроб от самого дома несли на руках. Уставших сменяли те, кто шел за гробом.

Первыми шли Айкиз и Алимджан. Алимджан пошмал, что если бы он и не уехал в город, то все равно не мог бы предотвратить случившееся. И все же в глубине сознания шевелилась саднящая мысль: его не было с Айкиз в тяжкую для нее минуту... Вот уж правду говорят:

пришла беда — отворяй ворота. Сколько бед неожиданно обрушилось на Айкиз! Песчаная буря, подлая статья в газете, смерть отца... А Алимджана не было рядом с женой. Дела, хлопоты, заботы оттеснили его от Айкиз, закружили, затолкали. Даже прочитав статью Юсуфия, он не смог выбраться из этой толчеи на помощь жене. Рядом с ней он оказался только сейчас, когда поздно уже что-нибудь изменить, поправить. С виповатым состраданием Алимджан взглянул на Айкиз. Лицо у нее бледное, глаза ввалились, она смотрела вперед, на гроб, певидящим, безучастным взглядом. Казалось, она ни о чем в эту минуту не думала, ничего не чувствовала, ничего не в силах была выразить — ни жестом, ни глазами. Только слезы катились по ее бледным щекам. Походка у Айкиз была напряженной, неестественно прямой и в то же время какой-то хрупкой. Алимджан взял ее за локоть, но Айкиз бессознательным движением высвободила руку и чуть подалась в сторону, сама, видимо, не понимая, что она делает и зачем...

На похороны Умурзака-ата приехали с Поволжья фронтовой побратим Алимджана Григорий Петров и его жена Валя.

Впервые они побывали в Алтынсае в день свадьбы Алимджана и Айкиз. После этого и молодые не раз наведывались в Поволжье, и Григорий с Валей каждый год посещали Алтынсай, гостили в доме своих узбекских друзей. Что такое истинно узбекское радушие, они узнали прежде всего благодаря Умурзаку-ата, который заботился о них, как о собственных детях. Григорий и Валя всей душой привязались к старику, доброму, открытому, щедрому и на шутки, поговорки, и на толковые советы, и на мудрые наставления.

Получив от Алимджана телеграмму о смерти Умурзака-ата, они не мешкая собрались в дорогу — чтобы отдать последний долг покойному. Обоих огорчало, что этим же вечером им надо было уезжать обратно, и они не могли остаться с Айкиз, утешить ее в горе. Правда, они понимали, — сейчас ничто не в силах унять ее боль. Валя плакала от жалости к Айкиз...

Среди провожающих за гробом шли и Джурабаев и Султанов. Умурзака-ата был одним из самых уважаемых людей в районе, и, участвуя в церемонии похорон, Султанов словно бы подчеркивал свой «демократизм», свою особую роль как лица, ответственного за все мало-маль-

ски значительные события, происходящие на подведомственной ему территории. Он явился на похоропы с таким же сознанием необходимости и важности своего «руководящего» присутствия, с каким поднялся бы, к примеру, на трибуну первомайского митинга. Иногда он подставлял под гроб свое плечо, и вид у него был сосредоточенный, как у человека, который хочет показать, что он занят государственно важным, заметным для всех делом, и одновременно папыщенный, самодовольный: так обычно выглядел Султанов, восседая за столом президиума.

Лицо Аликула, старавшегося держаться поближе к Султанову, выражало искреннее горе. Он сам был уже немолод и воспринял смерть своего сверстника как напоминание о «безглазой», что в недалеком будущем постучится и в его дверь. Старикам особенно больно видеть, как уходят из жизни их ровесники. Скорбь их — горькая, мудрая. Эта скорбь делала маленького, щуплого Аликула словно бы серьезней, солидней. Он задумчиво поглаживал поредевшую бородку. В его глазах, обычно хитро прищуренных, светилась печаль.

Кадыров, наоборот, утратил свою солидность. Он шел неуклюжий, грузный, обмякший, то и дело вытирая огромным платком бритую голову. Он любил Умурзак-ата, хотя тот в последнее время донимал его своим упрямством, и сейчас испытывал то же, что и все друзья покойного.

Рядом с Кадыровым и Аликулом вышагивал Гафур. Чувствуя на себе чей-то взгляд, он вздыхал особо старательно, начинал в горестном недоумении покачивать головой: «Ай-ай, как же такое могло случиться? Бедный Умурзак-ата! Видел бы ты, сколько горя доставила мне твоя смерть...»

А Джурабаев думал об одном: «Какого человека мы потеряли! Какого чудесного старика мы потеряли!» И вспоминались ему годы, когда в Алтынсае создан был колхоз и Умурзак-ата, бедняк из бедняков, первым подал заявление. Вспоминались трудные времена, когда в Алтынсае туго было с водой, а Умурзак-ата умудрялся-таки на своем участке выращивать добрый хлопок. Вспоминались споры со стариком. Ему порой нелегко было отказаться от привычных представлений, от работы по старинке, но с каким молодым жаром он трудился, сердцем, разумом приняв новое! Дура смерть, когда же ты перестанешь своевольничать!

чать, вырывать из наших рядов лучших, достойнейших? Ведь какого человека потерял пыиче Алтыпсай!

Кладбище располагалось меж кишлаком и горами, в стороне от дороги, соединяющей горные кишлаки с Алтыпсаем. Тут было пустыню, голо. Разбросанные в беспорядке глиняные холмики с надгробиями из грубого камня, реже — из белого мрамора, обнесены невысоким глиняно-каменным дувалом; кое-где, тоже похожие на могильные холмы, клубятся пизкие, чахлые кусты... Роснь могилу — лопата со звоном ударяется о затвердевшую, прокаленную солнцем, отутюженную ветрами землю.

Тут и похоронили Умурзака-ата. Джурабаев срывающимся от волнения голосом произнес короткую надгробную речь. Гроб опустили в могилу. Выросший над могилкой глиняный холмик обложили венками, присланными и привезенными из города, закидали ворохом белых, алых, сипих живых цветов. Исполнив этот простой обряд, все разошлись с кладбища. Но, простившись с Умурзаком-ата, люди не забыли о нем. Он начал новую жизнь, он жил теперь в их сердцах терпеливым учителем, мудрым советчиком, добрым, требовательным другом.

Пройдут дни, пройдут месяцы, и Погодип, настанвая на своевременном проведении осенней вспашки, соплется на одну из любимых поговорок старого Умурзака-ата: «Сто весенних вспашек не заменят одну осеннюю».

Пройдут месяцы, пройдет год, и старый хлопкороб, обучая молодого, скажет:

— Ну как ты рыхлишь землю? Посмотри, как это делал Умурзака-ата! И заруби себе на носу: хлопчатник — культура капризная, нежная, прихотливая. За ним уход да уход нужен, как за малым ребенком. Пропустишь один полив, не проведешь окучку и культивацию, не сделаешь землю мягкой, как бархат — и цветы осыплются, хлопковый куст не даст хлопка. «Подведешь хлопок — он тебя подведет», — так говорил Умурзака-ата.

Пройдут годы, и Халим-бобо, оглядывая белопепное море новых хлопковых полей, расскажет Айкиз о последней своей встрече с Умурзаком-ата.

— Как он обрадовался, дочка, увидав в моем саду первый целинный хлопок! «Права моя Айкиз! — сказал он, повеселев. — Мы еще увидим в этой степи белое хлопковое половодье! А внуки наши шагнут в пустыню. Надо только, старый, набраться терпения. Запасешься терпе-

нием — дожденсья, когда зеленые плоды станут сладкой халвой». А сам он был нетерпелив, дочка, и зорек, как степной орел. Молодая была у него душа... — И, уже тише, добавит: — А как он мечтал о внуке, дочка!

Таким, как Умурзак-ата, и после смерти суждена долгая жизнь...

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ
НОЧЬ СМЕНЯЕТСЯ УТРОМ

Все эти дни Айкиз жила как в тумане... Все время она была чем-то занята, выбирала вместе с соседками, во что одеть покойного, готовила плов для гостей, разговаривала с подругами, Михри и Лолой, следовавшими за ней по пятам и безуспешно пытавшимися отвлечь ее от черных мыслей, ходила на кладбище выбирать место для могилы... Много горьких, неизбежных хлопот влечет за собой смерть близкого! Но если бы у Айкиз спросили, что она делала, о чем думала все это время, она не смогла бы ответить. Горе словно сковало мысли ее и чувства, эти несколько дней выпали из ее жизни и памяти.

Вернувшись с кладбища, она села на курначу, разостланную у окна, и, задумавшись о чем-то, долго-долго, не отрываясь, смотрела на яблони в саду, на тополя и тал, окружавшие хауз, на цветы, украшавшие грядки и клумбы... Тополя сажал отец. За яблонями ухаживал отец. И эти розы, крупные, пышные, тоже выращены отцом. Отца не стало, но он был во всем, на что смотрела Айкиз. Как наяву, увидела она его таким, каким видела в последний раз: стоит, склонившись над арыком, и движения у него медленные-медленные... Отца нет, а арык все звешит, звенит, словно зовет хозяина вернуться, склониться над чистой водой...

Двор был полон народу, оттуда доносился приглушенный гомон. Люди приходили и уходили. Из компат слышался шорох осторожных шагов. Но Айкиз ничего не замечала, и гости — друзья, родня, соседи, — словно сговорившись, старались не нарушать ее одиночества.

Вечером к ней подошел Алимджан.

— Ложись спать, Айкиз.

Айкиз вздрогнула, растерянно-недоумевающе взглянула на мужа.

— Что?

— Ты устала, Айкиз, поспи немного...

— Ладно,— сказала Айкиз и, помедлив, добавила: — Я не хочу спать...

Алимджан сел рядом, обнял ее, с осторожной лаской притянул к себе.

— Не мучай себя, Айкиз...

Айкиз сняла с плеч его руки, тихо попросила:

— Не надо. Не надо, милый...

— Отдохни, Айкиз.

— Не надо... Не то я расплачусь...

Алимджан поднялся и отступил к двери. На улице смеркалось, тихий сумрак серым пеплом висел в воздухе, в комнате было темно, и от двери Алимджану был виден только горестный профиль жены. Вот сидит она одна, отгородившись незримой стеной от людей и от него, Алимджана, думает о чем-то своем, и он бессилен помочь ей, потому что ей все сейчас чуждо... В целом мире только она со своим горем. Алимджану до слез было жаль ее. Но он не знал, как ее утешить. Он выпел к гостям, которые, по обычаю, оставались здесь на всю ночь. Они сидели в саду на просторной супе, неторопливо попивали чай, негромко, печально переговаривались. У всех на устах было имя Умурзака-ата.

Жену Алимджан решил больше не беспокоить. Пусть побудет одна. Она сильная, она справится с горем. Сам он долго не ложился спать, но усталость взяла свое, и, разместив гостей, Алимджан свалился в постель, приготовленную на полу, и забылся в душном, тяжелом сне...

Ранним утром он поспешил в комнату, где вчера оставил жену, но Айкиз не было. На столе лежала фотография в деревянной рамке, запечатлевшая Умурзака-ата в дни прошлогоднего курултая. Старик был снят во весь рост, на голове красовалась новая чувствская тубетейка, под халатом из черного ластика виден был темный костюм — премия за трудовую доблесть, на только что купленных ичигах блестели только что купленные калоши. Ичиги и калоши подарила отцу Айкиз. На черном фоне халата особенно отчетливо выделялась белоснежная борода Умурзака-ата; лицо его, веселое, улыбающееся, словно светилось, а глаза — мудрые, молодые, добрые. Айкиз, видно, ночью сняла эту фотографию со стены, заплакала над пей и забыла повесить обратно...

Алимджан, водворив фотографию на место, выглянул

в окно. Где же Айкиз? Неужели уже ушла на работу? Он прошел в кухню, потрогал самовар. Самовар холодный... Ушла, даже не выпив чаю! И вчера она тоже целый день ничего не пила и не ела. С огорченной укоризной покачивая головой, Алимджан отправился в сельсовет.

Айкиз не спала всю ночь. Когда за окнами мутно-розово забрезжил рассвет, она встала с курпачи, огляделась, словно не узнавая своей комнаты, и, стараясь не разбудить ни гостей, ни Алимджана, вышла из дому. Она была благодарна гостям за то, что они не тревожили ее ни вечером, ни ночью. Но сейчас ей хотелось побыть совсем-совсем одной.

И после трудной, бессонной ночи Айкиз пошла к заветному роднику Ширшбулаку.

Кишлак еще безмятежно дремал, погруженный в спокойную дрему. В летнюю пору на заре в кишлаке всегда стояла тишина; большинство дехкан дневало и ночевало на полевых станах, а оставшиеся дома еще спали. Но Айкиз сегодняшняя предрассветная тишина показалась особенно многозначительной, непривычно глубокой. «Мертвая тишина... — подумала она, зябко поежившись. — Все вокруг словно вымерло».

По вокруг была жизнь. Сама Айкиз тоже постепенно пробуждалась к жизни. До ее слуха донесся мягкий говор листвы, журчанье воды в арыках, прорытых по обе стороны улицы. Все четче обрисовывались очертания гор, домов, деревьев.

Она шла мимо добротных кирпичных строений, выросших в Алтынсае за последние годы, мимо низких старых лачуг, сложенных из глиняных катышей и окруженных пахсами — глинобитными стенами, через которые перевешивались виноградные лозы. Шла мимо садов, нашептывавших ей свои таинственные сказки... Видела, как кишлак встречается с зарей.

Чудесны зори в Алтынсае! Днем некуда деться от зноя, по вечерам камни, песок, глина дышат печным жаром, накопленным за день, а на заре ничто не напоминает о зное. С гор легкими прозрачными потоками стекает свежий утренний ветерок, лаская мирный, спящий кишлак, от трав и цветов веет росной прохладой. Хорошо на заре в Алтынсае!..

У Айкиз порозовело лицо.

Она уже приближалась к дороге, огибавшей кншлак и пересекавшей ту, что вела с гор к пустыне. Вдруг из крайнего дома вышел Гафур. Ему, видно, тоже не спалось в эту ночь. Завидев племянницу, он поспешил ей навстречу. Лиса вышла заметить следы...

— Салам алейкум, племянница! Куда это ты в такую рань?

Айкиз остановилась, окинула Гафура досадливым взглядом. Вот уж не вовремя попался он на ее пути! Она искала одиночества, думала спрятаться даже от друзей, и тем тягостней была для нее эта неожиданная встреча с Гафуром. Правда, она ничего не знала о последней беседе Гафура с Умурзаком-ата. Она и не догадывалась, что была такая беседа, но именно сейчас, после смерти отца, Гафур, которого она всегда недолюбливала, стал ей особенно неприятен. Что-то настораживающее было и в его лице, к которому никак не шла маска печали и сочувствия, и в голосе, необычно умильным, вкрадчиво-ласковым...

— Ты что ж это, племянница, и поздороваться со мной не хочешь? Все сердисься за тот разговор? Ай-яй, да мало ли что бывает между родичами! Ну, поцарапались — и забудем об этом. Не стоит вспоминать о прошлогоднем снеге. У тебя горе, а твое горе — это и мое горе.

Айкиз слушала Гафура рассеянно, лицо ее выражало нетерпение. Что ему нужно? Обычно Гафур был груб и немногословен. Сейчас он лебезил перед Айкиз, и это усиливало ощущение, что в чем-то он повинен перед ней и теперь тщится загладить свою вину. Может, и он приложил грязную руку к этой злополучной статье?

Гафур продолжал изливаться:

— Тяжкую утрату понесли мы, племянница. Забудем же о былых распрах. Ведь у нас общее несчастье... И нет у тебя теперь родственника ближе, чем я. Поверь, я готов до конца жизни быть твоим заступником, верным твоим слугой...

— Я не хан, мне не нужны слуги.

— Ай-яй, не надо быть такой злой. Я к тебе всей душой, а ты...

На лбу Айкиз собрались морщины, она пристально взглянула на Гафура, задумчиво молвила:

— Хотела бы я заглянуть в вашу душу, дорогой дядюшка... Посмотреть, что там на самом-то деле...

— Не обижай меня, племянница. Душа моя полна мира и скорби. Я одного хотел бы: заменить тебе отца...

Такого кощунства Айкиз не в силах была стерпеть. Лицо ее потемнело, мрачный огонь блеснул в глазах.

Гафур, поняв, что перестарался, вдруг съезжился, прынул в сторону, словно опасаясь, что его могут ударить. Черные хитрые глазки забегали, как у мыши, застигнутой далеко от норы... Своими сладкоречивыми излияниями Гафур не добивался для себя какой-либо корысти, на разговор с Айкиз его толкнула нечистая совесть, но совесть эта гнездилась в мстительной мелкой душонок: Гафуру хотелось не столько обелить себя перед племянницей, сколько обмануть ее, обвести вокруг пальца. Он наслаждался своей способностью лицемерить, но он был плохой актер и переиграл, лишь заронив в сердце Айкиз лишнее подозрение. Увидев, как он отшатнулся от нее, Айкиз усмехнулась. Не сказав ни слова, отвернувшись от самозванного «отца», медленно пошла дальше по дороге. Вскоре она забыла о Гафуре. А он стоял у обочины, провожая племянницу взглядом, полным открытой ненависти. В его глазах и следа не осталось от напускной печали и скорби.

Дойдя до Ширинбулака, Айкиз села на край большого камня и, словно припоминая что-то, провела ладонью по горячему лбу... Зачем она прибрела сюда? Или ей невоготу стало дома и хотелось рассеяться, глотнуть свежего утреннего воздуха?.. Она чувствовала себя бесконечно усталой. Она устала от горя, от людей, от их немного сочувствия, от кощунственной суеты последних дней. А здесь, у родника, всегда спокойно. Это покой живой, естественный, согревающий душу, навевающий светлые воспоминания... Айкиз вспомнилась юность... В те дни так же немолчно и успокаивающе журчала вода родника, шелестели листья деревьев, обступивших камень, шуршала галька на дне ручья. Казалось, звуки эти проникли в сегодняшшний день из дальнего, чудесного прошлого. Но вот слуха Айкиз коснулся еще один звук, нежный и мелодичный, будто это цветы зазвенели под порывом ветра. Это вдалеке, вдоль гор, медленно двигался верблюжий караван, и в такт неторопливому шагу звенел-звенел, покачиваясь на шее последнего верблюда, одинокий колоколец. Цогонщики пели, и в их песне слышалась тихая печаль.

Звон колокольца и песня затихли, растаяли в утреннем воздухе, а из кишлака донеслись новые звуки, ясные и разрозненные, — звуки пробуждения. Хлопнула дверь в чьем-то доме, проскрипели колеса арбы, залаяла собака, надрывно, ошалело, словно желая разбудить весь мир, прокричал петух, спустя минуту с меньшим задором откликнулся другой.

Кишлак просыпался.

И если бы жив был Умурзак-ата, он проснулся бы одним из первых. Проснувшись, постоял бы над спящей дочерью и, не тревожа ее сна, отправился бы к арыку умыться. А потом они, и Алимджап вместе с ними, пили бы чай и разговаривали, как всегда, не о прошедшем, а о грядущем дне.

Отец!.. Как много с тобой связано, как ощутима была для всех жаркая щедрость твоего сердца!..

Умурзак-ата не любил говорить о себе. А Джурабаев однажды рассказал Айкиз, как в трудные годы, когда колхоз не успел еще окрепнуть, встать на ноги, и враги, пользуясь этим, пытались задушить его, устраивая поджоги, пряча драгоценное зерно, распространяя злостные слухи, как в эти годы Умурзак-ата и Кадыров, сплотив вокруг себя бедноту, подняли ее на борьбу с кучкой жестоких и умных негодяев. Враг, сознавая, видно, свою обреченность, шел на все. Это была злобная решимость затравленной волчьей стаи. Умурзаку-ата грозили жестокой расправой. Пытались улестить его, подкупить, перемапить на свою сторону. Но Умурзак-ата держался твердо, мужественно, грудью защищал родной колхоз от вражьих козней, и колхоз выстоял, а его врагов постигла заслуженная кара.

Мужество, смелость, стойкость выковал Умурзак-ата в своих сыновьях Тимуре и Алишере. И они не подвели отца, храбро бились с фашистами на войне и пали в кровавом бою смертью героев — гордые соколы, милые, милые братья! Айкиз до боли отчетливо помнит день, когда чуть охрипший от радостного волнения голос диктора возвестил победу. Все жители кишлака вышли тогда из домов. Пестрый, шумный, ликующий поток разлился по улицам Алтынсая. Одни успели принарядиться по-праздничному, другие выпли в чем были, но у всех был праздничный вид, всех украшали радостные, открытые улыбки, возбужденно блестящие глаза. Во дворах резали бара-

нов, устанавливали над огнем огромные котлы, растапливали сало для плова. Всюду гудели, дымили сверкающие на солнце самовары. Песни широкими волнами катились из конца в конец кишлака. Люди поздравляли, обнимали, целовали друг друга. Лишь те, у кого семьи в войну поредели чуть не наполовину, сидели дома, прятали от людей свое горе, чтобы не замутить ясного праздника. Айкиз тоже сидела дома. Она и радовалась счастью Отчизны, и не могла удержаться от слез...

Отец в День победы был в горах, но, видно, почувствовало его сердце, какой великий праздник наступил для народа. К вечеру неожиданно для Айкиз он вернулся. Увидев плачущую дочь, нахмурился, постоял с минуту на пороге в тяжком раздумье, подошел к Айкиз и требовательно, с укоризной сказал:

— Нельзя так, дочь, нельзя. Переоденься, пойдем к людям. В такой день надо быть вместе со всеми. Мы разделим общую радость, а люди поймут наше горе... У народа все общее: радость, успех, беда.

За руку он вывел ее на улицу. Их захватил праздничный водоворот, на душе стало легче, к скорби примешалось чистое чувство гордости за братьев, память о которых свято чтит в Алтынсае.

«А как утешал ты меня, отец, когда ушла от нас мать, свет нашего семейного очага!.. Себя же ты утешал неустанной работой в поле, любовью людей, любовью к людям! Люби труд, дочка, учил ты меня, труд делает человека сильным, мудрым. Рыба живет в воде — человек в труде. Люби правду, правда приближает нас к цели. Люби свой народ, всегда будь с людьми, пусть станут они твоей заботой и опорой. Так говорил ты мне, отец, и сам всегда был с людьми. Ты помогал им, а они тебе. Ты был правдив и честен и трудился — всю жизнь трудился — радостно и самозабвенно. Это никогда и никем не забудется. Никем и никогда!»

Айкиз подняла голову, взгляд ее упал на цветы, на травы, привольно разросшиеся вокруг озерца и по берегам ручья. Чем ближе к роднику, тем гуще была зелень, сочнее стебли, крупнее соцветия. Сколько поколений цветов вспоил, вырастил родник! В мае здесь всю землю покрывали желтые и алые тюльпаны, в июне теснились у воды стройные бархатно-лиловые фиалки. Цветы жадно пили влагу и солнечный свет, радовали людей дикой, не-

тропутой своей красотой и увядали, а родник, маленький и сильный, журчал, журчал, с неизбывным, скромным упорством пробиваясь из-под камня на волю — творить жизнь. Долго ему еще журчать, а когда он иссякнет, люди все равно добром будут вспоминать его, и останется за этим уголком на веки вечные прежнее его имя: Сладкий родник...

«Память народа крепка и благодарна. И ты, отец, будешь вечно жить в народной памяти, и дочь твоя никогда-никогда тебя не забудет, постарается быть достойной твоей наследницей, всю твою жизнь перескажет твоему внуку, который так тебя и не увидит...»

Айкиз вдруг зарделась, смутившись этой мыслью о будущем своем сыне. Самой себе боялась она признаться, что в пей уже теплилась слабым, разгорающимся огоньком жизнь еще одного наследника Умурзака-ата. В последнее время у нее часто кружилась голова, к горлу подкапывала легкая дурнота... И сейчас Айкиз пришлось схватиться рукой за камень, чтобы не упасть. Но она даже обрадовалась своей внезапной слабости: это ее ребенок давал знать о себе. «Отец, бедный отец, ты совсем немного не дождал до того дня, когда исполнилась бы заветная твоя мечта!»

Как мечтал Умурзака-ата о внуке! Как дожимал он молодоженов ласковыми, грубоватыми своими шутками! Перед тем как Айкиз и Алимджан поженились, он поехал в город и привез оттуда целую гору игрушек — «чтоб не забывали молодые... хе-хе... о святом своем долге». Он спрятал игрушки в сундук и, когда бывал в веселом настроении, подмигивая Алимджану, говорил со вздохом:

— Ох-ох, придется мне, видно, нести сундук на базар. Посмотри, зятек, тяжел оп?

Нет, пригодятся теперь его игрушки, только не он подарит их внуку... Айкиз припомнились последние слова Умурзака-ата: «Наши сердца как цветы: трепещут под первым ветром...» «Вот и отцвело твое сердце, отец... Подул холодный ветер и погасил еще один костер. Как же надо беречь людские сердца от холодных ветров!»

Вдруг Айкиз вспомнила о своем первом и о своем недавнем разговоре с Гафуром, о статье в газете, вспомнила, хотя, казалось, прежде и не заметила этого, как подставлял плечо под гроб с телом отца папыщенный, равнодушный ко всему Султанов. Почему пришло ей это на па-

мать, почему воспоминапия об отце связались так неожиданно и случайно с этими досадными, неприятными воспоминаниями? И случайно ли?

Спокойней, Айкиз! Пусть мысль твоя обретет привычную трезвую ясность! Ведь это очень важно — понять, как все случилось, с чего началось то, что закончилось так трагически...

Ты не можешь простить себе, что в тот роковой день отпустила отца в поле. В горе люди, потерявшие близких, всегда в чем-то винят себя, растравляя ноющие раны. И ты все повторяешь про себя: «Я не уберегла отца! Не уберегла...» Но подумай, могла ли ты удержать отца дома, в постели? Можно ли удержать человека, страстно желающего доказать свою правоту? Ты бы лучше разобралась, Айкиз, почему, из-за чего, из-за кого пришлось Умурзаку-ата доказывать то, что было так ясно и ему, и тебе, и многим алтынсайцам.

Был план освоения целины. Были у этого плана противники. Была песчаная буря. И появилась статья в газете. И все это можно было свести к одному: была борьба.

А ты знаешь, что такое борьба, Айкиз? Это ведь не только стычка различных идей, различных точек зрения. В борьбу неодолимо вовлекаются человеческие судьбы, и линия фронта проходит через наши сердца. Сражаются армии, сражаются противоборствующие идейные лагеря, сражаются несогласные одна с другой группы, а гибнут, страдают, мужают и торжествуют люди, у каждого из которых лишь одно, и не железное, а живое сердце, болью откликающееся на все, что происходит вокруг. Так бывает при любой борьбе, какой бы безобидной ни казалась она на первый взгляд.

Ты сражалась за целину, а в это время у тебя дома случилась горькая, непоправимая беда. Есть ли связь между этими, такими разными, событиями? Есть, Айкиз! И недаром ты вспомнила о Гафуре, Юсуфни, Султанове, который, возможно, стоит за спинами твоих явных противников.

Ты сжала кулаки, уперлась ими в нагретый камень и вдруг с холодной ненавистью произнесла: «Убийцы!..» И сама испугалась этой мысли, закрыла глаза ладонью, словно прогоняя страшное наваждение...

Не слишком ли далеко зашла ты, Айкиз, в своих раздумьях? Невольной причиной гибели старого хлопкороба

были и те, о ком ты сейчас думала, но, если бы они оказались при твоём разговоре с отцом, если бы знали о его намерениях и о его болезни, они сами помогли бы тебе сохранить отцу жизнь и здоровье... Все это сложно, Айкиз! Помни одно: твой отец пал, как воин в бою.

Верная его памяти, ты продолжишь сражение. У тебя теперь ожесточены разум и сердце. Ты будешь биться еще яростней, расчетливей, чтобы избежать новых жертв, скорей достигь победы, которая принесет дехканам счастье. Ты будешь биться, не жалея сил. Но одной тебе не справиться, Айкиз. Ты знаешь это. Зачем же ты убежала, спряталась от людей, без которых ты как капля дождя в пустыне? Они, может быть, уже ищут тебя, ждут твоего совета, сами собираются что-нибудь сделать! Алтынсайцы не из тех, кто любит сидеть сложа руки. Ты хотела уснокониться? Но пужен ли тебе покой? Тебе сейчас нужно окрепнуть духом, а это приходит только в труде, в борьбе, на людях. «Всегда будь с людьми, дочка,— говорил тебе отец.— Они — забота твоя и опора...» Следи к ним, Айкиз! Твое горе — это и их горе, их победа и радость будут твоей победой и радостью.

Айкиз поднялась с камня. Да, она должна быть с дехканами, с Погодиным, Керимом, Михри, Бекбутой, Смирновым, старым Халим-бобо. Но сначала она зайдет к Джурбаеву. Напрасно не позволила она ему в тот вечер, когда прочла статью. Ей ведь есть о чем поговорить с Джурбаевым. Она потребует от него решительных действий, а он подскажет ей, как лучше поступить, предостережет от возможных ошибок, скажет, верны ли выводы, к которым она пришла.

Айкиз освежила лицо водой из родника и зашагала прочь. Долго слышала она за собой самозабвенную песнь ручья, песнь о вечном, неиссякаемом торжестве жизни.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ СЛОВО ЗА ДЕХКАНАМИ

В это же утро старый Халим-бобо, поднявшись спозаранок, поспешил в сад, заложенный возле нового поселка. Смерть давнего друга, Умурзака-ата, отвлекла садовода от забот о саде. Надлежало наверстать упущенное.

Халим-бобо шел по пустынной улице нового кишлака,

уже ожидавшего новоселов. На улицах, перед кирпичными зданиями клуба и сельсовета, нежно зеленели первые деревья. Их вырастил и пересадил сам Халим-бобо. Как рачительный хозяин, он старался украсить новый поселок зеленью, чтобы порадовать будущих хозяев кишлака. И сад он им подарит такой, что никому не захочется расстаться со своим новым жильем.

Сад оправился от бури. На яблонях, грушах, урюковых и персиковых деревьях распушилась зелень, деревья быстро шли в рост. Напоминанием о буре остались лишь мелкие дырочки на «старых» листьях, изрешеченных, словно дробью, колючим песком.

Деревца еще не обзавелись раскидистыми ветвями, стволы были еще тонки, и Халим-бобо, используя каждый свободный, незатепленный клочок земли, посадил в саду дыни, арбузы, лук, помидоры, пахучие травы. В одном из уголков сада, на маленьком, не больше гектара, участке, рос у него хлопок: Халим-бобо высеял его здесь, дабы доказать маловерам, что и на степной целине при хорошем уходе хлопок будет чувствовать себя не хуже, чем на старых полях. Хотя хлопок этот посеяли поздно, хотя и навалилась на него песчаная буря, но уже зарозовели на кустах первые цветы. Не так давно, когда в саду в последний раз в жизни был Умурзак-ата, Халим-бобо показал ему зацветающий хлопок. Умурзак-ата торжественно воскликнул:

— Вот видишь!

Халим-бобо тогда не удержался от улыбки. Умурзак-ата говорил с ним так, будто это он, Халим-бобо, сомневался, что на целине может расти хороший хлопок.

Он предложил Умурзаку-ата вместе ухаживать за хлопком на этом участке. С каким удовольствием принял старик это предложение!

— Приходит в дом молодой, — вспомнил он народную поговорку, — берется за работу, а старик — за еду. Не знаю, как ты, дорогой, а я стариком себя не считаю: работе радуюсь больше, чем самому жирному плову.

Он тут же пустил воду из арыка в междурядья и долго не уходил из сада. Его лицо выражало горделивую радость и раздумье...

Не наведается больше Умурзак-ата в этот сад, не придется ему убирать первый целинный хлопок...

«Надо показать хлопок дехканам, — подумал Халим-

бобо. — У них спокойней станет на душе». Он решил навестить бригады Бекбуты и Керима, но больше всего ему хотелось похвалиться «своим» хлопком перед Муратали: после покойного Умурзака-ата он был самым искусным хлопкоробом и самым близким другом Халим-бобо.

Лола еще не приходила; она или была вместе с Айкиз, или возилась в эмтэсовском саду, над которым взяла добровольное шефство. Старик решил не ждать ее, выкопал один из самых крупных кустов хлопчатника, спрятал его под широкую полу белого халата и запагал к старым полям...

Туда же этим утром держал путь и Погодин. Он часто сам объезжал полеводческие бригады, выяснял у бригадиров, чем может помочь им МТС, советовался с ними, как лучше и в какое время удобней провести обработку участков тракторами, окучниками, культиваторами.

По дороге на полевой стан Погодин встретил Суванкула. Тракторист, уловив часок, свободный от работы, шел к своему другу Бекбуте посмотреть, как трудится его бригада. Друзья, правда, виделись накануне, на похоронах Умурзака-ата, но там было не до разговоров и тем более не до шуток, а им не терпелось побалагурить, сойтись в дружеском поединке, где оружием служила острая, как клинок, аския.

Погодин остановил свой мотоцикл.

— Садись, Суванкул. Подвезу.

Суванкул окинул мотоцикл критическим взглядом и, вздохнув, пробасил:

— Пожалей свою машину, директор!

— Ничего, ради такого героя я готов рискнуть даже мотоциклом!

— Тогда пожалей меня!

— Ты-то чем рискуешь?

Лицо тракториста расплылось в широкой довольной улыбке. Радуюсь поводу пошутить, он пояснил:

— Ведь мне придется нести на себе твою машину, если я попробую на нее сесть!

Погодин, сделав вид, что перепугался, торопливо завел мотоцикл и, махнув Суванкулу рукой, крикнул:

— Не буду испытывать судьбу, еду один. Догоняй.

Мотоцикл быстрее джейрана помчался вперед, а Суванкул широким шагом двинулся следом...

Так получилось, что в то утро, когда Айкиз наедине со своим горем и своими думами сидела у родника, на поле-вом стане, общем для трех бригад — Муратали, Бекбуты и Керима, — собрались многие из ее друзей.

Первыми явились сюда Муратали и Михри. Старик считал, что бригадиру и звеньевой стыдно приходиться в поле, когда все остальные дехкане уже в сборе. «Не бригада должна меня встречать, а я — бригаду», — часто говорил он дочери. Ночевали они не дома, а в Алтынсае, но Муратали по давней привычке чуть свет уже был на ногах. Они пришли на полевой стан даже раньше обычного.

Полевой стан, недавно обновленный, казался островком в море дружно цветущего хлопка. Ближе к краю обширной, с притоптанной травой площадки высплось простое, но красивое в своей простоте строение под легкой шиферной крышей. В одной из его половин, закрытой, размещались обычно дети, которых матери брали с собой на работу. Другая половина напоминала по виду просторную, открытую с трех сторон террасу. Здесь всегда было свежо, уютно, на столах лежали газеты, журналы, книги, от столба к столбу тянулся яркий кумач лозунгов. Позади строения прятался хауз, окруженный ивами, молодыми, но уже дающими тень. Неподалеку лоснился под утренним солнцем ровный, асфальтированный прямоугольник хирмана, где во время сбора складывали хлопок. Перед строением разноцветными огнями горели цветы. Рядом с цветником находилась доска, на которую кнопками прикрепляли свежие номера газет. Сейчас там висела уже успевшая пожелтеть от солнца газета со статьей Уткыра. Михри удалось посмотреть ее только мельком, до конца статью она так и не прочитала, а разговоры вокруг статьи за эти дни не было: о другом думали, о другом говорили алтынсайцы. Теперь же Михри, поджидая колхозников из своего звена, подошла к газете и внимательно прочитала статью. Чем дальше она читала, тем строже, суровой сдвигались ее брови. Накопец широкие их концы слились на переносице в пушистое темное пятнышко.

Муратали, сидя на скамейке, точил кетмень. Дочитав статью, Михри резко повернулась к отцу и, еле сдерживая слезы и возмущение, тихо сказала:

— Отец! И не стыдно вам?..

Муратали положил брусок на скамейку и непонимающе уставился на дочь.

— Ты о чем? Мне, слава аллаху, нечего стыдиться.

Он все еще не опомнился от событий последних дней. Вид его был печален, сосредоточен, задумчив... Он ответил спокойно, без обычной своей ершистости. Но Михри это спокойствие показалось вызывающим...

— Как, отец? В вас и теперь не заговорила совесть? Как же это вы одним говорите одно, другим — другое? Вы же всегда хвалили Айкиз за то, что она надумала поднять целину! Вы же...

— Постой, дочка! Я ведь и не отказываюсь от своих слов.

Михри приложила пальцы к губам и с каким-то испугом посмотрела на отца. В глазах у нее блеснули слезы, слезы обиды, боли, недоумения. Она любила отца за прямоту, за непоколебимую честность, а он, оказывается, способен на лицемерие. Он кипул камень в Айкиз, а теперь прячет руки за спину. Чуть не рыдая, Михри воскликнула:

— Значит, вы не побрезговали заведомой клеветой, чтобы досадить Айкиз, отомстить ей — уж не знаю за что!

Муратали наконец не вытерпел, раздраженно стукнул кетменем о землю.

— Что ты плетешь! Какая змея тебя ужалила?

— Ложь и клевета страшней змеиного яда! — Михри показала рукой на газету. — Что вы наговорили Уткуру, отец?

Муратали еще не читал газеты со статьей «Исидонима». Он пожал плечами и, успокоившись, ответил:

— Я сказал ему, что ноги моей не будет в новом кишлаке. И тебе говорю: старый халат, пусть с сотней заплат, милей нового...

— Айкиз не заставляла вас переселяться!

— Верно, — миролюбиво согласился старик. — Не заставляла. И не может заставить. Так я и сказал Уткуру.

— Так и сказали? А это что? Тут черным по белому написано, — и Михри вслух прочла: — «Действия Умурзаковой, продиктованные ее административным рвением, осуждают лучшие хлопкоробы Алтынсая. Один из прославленных бригадиров, Муратали, жаловался, что Умурзакова превышает свои права. «Умурзакова гонит нас с земли предков», «Буря чуть не погубила хлопок», — эти высказывания скупого на слова бригадира звучат как суровый приговор всей деятельности Умурзаковой, не считающейся с интересами дехкан».

Муратали не верил своим ушам. Он подошел к дочери и сам прочел статью. На стане уже начали собираться дехкане. Пришли Керим, Погодин, Бекбута, Халим-бобо, Суваккул... Когда Муратали оторвался от газеты, он увидел устремленные на него глаза односельчан, строгие, недоумевающие. Михри тоже оглянулась и, опустив голову, прошептала:

— Стыдно перед людьми, отец...

Муратали растерялся. В первые минуты он не нашелся даже, что возразить. Тем, кто читал статью, бригадир и впрямь мог показаться соучастником, единомышленником недругов Айкиз. Уткыр приводил его слова, и слова эти — или почти такие же, как эти, — действительно были им сказаны. И все-таки то, что написал о нем газетчик, было неправдой — неправдой от начала до конца. Муратали хотел объяснить дехканам, как все было на самом деле, но подумал: «Если дочь мне не верит, поверят ли остальные?» Он обвел собравшихся просящим о доверии взглядом и, заметив в толпе Керима, почему-то решил обратиться к нему.

— Ты читал эту статью, Керим?

Юноша молча кивнул.

— И ты веришь тому, что там сказано обо мне?

— Нет, Муратали-амаки, — твердо произнес Керим. — Я не верю ни одному слову Уткыра.

Муратали облегченно вздохнул и продолжал:

— Ты же знаешь, старый Муратали никогда не кривил душой. Я могу накричать, поспорить, а лгать я не умею, Керим. Ложь — страшнее змеиного яда. Так сказала моя дочь, а слова эти я вложил в ее сердце. Помнишь, Керим, ты пришел ко мне с умным советом, а я прогнал тебя прочь? Так вот, я все-таки сделал, как ты говорил, и не стыжусь в этом признаться. Я всем готов повторять: «Керим — хороший хлопкороб, не грех иной раз послушаться его совета!»

Муратали сейчас не был похож на себя, он не требовал, не ворчал сварливо и несговорчиво, а оправдывался... Он дорожил своим честным именем, ему хотелось убедить всех, что он ничем не занятым это имя.

— И слышишь, Керим? Слышите, люди добрые? Клянусь своей честью, клянусь честью своих предков, этот длинноногий Уткыр возвел на меня напраслину!

Но Муратали не дали договорить. Из толпы откуда ни

возьмись вывернулся Гафур и, встав перед своим бригадиром, неодобрительно покачал головой и произнес елейным, уличающим голосом:

— Ай-яй, дорогой Муратали... Что же это ты валишь с большой головы на здоровую? Я тебе друг, я очень уважаю тебя, но... — Он повернулся к дехканам и ударил себя кулаком в грудь. — Но правда для меня дороже дружбы! Я и под мечом говорил бы только правду! Я видел — и все видели, — как наш уважаемый бригадир беседовал с уважаемым Юсуфием...

— Он приходил ко мне. Верно. Но...

— Ага! — торжественно воскликнул Гафур. — Вы беседовали! И если ты наговорил ему бог весть что, так зачем же от этого отречься? Ты уж держись своих слов, расскажи нам, за что ты оклеветал мою несчастную племянницу.

— Ты же не слышал, о чем мы говорили, Гафур, — как-то беспомощно произнес Муратали. — У меня и в мыслях не было того, что приписал мне этот нечестивец...

Гафур язвительно ухмыльнулся.

— Никто и вправду не слышал, о чем вы толковали. И никому не дано узнать, что у тебя были за мысли. Может, праведные, а может, и нечестивые. Ты не обижайся на меня, дорогой, за правду, но как ты докажешь...

Однако Гафуру не удалось закончить свою обличительную речь. Вперед выступил Погодин. Он дружелюбно улыбнулся Муратали и сказал, адресуясь не столько к Гафуру, сколько к дехканам:

— А Муратали-амаки не надо ничего доказывать. Мы верим ему. Я было подумал сначала, что Муратали-амаки попался на удочку Юсуфия, но если он говорит, что Юсуфий вывернул его слова наизнанку, значит, так оно и было. Я убежден, что этот борзописец, не сумев заручиться поддержкой дехкан, постарался выдать желаемое за действительное.

— Эй, эй, директор! — крикнул Гафур. — Легче на поворотах! Не клевети на партийную печать!

— Мы уважаем партийную печать, — возразил Погодин, — это наш голос, голос народа. Вот потому-то наш прямой долг — срывать маски с клеветников и газетных лихачей, пробравшихся в редакции и позорящих звание советского журналиста!

— А, директор, ты говоришь так потому, что Юсуфий погладил кой-кого против шерсти.

— Юсуфий выступил по вопросу, в котором и не пытался разобраться. Кто-то, видно, насовал ему за пазуху пустых орехов! В его беседе с Умурзаковой чувствовалась явная предубежденность. Со мной он и вовсе не захотел разговаривать. Он поет с чужого голоса, друзья. Вместо того чтобы поддержать вас в вашем смелом начинании, он бросил камень на дорогу, по которой вы идете к счастливой, зажиточной жизни.

— Верно, Ивап Борисыч! — откликнулся из толпы Бекбута. — Уткыр метил в Айкиз, а попал в нас!

— Еще неизвестно, в кого он метил!

— Айкиз вместе с нами всегда для общего дела старалась!

— Она нам добра желает!

— Уткыр писал с закрытыми глазами!

— Не дадим в обиду Айкиз!

— У него очки темные, мешают видеть!

На скамейку вспрыгнул Керим, заговорил, стараясь перекрычать расшумевшихся дехкан:

— Да что вы заладили: «Уткыр, Уткыр!» А не приложил ли к этой статье руку наш уважаемый раис? Он вцепился нам в халаты и хочет оттащить нас от целины! Он показывает всем бурю, о которой мы уже и думать забыли, через увеличительное стекло: глядите, мол, какая страшная, дехкане перед пей — букашки!

— Он нас не только бурей стращает!

— Он-то, наверно, и толкнул под локоть этого Уткыра!

— Раису самому страшно, вот он и нас пугает!

— Разве мы слабей и трусливей ферганцев и мирзачульцев?

— Эй, Бекбута! — прогремел раскатистый бас Суванкула. — Ты был в Фергане, видел, какие там кипят бои, вот и провел бы политбеседу с Кадыровым.

— Бекбута, расскажи, что ты там видел.

— Я рассказывал. Там тоже наступают на пустыню. А в пустыне солп — как в шурпе у плохой хозяйки! Ферганцев это не пугает! Я видел хлопок в пустыне. Видел новые кишлаки. Видел сады — там, где недавно рос только камыш, в котором бродили кабаны.

— Уж кабанов-то, верно, распугал наш храбрый Бекбута! — сказал Суванкул, и все расхохотались.

— А помните, — снова вступил в разговор Керим, — помните, что говорил нам Джурбабаев об освоении Голодной степи?.. На штурм Мирзачуля двинулись герои-дехане из Ташкента, из Кашкадарьи и Сурхандарьи, из Ферганы и Самарканда! Им тоже пришлось несладко. А теперь недавние пустыни превратились в хлопковые поля, в цветущие сады, и живут повоселы так, что позавидуешь! И верцо тут кто-то сказал: что же, мы хуже других, что ли?

— Михри! — одернул дочь Муратали. — Что ты на него так уставилась? Срам!

А со всех сторон уже неслись взволнованные выкрики:

— Это только Кадыров считает, что мы хуже!

— Уткыр и Кадыров забыли, видно, о подвигах наших соседей...

— Дырявая у них память!

Погодин поднял руку, призывая дехкап к тишине.

— Спокойней, спокойней, друзья! Мы так размитниговались, что нас, наверное, в горах слышно. Значит, вы думаете, что у Кадырова плохая память? А по-моему, дело посерьезней. Еще в прошлые годы я предлагал ему подумать о механизации большей части полевых работ. Кадыров тогда возражал: у нас, мол, земли с ладошь, зачем нам механизация, зачем бить из пушек по воробьям? Обойдемся и кетмепем, это штука надежная, проверенная. Кетмень кормил наших дедов и прадедов, кетмень помогал им выращивать первосортный хлопок. Об этом, как видите, Кадыров помнит! Теперь же, когда говоришь с ним об освоении новых земель, он начинает плакаться: сил у нас мало, рабочих рук не хватает. В каждом из этих случаев возражения раиса как будто и резонны. Если мало земли, то и впрямь не к чему расходовать на нее технику. Слабоват колхоз — так ему, конечно, не до целипы! А сшибите-ка лбами эти высказывания Кадырова — и вы убедитесь, что он сам себе противоречит! Земли мало? Так осваивай новые! Рабочих рук не хватает? Так добавь к их силе стальную мускулатуру техники! Если поднатужимся, друзья, и поднимем в этом году целицу, в будущем я двину на ваши поля всю энтээсовскую технику. Тогда вы увидите, как мудро и предусмотрительно мы поступили, подготовив под хлопок новые земли! Мы соберем невиданные урожаи. А кетмень, за который так держится раис, сдадим за ненужностью в музей.

— Туда ему и дорога!
— Скорей бы, директор!
— Пускай ранс приходит в музей любоваться кетменем!

— У него-то небось не болят плечи после работы...

— А мы изберем другого ранса, тогда и Кадыров хлебнет лиха.

— Верно! Засиделся он в председателях.

Погодин замахал руками, успокаивая дехкан, и с улыбкой предупредил:

— Не горячитесь, друзья. Такие дела с маху не решаются. Вы это обсудите между собой, обдумайте, закиньте аркан подальше!..

Но Погодина, на правах старшего, перебил молчавший до сих пор Халим-бобо:

— Чего же тут думать, сынок? Дехкане смотрят в одну сторону, а председатель — в другую. Мы однажды хотели с ним распротиться, да нас уговорили повременить. Сам ранс тогда бил себя в грудь, клялся горой стоять за новое! Помнишь это собрание? Нынче новое опять поднирает, а ранс, забыв о своих клятвах, снова пятится от него, как рак... Я старик, я многое видел в жизни, я дал бы нашему рансу три совета. Я бы сказал ему: сидя на верблюде, гляди вперед, а не назад. Не отбивайся от парода, без него ты как рыба без воды. Одна лошадь ныли не поднимет, а поднимет, так похвалы не дождетя. И еще бы я ему сказал: пока не поздно, уступи свое место другому, а себе попроси работу по силам.

— Верно, Халим-бобо!

— Спасибо за мудрые слова!

Погодина радовала горячность дехкан, радовала готовность защитить от клеветы тех, кого они считают правыми. Радовала уверенность в своих силах — уверенность хозяев, подлинных хозяев колхоза. Погодин не предполагал, что они так ожесточены против Кадырова. Об этом следует сообщить Джурабаеву. А сейчас надо подсказать дехканам, как отвести угрозу, нависшую над планом освоения целины. Он подождал, пока уляжется шум, и спокойно посоветовал:

— Как поступить с председателем, вы потом решите. Давайте подумаем, как добиться, чтобы этот вот выстрел, — он кивнул на газету, — оказался холостым.

— Напишем опровержение!



— Пусть наш парторг пойдет к Джурабаеву и скажет ему, что думает народ об этой статье.

— Где Алимджан?

— Он у себя в бригаде.

— Идемте к Алимджану!

— Так все сразу и пойдём? — засмеялся Погодин. — А может, поручим это двум-трем дехканам, а остальные примутся за работу? Вон где солнце-то!

Муратали посмотрел на небо, озабоченно сдвинул брови и шагнул к дехканам из своей бригады.

— Директор дело говорит. Пора за работу.

— А кто пойдет к Алимджану?

— Бекбута.

— Керим!

— Иван Борисыч!

— Халим-бобо!

— Муратали-амаки!

— Нет, я не пойду, — возразил Муратали, — у меня и в поле дел хватит. Пусть идет Бекбута, он партийный. Я присмотрю за его участком. Пусть Иван Борисыч идет. И Халим-бобо. — Он обернулся к садоводу и строго молвил: — Ты про все расскажи Алимджану. Потребуй, чтобы они с Джурабаевым пристыдили Псидонима Уткира. И пускай Уткир напишет это самое... как оно зовется... опровержение.

— Опровержение, Муратали-амаки, — поправил его Погодин.

— Я и сказал: опровержение.

Халим-бобо лукаво усмехнулся и зачем-то потрогал халат на груди.

— А оно уже есть, дорожке. — Он достал из-за пазухи куст хлопка и, как знамя, поднял его над головой. — Вот оно — опровержение! Это, дети мои, целинный хлопок.

Радость и восхищение загорелись в глазах Погодина.

— Вот мы и отдадим его Алимджану, а он Джурабаеву. Это лучшее из всех опровержений! А разве это, — он показал на хлопковые поля, где кусты были уже по колено, а от цветов рябило в глазах, — разве эти поля не опровержение?

Бекбута подмигнул дехканам, потряс в воздухе кулаком и воскликнул:

— Богатырская сила наших дехкан — тоже опровержение!

Дехкане начали расходиться по своим участкам. По-годин отшел в сторону Муратали, а потом Керима и о чем-то посовещался с ними. Бекбута, распределив работу среди деххан из своей бригады, искал Суванкула, нагрянувшего к нему «в гости» в такое неурочное время.

Тракторист, чуть нагнув крутые плечи, уперев в бока огромные кулачищи, стоял у доски с газетой и читал статью. Читал он ее впервые. До этого только слышал о ней краем уха и потому, шумя, протестуя и негодуя вместе со всеми, чувствовал себя неловко: что ж это он шумит и возмущается статьей, которую в глаза не видел? В разгар общего разговора о статье, о целине, о Кадырове он, нахмурившись, подошел к газете. За что ни брался Суванкул, все он делал увлеченно и в то же время не спеша, сосредоточенно. Статью он тоже читал вдумчиво, забыв обо всем, шевеля губами, как школьник, заучивающий наизусть трудное стихотворение. Он настолько забылся, что не заметил даже, как закончился стихийно возникший митинг.

Бекбута подкрался к Суванкулу и хлопнул его по плечу ладонью. Тракторист вздрогнул от неожиданности и оглянулся растерянно и оторопело...

— Ай, какой ты стал нервный, Суванкул,— сочувственно произнес Бекбута,— какой пугливый! До тебя и дотронуться нельзя. За что только тебя называют богатырем? Сердце у тебя прыгает, как у зайца, загнанного охотником...

Дехкане, оказавшиеся поблизости, встретили шутку Бекбуты одобрительным смехом. Смех этот подстегнул Суванкула, тракторист посоветовал:

— Не выкраивай мне рубаху по своей мерке, Бекбута. Не тебя ли я испугался? Да ты сам из тех героев, у которых, стоит вспорхнуть воробью, выскакивает на губах лихорадка.

— Какой храбрец! — с ироническим изумлением воскликнул Бекбута.— А положишь ему руку на плечо, так он дрожит всем телом.

Но и Суванкул не полез за словом в карман.

— Я думал, что это муха села. Хотел ее согнать. Смотрю, а это болтун Бекбута, который работает больше языком, чем руками!

Бекбута самодовольно надулся.

— Э, друг, вы там, на целине, потому и спите так спо-

койпо, что я тут тружусь, как вол! Пока я жив — можешь опираться на меня, как на гору.

— Спасибо, Бекбута. Ведь на гору способен опереться только великан.

— До великана тебе далеко, дорогой друг, — вздохнул Бекбута, смерив тракториста скептическим взглядом. — Ты больше похож на медлительный верблюжий караван: путь, какой ты проделаешь за месяц, я успеваю пройти за день.

— И, как пулемет, вываливаешь за день столько слов, сколько другому хватило бы на месяц!

— Верно, дорогой. Я успешно справляюсь и с этой нагрузкой. Не то что ты: пока выжмешь из тебя четыре слова, лето уже сменяется осенью.

У друзей хватило бы пороха на долгий словесный поединок. Это были люди веселой богатырской силы. Они могли шутить даже в самые горькие или серьезные минуты.

Погодин позвал Бекбуту:

— Закругляйся, бригадир! Идем к Алимджану.

— Ты не обождешь меня? — спросил Бекбута Суванкула. — Я скоро.

— Нет, дорогой, пора работать. Я не такой лодырь, как ты.

Довольный, что последнее слово опять осталось за ним, Суванкул повернулся к Бекбуте спиной и отправился во-свояси, а Бекбута, Халим-бобо и Погодин по тропинке, пересекающей хлопковые поля, двинулись на участок к Алимджану.

Они рассказали ему о стихийном митинге алтынсайцев, передали их просьбу: известить обо всем Джурабаева, настоять на разборе этой истории со статьей и на привлечении клеветников к партийной ответственности.

Алимджан задумался. Он стоял перед Погодиным, покусывая губы, брови его, сросшиеся на переносице, нависли над глазами сплошным черным карнизом.

— Что тут думать, Алимджан! Пока осторожный расчитывает, решительный свершает задуманное. Бери свой мотоцикл и дуй в район.

— Понимаешь, Иван Борисыч...

— Нет, не понимаю.

— Видишь ли, в чем дело... Я ведь, в сущности, должен защищать Айкиз?

— В статье говорится именно о ней, и именно за нее

хотят вступиться дехкане. А ты как партийный руководитель обязан потребовать от их имени, чтобы все, что на-сочинял Юсуфий об Айкиз, было всенародно признано клеветой.

Алимджап мялся.

— Так-то оно так... Но для дехкан Айкиз — председа-тель сельсовета, а мне она — жена.

— Жена-то, сынок, родней всех на свете, — заметил Халим-бобо. — Жена тебе самый близкий друг. А за друга ты должен в огонь и в воду...

— А потом тот же Юсуфий напишет, что партийный секретарь колхоза «Кызыл юлдуз» выступил в роли адвоката собственной жены!

— Пусть напишет! — разозлился Погодин. — На каж-дый чих не наздравствуешься. Народ поверит тебе, а не ему. Статья-то клеветническая?

— Что ты на меня кричишь? Ну, клеветническая. Так не в этом же дело.

— Только в этом! А все остальные соображения — по-боку. Защищая Айкиз, ты выступишь не как адвокат, а как друг и как принципиальный коммунист, которого должна возмущать любая клевета, кого бы она ни касалась.

— Меня и так уже обвинили в семейственности.

— Кто обвинил-то? Партия? Товарищи? Клеветник же и обвинил, а ты перепугался. Выходит, если на меня кто поклеп возведет, ты тоже от меня шарахнешься? Мол, Погодин мне друг, как бы не сказали, что я защищаю его из дружеских чувств. А дружеские чувства — великое дело! И если друг твой неправ, ты из дружеских чувств обязан осадить его. А если прав, дерись за него, как лев! Так я говорю, Халим-бобо?

— Твоя правда, сынок. Жизнь наша вся на дружбе за-мешана. Есть, дорогие, старая восточная притча. Спроси-ли одного мудреца: «Что дороже золота?» — «Дружба», — сказал мудрец. «А что крепче железа?» — «Дружба», — снова сказал мудрец. «А что сильнее бури?» И мудрец воскликнул: «Дружба сильнее бури». Так за кого же еще и драться, как не за друзей?

— И еще учти, Алимджап, — вставил Погодин, — статья бьет не только по Айкиз. Смотри на это дело шире!

Алимджапу ничего не оставалось, как согласиться. Он и сам начинал понимать, что его щепетильность может

быть истолкована как трусость — трусость равнодушного. А он не был ни равнодушным, ни трусливым.

Когда они возвращались на полевой стац, где Погодин оставил свой мотоцикл, Иван Борисович тронул Алимджана за локоть.

— Отстанем немного, ты мне нужен на два слова.

— Опять будешь распекаать? — засмеялся Алимджан. — Я все, все понял, Иван Борисыч!

— Все ли, Алимджан? Ты прости, что я вмешиваюсь в твои семейные дела. Но мне кажется — обижаешь ты жену...

— Чем же это?

— Своим певнимашем. Мне Лола рассказывала: когда Айкиз подолгу не видит тебя, ходит — словно в воду опущенная. А не видит она тебя порой целыми сутками. Где она сейчас?

— Она всю ночь не спала, просидела у окна... Утром я зашел к ней, а ее уже нет... И в сельсовете тоже нет...

— Эх, ты! Сам-то небось спал, как сурок?

— Я на погах еле держался. Сам понимаешь: такой был день...

— А я бы не смог уснуть, — задумчиво и как-то мечтательно проговорил Погодин, — и подолгу не видеться с Лолой тоже не смог бы. И нигде не задерживался бы, если бы договорился с ней о встрече. Вот женимся — только о ней, кажется, буду думать...

— А работа?

— И работать станет легче!

— Смотрю я, Иван Борисыч, крепко же ты влюблен в Лолу! Повезло сестренке.

— А ты уже не любишь Айкиза?

— Что ты, Иван Борисыч! — Алимджан покраснел и, доверительно взяв Погодина под руку, признался: — До сих пор влюблен! Как мальчишка...

— Только стесняешься проявлять свои чувства? Боишься уронить мужское достоинство?

— Да нет... — Алимджан крепко потер ладонью затылок. — Дел до черта! Как уйдешь в них, обо всем забываешь.

— Так... Не дружат, значит, у тебя личное и общественное. А когда ты в докладах призываешь к слиянию сих начал, наверное, соловьем разливаешься? Говорить-то ты умеешь красно, складно.

— Погоди, Иван Борисыч! Вот ты, положим, обещал Яоле встретиться с ней в два часа ноль-ноль минут. А у тебя — дела. Что же, ты бросишь все и побежишь к своей невесте?

— Нет. Постараюсь управиться со всем побыстрее и не побегу, а полечу! Ведь у Айкиз, Алимджан, дел не меньше, чем у тебя. Но у нее почему-то остается время и на встречи с тобой, и на тоску, когда тебя нет...

Алимджан молчал. А когда они пришли на полевой стан, он бросился к мотоциклу, торопливо завел его и помчался в район к Джурабаеву.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ
НА СЕРДЦЕ СВЕТЛЕЕТ

Быстрый Байчибар — огонь и ветер! — одолел путь до района часа за полтора. Айкиз прибыла в райком как раз вовремя: Джурабаев уже был на месте и еще не успел никуда уехать.

В приемной Айкиз столкнулась с Султановым. Он вышел от Джурабаева с толстым роскошным портфелем под мышкой, хмурый, озабоченный. Но едва он заметил Айкиз, на его лице, словно он нажал какую-то кнопку, вспыхнула начальственно-благожелательная улыбка.

— А, Умурзакова! Салам алейкум!

Айкиз молча кивнула и хотела уже было пройти в кабинет Джурабаева, но Султанов задержал ее:

— Куда торопишься? Джурабаев от тебя не уйдет, он, как говорится, всегда на посту. А мне надо с тобой потолковать.

— А мне надо потолковать с Джурабаевым.

— Ай, колючка ты, Умурзакова! Впрочем, грех на тебя обижаться, у тебя неприятности, а они ожесточают сердце...

— Неприятности? — тихо, с затаенной враждебностью переспросила Айкиз, которой казались кощунственными и улыбка Султанова и его равнодушно-бойкие слова.

— Ну прости, не так выразился. Я глубоко сочувствую твоему горю. Все скорбят вместе с тобой. Ты видела: на похоронах твоего отца было все руководство района!..

Айкиз взглянула на Султанова так гневно, что тот отступил, улыбка его на мгновение сделалась оторопелой,

растерянной... Но он тут же взял себя в руки, лицо его приняло официально строгое выражение, и, уже не улыбаясь, Султанов сухо сказал:

— Вот что. Как председатель райисполкома, я имею право требовать отчета у своих подчиненных. Мне надо поговорить с тобой. Я не уверен, что ты, как председатель сельсовета, правильно понимаешь свои функции. Пресса уже сигнализировала об этом. После Джурабаева зайдешь ко мне. Я буду в райисполкоме.

Еще крепче прижав к себе портфель, он резко толкнул дверь в коридор. Айкиз, стиснув зубы от негодования, прошла к Джурабаеву. Джурабаев встал из-за стола, поздоровался, заботливо усадил Айкиз в кресло напротив своего стула и, заметно волнуясь, ероша короткие волосы, проговорил:

— Это хорошо... что ты пришла. Я знаю, как тебе тяжело, Айкиз. Но я был убежден, что ты придешь. Нам о многом надо поговорить и подумать. Верно?

— Да...

— Хорошо, что ты нашла в себе силы прийти в райком! — повторил Джурабаев. — Ты хочешь знать мое мнение о статье Юсуфия?

— Мне совет ваш нужен. Только не думайте, что я пришла за заступничеством!

Джурабаев усмехнулся:

— Заступничество! Глупое слово, Айкиз. Когда в дни войны враг пытался прорвать линию фронта на каком-нибудь одном участке, мы все вместе отражали его напор. И это не называлось заступничеством. Это называлось чувством локтя, взаимной выручкой. Хочу заранее ввести тебя в курс дела: статью мы в райкоме уже обсудили, поддержка тебе будет оказана. Я говорил с редактором, на днях они дадут мою статью, которая, надеюсь, окажется убедительным противовесом грязной кляузе Юсуфия. — Джурабаев снова поднялся и, расхаживая по кабинету, в каком-то сердитом недоумении произнес: — Черт их знает, как они решились действовать через голову редактора? Как отважились выступить с материалом, в котором есть выводы и, по сути дела, нет фактов! На что они надеялись? Кому хотели пустить пыль в глаза?

— Я тоже этого не понимаю. Не понимаю, что делает их такими резкими и решительными.

— Решительными или наглыми?

— Нет, решительными. Наглость — это другое... У них же есть уверенность в своих силах.

— Или ощущение своего бессилия? Мне думается, этот последний их шаг — от бессилия, от отчаяния. Быку, говорят, перед убоем и топор не страшен. Все другие средства испробованы и не дали пока нужного результата. А отступать нельзя. Поздно уж отступать. Вот они и ухватились за эту статью.

Джурабаев не мог долго оставаться в одной позе, в одном положении. Жесты его были щедрыми, резкими, краспоречивыми, черные горящие глаза придавали лицу энергичное выражение, а подвижные морщинки вокруг глаз то темнели, то лучились добротой, то снова выражали строгость, серьезность или вдумчивость.

— Ты посмотри, на кого ссылается Юсуфий, — продолжал Джурабаев. — Кто этот Молла-Сулейман? Не тот ли любитель пиров, который в трудную минуту бросил свою бригаду и ушел на поминки?

— Тот самый. Колхозники давно требуют снять его с бригадирства, но Кадыров и слышать об этом не желает.

— Это и понятно: для колхозников он бездельник, а для Кадырова, видимо, союзник. А союзников у него не так-то уж много, надо их беречь, надо им потрафлять. А что представляет собой Назакатхон? Мне правленцы жаловались, что секретарша она никудышняя. Кто рекомендовал ее на работу?

Айкиз покраснела.

— Я сама рекомендовала ее Кадырову.

— Ну вот! Нашла кого рекомендовать!

— Она расплакалась у меня в кабинете...

— И разжалобила тебя? Ай, Айкиз! Основанием для рекомендации должны все-таки служить не слезы, а деловые качества человека. Ты до этого хорошо знала Назакатхон?

— Она, по-моему, неплохая девушка. Веселая, добродушная, общительная. Не понимаю, что побудило ее написать письмо в редакцию.

— Что или кто? Ты пробовала в этом разобраться? Эти твои «не понимаю» меня не устраивают, Айкиз! Назакатхон, кажется, дочь Аликула, председателя совета урожайности. Что ты о нем можешь сказать? Прошное у него, я слышал, с пятном?

— Не судить же о людях по их прошлому.

— А я этого и не говорю.

— Аликул работник опытный и добросовестный. Он у нас на хорошем счету.

— А не слишком ли ты доверчива, Айкиз?

— Н-не знаю...

— Кстати, почему ты не пришла ко мне сразу после разговора с Юсуфием? Ведь он же говорил с тобой?

— Говорил. Но я не поняла, куда он клонит. Правда, тон у него был, как у следователя, которому все уже ясно.

— И это тебя не насторожило? — Джурабаев покачал головой. — Как ты еще неопытна, Айкиз! Ты ведь и сама во многом виновата. Об одном не предупредила, на другое не обратила внимания, в третьем проявила излишнюю доверчивость...

Айкиз испытывала странное ощущение. Джурабаев, в сущности, распекал ее — мягко, но достаточно требовательно и даже придирчиво, не обращая внимания на ее подавленность. Он упрекал, вишил, выговаривал, и — удивительное дело! — чем больше распекал ее Джурабаев, тем большее она чувствовала облегчение. Слова его, в которых не было снисхождения к ее горю, пробуждали в ней силу, бодрость, спокойствие. Она распрямила спину, выше подняла голову, а в глазах ее светилась живая заинтересованность.

— Значит, вы думаете, что Пазакатхон действовала по чьему-то наущению?

— Определенно! Я убежден, что и Юсуфий подставное лицо.

— Кто же тогда писал статью?

— То есть чья рука водила пером Юсуфия? А кому, по-твоему, выгодна эта статья? Кому не по душе паша «затя» с освоенным целиной? Султанову, Кадырову и их подпевалам. Они и организовали статью, в этом я ни на мигу не сомневаюсь!

— Султанов был у вас сегодня?

— Был. И пытался отстаивать некоторые положения статьи. Он считает, что ты превышаешь полномочия, которые дает тебе твоя должность. Сельсовет, мол, не мипистерство, не райком, не правление колхоза, у сельсоветчиков свои заботы, свои «специфические» функции, и не их дело заниматься экономическими, производственными вопросами. Он так и сказал: «Умурзакова сует нос не в свое дело, и молодец Юсуфий, что вовремя ее одернул».

— Вот как! Значит, я должна только разбирать жалобы и прошения да заботиться о благоустройстве кишлаков?

— Ты?.. В том-то и дело, что не только ты. Стараясь искусственно ограничить твои права и задачи, Султанов думает прежде всего о себе. Он и с райисполкома хотел бы сложить часть забот и обязанностей. Больше почета, меньше ответственности — вот его идеал! Но народ, выбирая лучших людей в сельсоветы, в райсоветы, не только оказывает им уважение и доверие, он делает их своими слугами. А служить народу — это значит всем интересоваться, все предпринимать, чтобы людям жилось краше и лучше! Только так можно оправдать доверие народа.

— Султанов велел мне зачем-то зайти к нему.

— Сходи. Он, пожалуй, тоже пожелает как-то откликнуться на им же организованную статью. Возможно, сообщит в редакцию, что им «приняты меры». Это придаст статье некоторую солидность. А «принять меры» — это значит сделать тебе соответствующее внушение. Что ж, поговори с ним. Держись смело и уверенно. И обязательно дай мне знать, что он там замышляет. Черт побери, с такими людьми всегда так: закатываешь рукава для честной, открытой, принципиальной борьбы, а тебя втягивают в интриги...

Джурабаев пристроился на подоконнике, достал папиросу, закурил. Дым сизой струйкой потянулся на улицу. Перед самым окном покачивалась тяжелая яблоневая ветка. Яблоки еще не созрели, но были уже размером не меньше чем с яйцо. Джурабаев высунулся, сорвал яблоко, надкусил, поморщился:

— Кислятина! Тебя не буду угощать, пощажу.

Айкиз задумалась и даже не слышала шуток Джурабаева.

— Я вот в чем никак не разберусь... — медленно произнесла она. — Что заставляет их так упорно сопротивляться нашим планам? Искренни они или кривят душой?

— Видишь ли... — Джурабаев спрыгнул с подоконника, пододвинул стул и сел рядом с Айкиз. — В какой-то мере они искренни. Они искренне хотят жить без лишних хлопот.

Айкиз с сомнением покачала головой.

— Так все просто?

— Нет, все, конечно, гораздо сложнее! Они ловко мас-

кируют причины своего сопротивления. Они и себя обманывают, прикрываясь вескими на первый взгляд аргументами. Преувеличивают трудности, возникающие при каждом начинании. Этими объективными трудностями запугивают и других и себя. Но если все упростить, привести к общему знаменателю, то две основные противоборствующие позиции можно будет определить так: жизнь для народа — и жизнь для себя.

— Кадыров ведь много сделал для колхоза. И сейчас старается вывести его на первое место.

— Во-первых, напрасно ты апеллируешь к прежним заслугам Кадырова. Ты видишь в нем одного из основателей колхоза, самоотверженного, бескорыстного борца за народное счастье. Я тоже давно знаю Кадырова. Он был умелым руководителем. Был! Но сейчас-то он уже другой. Он зазнался. Он мнит себя не слугой народа, а этаким благодетелем. Он уже требует плату за свои старания: славу, почет, определенные привилегии. Как говорится, оторвался от масс, больше считается со своим мнением, чем с мнением колхозников. К нему теперь не подступись: он — «хозяин» колхоза! И ему нравится быть хозяином! Он начинает жить для себя, работать не на благо народа, а в угоду своему тщеславию и властолюбию, которое подогревают в нем мелкие людишки, льстецы, подхалимы или даящие его своей благосклонной дружбой «высокие покровители» вроде Султанова. — Джурабаев замолк, видимо, подыскивая нужные слова для характеристики Кадырова. — Да, он работает, не сидит сложа руки, в этом ты права. Но жить для себя — это не значит предаваться сладкой лепи. В последние годы трудится он вполсилы. Цели у него ограниченные. Благодетели любят оказывать благодеяния такие, чтобы не очень себя обременять: и за то, мол, скажите спасибо. Главное для Кадырова — формальное выполнение плана: и совесть спокойна, и от критики застрахован. Он может даже перевыполнить план, чтобы заслужить почет от дехкан, похвалу от районного и областного начальства! Но план-то он вымаливает для себя заниженный, перевыполняет его всего на несколько процентов. Большого ему и не нужно. Не колхозу не нужно, а именно ему, Кадырову.

Мне как-то рассказывали об одном силаче, спортсменетежелоатлете, — усмехнулся секретарь райкома. — Хитрющий был товарищ! Каждый год он устанавливал новый

рекорд и превышал прежний, принадлежавший ему же. И упивался овациями, портретами в газетах, денежными вознаграждениями. У него достало бы сил выжать сразу десять килограммов сверх прежнего рекорда, а он выжимал в год по килограмму. Расходовал силы осторожно, расчетливо, соблюдая свою корысть. Так было и спокойней и доходней. Вот этого тяжелоатлета напоминает мне Кадыров. Казалось бы, есть за что его похвалить: вчера его колхоз дал хлопка больше, чем позавчера, а сегодня больше, чем вчера. Под мудрым руководством своего раиса колхоз идет вперед. Хвала и честь раису! Но что за шаги у колхоза? Не широкие и смелые, а мелкие, осторожные. По принципу: тише едешь — дальше будешь.

Айкиз в знак согласия кивнула головой. Джурабаев заметил это и с твердой убежденностью продолжал:

— От борьбы за новое Кадыров отгородился успокоительной отговоркой: «Раньше было хуже». А дехкане считают, что и сейчас они живут не так, как могли бы! Они не хотят оглядываться назад, их взоры, сердца, мысли устремлены в будущее! Да, несколько лет назад в Алтынсае совсем не было хлопка. Да, жизнь была не такой зажиточной, как теперь. И это великолепно, что колхоз изо дня в день наращивает богатство! Но наращивает понемногу, медленно, хотя, высвободив из-под спуда скрытые резервы, он в силах был бы собирать урожаи не на три-четыре процента, а в три-четыре раза больше прежних! Освоение целины плюс широкое использование техники плюс правильная организация труда — все это дало бы нам возможность сделать большой бросок вперед, намного приблизить то будущее, о котором мы пока говорим как о «далеком», но которому не всегда же быть будущим! А Кадыров уговаривает людей устроить привал. Вот и посудите, о ком он больше думает: о народе или о себе?

— Но, может, он боится риска? У него, видно, нет той уверенности в успехе, которая есть у нас.

— Он не риска боится, он боится, что ему в случае неудачи шлепнут выговор, а то и вообще лишат председательского места, председательских привилегий. Он осторожен из побочных соображений. Если бы он думал о пользе дела, он пошел бы и на риск! Вот ты — ты ведь не боишься, что провал нашей «затен», как называет ее Кадыров, может навлечь неприятности лично на тебя?

— Если нужно будет, я готова принять на себя любые

удары. Только я верю в удачу. Ведь освоением алтынсайских земель мы отвечаем на призыв партии и правительства. Нас поддержат в Ташкенте, обязательно поддержат!

— И я в это верю. Твердо верю, хотя и сознаю, что порой нам может быть очень туго. Жизнь вокруг нас бушует светлым, искрящимся потоком, но и на чистой волне еще вскипает иногда мутная пена. Ведь сознание иных людей еще не освободилось от накипи прошлого. Нам придется бороться и за них и против них, тратя на это немало сил, даже неся потери... Но у нас есть нержавеющее, разящее наповал оружие — ясность цели, сознание собственной правоты. У нас мудрый, испытанный, видящий далеко вперед полководец — партия. Мы частица непобедимой армии — народа. Уж он-то знает, кто ему друг, а кто враг, что для него хорошо, а что плохо. Я разговаривал недавно с колхозниками из «Кызыл юлдуз»... Да ведь ты была при этом разговоре! И знаешь, очень мне понравилось построение алтынсайцев, их энтузиазм, боевитость. Как трезвы их суждения, оценка происходящего! Из таких разговоров извлекаешь для себя много, неопределимо много полезного.

— Отец всю жизнь учил меня: всегда будь с людьми. Отец... Как я теперь без него?

— Только не плачь, Айкиз. Не надо плакать.— Джурабаев, как ребенка, погладил ее по голове.— Всегда думай, всегда помни об отце! Но не падай духом. Будь достойна своего отца, Айкиз!

— Я... я никак не могу поверить, что его нет... Даже домой страшно возвращаться!

— Ты не одна, Айкиз. С тобой друзья.

Айкиз ушла от Джурабаева, приободренная его простыми, задушевными словами. Ей казалось, что перед ней старший брат. «Помни, Айкиз,— говорил он,— партия подняла народ на великое дело — расширение земель под хлопок. А любое великое дело побеждает в борьбе. И грязная статейка Юсуфия лишь подтверждает извечную истину: старое, отживающее всеми силами мешает становлению нового в жизни». Эти слова Джурабаева, его дружеская откровенность помогли ей по-иному взглянуть на людей и события. Мысли обрели четкость, целеустремленность. Ей уже не терпелось попасть в Алтынсай, приняться за дела, которые она запустила, пройти по полям, побывать на целине, в новом поселке. Вот только голова

опять кружилась, как на рассвете, когда она сидела у родника...

Айкиз вышла на крыльцо и встретилась... с Алимджаном! Он только что спрыгнул с мотоцикла и, увидев жену, радостно и удивленно воскликнул:

— Айкиз!

Айкиз медленно спустилась к нему по каменным ступеням.

— Ты зачем сюда, Алимджан?

— А я так искал тебя, Айкиз! Мы все там из-за тебя переволновались. Ты от Джурабаева? А я к нему. Понимаешь, наши дехкане устроили сегодня коллективное обсуждение статьи Юсуфия и послали меня к Джурабаеву: скажи, мол, что мы не дадим в обиду нашу Айкиз!

Алимджан говорил возбужденно и сбивчиво, с необычной для него горячностью, а смотрел виновато, ласково...

— Ты сегодня не ходи к Джурабаеву.

— Обязательно пойду! Мне поручили добиться, чтобы райком принял меры и клеветникам дали по рукам!

— Алимджан, друг ты мой верный...— тихо, благодарно сказала Айкиз.— Любимый мой... Ты не беспокойся, Джурабаев сам сделает все, что нужно. А я... а мне...— Она вдруг пошатнулась и, чтобы не упасть, ухватилась за плечо Алимджана.

— Что с тобой, Айкиз?

— Ничего... Это пройдет. Просто я устала... и потом...— Она глубоко вздохнула и, доверчиво прильнув к мужу, зашептала ему то, что порывалась рассказать уже несколько дней.

Лицо Алимджана расплылось в глупой, счастливой улыбке.

— Айкиз! Это правда?

— Тише, Алимджан... Не надо больше об этом...

— Так едем, Айкиз. Я лишь на минутку заскочу к Джурабаеву. Просто скажу, что приеду завтра... Ведь о поручении народа нельзя забывать даже в такой счастливый час. Ты позволишь, любимая, на минутку отлучиться?

— Ты всегда у меня такой, Алимджан, мой единственный,— улыбнулась Айкиз.— Иди, у меня тут тоже дела. Султанов просил зайти.

— Никаких Султановых! Посмотри, какая ты бледная. Тебе надо отдохнуть, отлежаться. Хочешь, я на руках отнесу тебя в Алтынсай?

Айкиз слабо улыбнулась.

— Нет, лучше поедем... Иди, я жду тебя...

Вскоре Алимджан уже сбегал с крыльца.

— Садись на мотоцикл и держись за меня крепко-крепко. Джурабаев такой замечательный человек, такой...

И, не досказав, какой замечательный человек секретарь райкома, Алимджан бережно усадил жену на сиденье, уселся впереди сам, и мотоцикл помчал их в родной Алтынтай.

— А как же Байчибар? — вдруг воскликнула Айкиз, когда они уже выезжали на дорогу.

— Давай вернемся и оставим его у кого-нибудь в поселке, — предложил Алимджан, — завтра я ведь буду здесь и заберу...

В этот раз мотоцикл изменил своему горячему, вихревому праву: послушный заботливым рукам Алимджана, он двигался медленно, осторожно объезжая выбоины, — казалось, он плыл по дороге...

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ

КАДЫРОВ СКЛАДЫВАЕТ ОРУЖИЕ

Кадыров вернулся из района злой и угрюмый. Словно рапеный медведь, забился он в беседку, высившуюся посреди двора возле арыка, и крикнул жене, чтобы принесла закуски и водки. Это убежище, где любил отдыхать и пиршествовать Кадыров, не было беседкой в полном смысле этого слова: просто с двух сторон супы в землю были вкопаны высокие колья, на них положены рейки, и этот деревянный остов оплетали виноградные лозы, образуя над супой открытый с двух сторон зеленый шатер.

Далеко было Кадырову до Султанова! И двор у него меньше, и дом попроще, и дворовые постройки бедней, бесхитростней. Правда, после войны раис перестроил свою усадьбу: сломал старое жилище, на его месте возвел новый четырехкомнатный дом из жженого кирпича под шиферной крышей. Подновил подсобные помещения, дувал сделал повыше, соорудил беседку. Пока во всем Алтынтае не было дома и двора лучше, чем у Кадырова. И все-таки до Султанова Кадырову было далеко...

И жена у Султанова моложе и приглядней. Адолят тоже еще не старуха, по лицу у нее увядшее, желтое, как

солома, сама сутулится, семенит по-старушечьи. Не поймешь, отчего так рано состарилась: ест вдоволь, одевается не хуже других, целыми днями дома, на работу мужа ее не пускает. Живи да радуйся! Хлопот, верно, и дома хватает, он ей поблажек не дает, по жене затем и берут, чтобы она вела хозяйство, заботилась о муже да рожала ему наследников. Адолят зато не чета прочим женщинам Алтынсая — она жена раиса! Ей бы гордиться этим, цветами пышной розой, а она сохнет, дурнеет, всегда покорная, унылая. И пугливая — словно ее вот-вот ударят. И целыми днями молчит. Рядом с Назакатхон она подобна обломанной шелковице, растущей возле стройного тополя.

Когда Адолят принесла в беседку бутылку водки и ужин, Кадыров даже не взглянул на нее, не сказал ей ни слова. Он наполнил стакан, выпил, крикнул, отправил в рот сочный огурец. По жилам разлилась блаженная теплота, на душе стало легче. Но злоба не утихала. Она сделалась даже непримиримей, воинственней. Кадыров сам себе казался богатырем, храбро отбивающим наскоки завистников и хулителей.

В район он ездил по вызову Джурабаева. И Джурабаев завел разговор опять об этой проклятой джугаре!

Раис согласился посеять на вспаханных целинных землях джугару, только бы отвязаться от приставаний Алимджана. Первомайцы ухаживали за посевами, выкопали заблаговременно силосные ямы, а Кадыров и в ус не дул. И Джурабаев устроил ему сегодня головомойку. Он не читал Кадырову нотаций, он только задавал вопросы, по в вопросах этих звучали и недовольство, и суровый упрек. Каково состояние поздних культур, высеянных на целине? Кто за ними приглядывает? Подготовлены ли силосные ямы для хранения кормов?

Кадыров в ответ бормотал что-то невразумительное и лишь теперь, наедине с собой, обрел обычную боевую самонадеянность.

«Далась же вам эта джугара, товарищ Джурабаев, будто нет у меня, кроме нее, других забот! Что верно, то верно, на эти поля я не заглядываю. А что мне там делать? Государство ждет от нас хлопок, о хлопке я и пекусь. Пусть Умурзакова, если ей нравится, днюет и почует на целине. А мне эта целина — как кость в горле! Не хочу я, товарищ секретарь райкома, чтобы меня, как Умурзако-

ву, пропесочивали в газетах, нет, не желаю! Вы все на первомайцев киваете... А мне они не указ, я еще ни к кому не ходил на выучку. Я и других могу поучить! Вам мой завфермой не нравится? Для кого-то он, может, и плох, а я на него не в обиде. Дай бог всякому иметь под рукой такого исполнительного помощника! Это верно, о силосных ямах он не позаботился. Он в этом ни черта не смыслит. А зачем нам силосные ямы? Рузы-палван приучил колхозных коров к соломе, и ничего: жуют, не жалуются. Всем бы вот так: довольствоваться тем, что есть. А вы хотите запрячь меня сразу в три арбы! И придираетесь на каждом собрании: Кадыров такой, Кадыров этакий... Приелась всем ваша критика, как льняное масло. Не заставьте вы меня в одно и то же время петь, и плясать, и на дутаре играть! Ешь плов — так не жуй пальцы!»

Размышления Кадырова прервал скрип калитки. Он выглянул из беседки и увидел Гафура. Гафур тоже был под хмельком. Ступив под зеленый навес, он вытащил из кармана бутылку и с размаху поставил ее перед Кадыровым.

— Выпьем, раис! Душа горит. Хочу с тобой выпить!

— Разошелся! — сердито осадил его Кадыров и отодвинул бутылку. — С какой это радости?

У Гафура сузились глаза, он злобно прошипел:

— С какой радости, говоришь? погоди, я и тебя обрадую...

Кадыров хмуро посмотрел на гостя, на лбу у него вспучилась грозная складка.

— Говори, что стряслось?

— А ты не слышал?

— Не тяни душу! — Кадыров стукнул кулаком по суне. — Ну!

— Устроили сегодня базар твои колхозники. Грозятся дать тебе отставку!

Кадыров насупился, шея у него побагровела, покрылась потом, глаза налились яростью.

— Что плетешь!..

Гафур рассказал об утреннем «митинге» дехкан, а Кадыров угрожающе протянул:

— Вот ка-ак! Зна-аю, кто мутит народ! Только мы еще поглядим, чей будет верх! И уж тогда всем... всем от меня не поздоровится! — Он удрученно помотал головой. — И Муратали туда же, старый шакал! — И, вдруг потемнев



лицом, крикнул: — Бездельники! Лодыри! Надо об урожае думать, а они болтовней занимаются!

— Больше всех шумели Бекбута и Керим, — услужливо подсказал Гафур и, с удовольствием выслушав новую порцию угроз и брани, добавил: — А Погодин на этом базаре был вроде как за председателя.

— И Погодину не поздоровится! Дадут им по рукам в обкоме — не удержаться ему в МТС!

— А если не дадут? — ехидно спросил Гафур.

У Кадырова сникли плечи, он мрачно буркнул:

— Тогда уж нам... Тогда нам не сдобровать! На этот раз мне пощады не будет. А ну налей-ка водки! Адолят! Адолят, куда ты там провалилась? Живо еще закуски!

Адолят подала им лепешки, салат из огурцов, помидоров и лука, кавардак — жаркое из бараньего мяса, сюзму.

— Угощайся, Гафур, — хмуро предложил Кадыров. — Закуска как раз под водку, а водка — под настроение...

Некоторое время пили молча. Совсем захмелев, Кадыров стал жаловаться:

— Вот она, Гафур, людская-то благодарность. Спихнуть меня хотят, а? Наслушались сказок Умурзаковой, неугоден им теперь Кадыров!

— Такой у нас народ, раис! — вздохнул Гафур. — Кто больше наобещает, за тем и идут...

— Верно. Верно, Гафур! Задурила она им головы!.. А я разве не мог насылить им горы золота и молочные реки? Мог бы, Гафур, да совесть не позволяет! Я не фантазер, а практик. Практик! У меня тр-резвый взгляд на вещи! — Он пьяно икнул. — А они меня... они меня — на свалку!

— Ай, не расстраивайся, раис! С тобой друзья, они тебя не покинут.

— В-верно, Гафур! Я вас тоже не дам в обиду. Х-ха!.. Рузы-палван им пришлось не ко двору! А мне он друг. И Аликул друг! И ты, Гафур, друг! Дай я тебя обниму, Гафур!

На дворе стемнело. Зажгли электрическую лампочку, свисавшую над супой. Неяркий свет матово заиграл на кистях винограда, уже набухающего прозрачными соками. Тихо шуршали листья над головой. Тихо журчал ручей, словно увещевая полуночников. Но долго еще звучали в беседке пьяные голоса, и в одном слышалась то бурная злоба, то жалость к себе, а в другом — вкрадчивая лесть и злорадование.

Глубокой ночью Кадыров, пошатываясь, проводил гостя до калитки и, не заходя в дом, побрел к кровати, стоявшей на берегу арыка. Он упал на нее, не раздеваясь, но, хотя и чувствовал хмельную усталость, уснуть не мог. В затуманенном сознании вспыхивали и гасли обрывочные мысли. Одна вспыхивала чаще и жгла сильнее остальных.

Почему отвернулись от тебя дехкане, Кадыров? Что же, они, как мухи на мед, падки только на сладкие обещания? А может, глаза у них зорче твоих, и мысль просторней, и крепче вера в то, что задуманное сбудется? Эй, раис, опомнись, не отбивайся от тех, кто вместе с тобой строил колхоз!

Но поздно отступать!.. Покается он перед дехканами, а ему скажут: «Что же это ты явился на готовенькое? Целину мы вспахали, хлопок вырастили, ты нам вставлял

палки в колеса, а теперь торопишься к дележу праздничного пирога, который сам же и мешал печь?» Так или иначе, а скovyрнут его с председательского кресла. Поздно, раис! Поздно, поздно.

Утром Кадыров проснулся разбитый, ослабевший, как после приступа малярии. Голова трещала, будто ее сжимали железными обручами. Ни о чем не хотелось думать, ничего не хотелось делать. Он, кряхтя, слез с кровати, поплескал в лицо водой из арыка и, выпрямившись, крикнул:

— Адолят!

Адолят не отзывалась.

— Адолят!

Жена наконец показалась в дверях. Кадыров уставился на нее очумелым взглядом. На ней было простенькое, поношенное платье, выцветший темный жакет, голова повязана белым платком. На плече покоился кетмень.

— Это еще что за фокусы! Принеси-ка мне водки опохмелиться.

Адолят молча удалилась и вскоре вышла из дома со стаканом водки в руках. Кадыров осушил его залпом, вытер губы и, кивнув на кетмень, спросил тоном, не предвещавшим ничего доброго:

— Куда это ты?

— В поле...

— В по-оле? — Кадыров захохотал. — Вои ты какая стала сознательная! А у мужа спросилась?

— Стыдно сидеть дома... — потупив взор, ответила Адолят. — Все работают, а я...

— А твое место дома! Положи кетмень, откуда взяла! Адолят подняла голову.

— Если вы меня не отпустите... я в сельсовет пойду!

Кадыров сжал кулаки, лицо побагровело, на лбу собрались крупные складки.

— Вои кто сбивает тебя с пути! Опять Умурзакова! Ну, погоди! — Он потряс кулаком перед посолом жены. — Ты у меня забудешь дорогу и в сельсовет и в поле.

Адолят отшатнулась, крикнула дрожащим голосом:

— Вы... вы мне не грозите! Вы председатель колхоза, коммунист! Стыдно вам!

Кадыров устало опустился на кровать, сжал руками голову... Вот до чего дошло — собственная жена взбунтовалась!

— Принеси водки! — приказал он.

— Пусть Назакатхон поит вас водкой, а мне пора в поле!

Адолят круто повернулась и, страхась оглянуться, направилась к задней калитке, выходящей прямо в поле. Кадыров не остановил ее. Он был слишком потрясен всем, что случилось за эти два дня.

Адолят шла торопливо, кетмень дрожал на ее плече. Она боялась мужа. Кадыров редко бил ее, но и ласки она от него не видела. В его повелительном голосе всегда звучали пренебрежение, равнодушная уверенность в том, что каждое его слово — закон для Адолят. Жить было обидно, тяжело! До замужества Адолят была жизнерадостной девушкой, ловкой в труде, веселой на досуге, а попав в дом к Кадырову, зачахла, как цветок без воды. Душой она давно противилась своей сытой, с виду даже благополучной, но тупой жизни, от которой никому не было пользы. А тут еще Назакатхон... Не раз Адолят пыталась усовершенствовать мужа, слишком часто встречавшегося с молоденькой, ветреной секретаршей, но он отмахивался: «Выдумываешь, жена!» Какие же выдумки, когда, пригласив однажды в гости Султанова, Аликула и Назакатхон, муж на глазах у Адолят обхаживал эту бесстыдницу, а она жеманилась и хихикала... Пет, не сладка была жизнь у Адолят. От людей ей приходилось держаться в сторонке. Выпужденная отчужденность от общих дел, от общего труда больше всего томил Адолят. Вчера возле калитки она повстречалась со старым Халим-бобо. Он жил неподалеку, но она давно не бывала у него дома, и старик, попрекнув ее этим, радушно пригласил в гости.

— Заходи, соседка! Угощу дынями с целинной земли!

— Как-нибудь найду, — уклончиво ответила Адолят.

Халим-бобо покачал головой.

— Нехорошо прятаться от людей, Адолят. Без людей — как без солнца. Ты еще молода, а гляди, какой стала. А почему? Потому что все одна да одна.

— Скучно, тоскливо мне, Халим-бобо! — неожиданно прижалась Адолят.

— Скука — дочь безделья.

— У меня хозяйство на руках...

— Ты лишь для мужа стараешься, а постарайся для всего колхоза — и пройдет твоя тоска! Я вон уж стар, да не сижу дома. Молодею в труде, соседка! Взяла бы и ты кетмень — да к людям, в поле!

Слова Халим-бобо запали глубоко в душу Адолят. Когда вечером к ним пришел Гафур, Адолят призадумалась: почему это прежде у них было полно гостей, колхозники запросто заглядывали к своему раису, а теперь из уважаемых людей навещаются только Султанов и Аликул? И ей приходится прислуживать голодному волку Гафуру да толстому Рузы-палвану, а с остальными дехканами встречаться лишь на улице, стараясь поскорей пройти мимо. Нет, довольно ей жить с опущенной головой.

Так случилось, что тихая, безропотная Адолят, которая только плакала, когда ее бранил муж, и утешала себя хлопотами по дому, вдруг решила надерзить Кадырову и впервые за всю свою замужнюю жизнь поступила по-своему. Айкыз тут была ни при чем. Но Кадыров, оставшись один, мрачно размышляя о случившемся, винил во всем Айкыз, эту непоседу, взбаламутившую весь колхоз. Дорого бы он дал, чтобы она оступилась! Однако он уже чувствовал, что не на нее, а на него надвигается беда. Статья Юсуфия — ничто в сравнении со вчерашним митингом дехкан и сегодняшним бунтом Адолят! Прислушаются к голосу дехкан в обкоме, поддержат Умурзакову — и пожалуйте, почтенный раис, к ответу!

Кадыров прошел в дом, отыскал водку и опять, как вчера вечером, забрался в беседку...

С этого дня он перестал выходить на работу, сказавшись больным. Его позвали на заседание сельсовета, где обсуждался ход освоения целины, он не пошел. С женой Кадыров не разговаривал, с утра напивался. Аликул посоветовал ему держаться гордо, работать, как прежде: надо, мол, как ни в чем не бывало расхаживать среди волков, а не лезть самому к ним в зубы. Аликулу он мрачно ответил:

— Наслушался я ваших утешений! У меня пынче одна утешительница. Вот! — и постучал ногтем по бутылке...

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ СЕДЬМАЯ НА ОХОТЕ

Через несколько дней, вечером, Кадырову позвонил Султанов. Голос был веселый, беззаботный.

— Не вовремя ты заболел, раис! Ну-ну, не морочь мне голову, знаю я, что у тебя за хворь! Рано повесил нос, до-

рогой. Завтра утречком я к тебе нагряну. Нет, нет, не по делу. Не одними делами жив человек. Возьмем ружьишки и махнем в степь! Как там джейраны, не все еще перебиты? Остались на мою долю? Вот и отлично. Поохотимся, дорогой раис. Это оч-чень поднимает настроение. Жди меня утром.

Кадырову не впервой было сопровождать председателя райисполкома на охоту. Они ездили вместе бить куропаatok, рыбачить. После разговора с Султановым он вызвал Рузы-палвана и послал его в степь, к Шур-Кулю — Соленому озеру, подготовить все для предстоящей охоты.

Султанов наведывался в колхозы реже Джурабаева, и каждый наезд воспринимался и им самим и другими как целое событие...

Если в Алтынсай приезжал Джурабаев, дехкане замечали его тогда, когда он был уже среди них. Приезжал он обычно неожиданно, выходил из машины там, где что-либо привлекло его внимание, осматривал поля, разговаривал с колхозниками. Если ему нужно было повидаться с Кадыровым, Алимджаном или Айкиз, он не спешил в сельсовет и колхозное правление, но всегда получалось так, что он непременно встречался с тем, с кем хотел встретиться: в поле или в клубе, на целине или в МТС. Встречи эти со стороны выглядели нечаянными; казалось, он вообще приезжал в колхоз без какой-либо определенной цели. Однако цель у него всегда была, и все эти «случайные» беседы и встречи помогали Джурабаеву осуществить то, что заранее было задумано.

Случалось, что Кадыров или Алимджап, узнав о его приезде, сами принимались его разыскивать, и тогда он недовольно хмурился и просил:

— Вы занимайтесь своими делами, мпе проводники не нужны.

Больше всего он опасался, что руководители колхоза начнут, как говорится, показывать ему «товар лицом» или, взяв на себя роль навязчивых спутников, помешают вы-знать, чем живут простые дехкане.

В отличие от Джурабаева, Султанов обставлял свои поездки в колхозы если не пышно, то, во всяком случае, солидно. Он заблаговременно предупреждал о приезде. Попад в колхоз, делал только то и обращал внимание только на то, что составляло конкретную цель этого приезда. Нужно было проверить работу сельсовета — он заходил

только в сельсовет. Нужен ему был Кадыров — он виделся с одним Кадыровым, не растрачиваясь «на мелочи», отмахиваясь от всего «постороннего», что порой само лезло на глаза. Бывая от случая к случаю в колхозах, колхозную жизнь он так и не успел узнать.

На этот раз у него были запланированы только охота и разговор с Кадыровым. Встретив по пути направлявшихся в поле дехкан, он и не подумал остановить машину, перебраться с колхозниками хоть словечком. Райисполкомовский «газик» пропылил, нигде не задерживаясь, прямо к дому председателя колхоза. Прихватив Кадырова, Султанов велел шоферу ехать по направлению к Кызылкумам.

Чуть в стороне от этой дороги располагался новый кишлак. Султанов небрежно заинтересовался:

— Построен новый поселок?..

— Умурзакова, говорят, уже торопит с переселением.

Султанов засмеялся.

— Торопиться надо, когда джейран от тебя улепетывает! Умурзакова еще сломает себе шею!

Кадыров молчал. Султанов, сидевший рядом с шофером, за всю дорогу не проронившим ни слова, обернулся. Зубы его сверкнули в ободряющей, белоснежной улыбке.

— Ты, я вижу, совсем раскис! Выше голову, дорогой! Битва еще не проиграна. Много народу собирается переселяться?

— Дураков на наш век хватит.

— А как этот... кажется, Муратали? Юсуфий писал о нем в своей статье.

— Муратали тверд, как скала.

— И молодчина! Что у него, змея, что ли, завелась в доме, чтобы рваться в степь? Поверь, дорогой, те, кто горяча переселится, все равно потом разбегутся по старым кишлакам. Я знаю наш народ, его не так-то легко оторвать от привычного уклада жизни! И если такие, как Муратали, не покинут свои дома, если хоть один дехканин сбегит из нового поселка, это даст нам в руки сильный козырь!

«Газик», подсакивая и поднимая пыль, мчался по ровной степной дороге. Затвердевшая глина кое-где растрескалась, кое-где собралась в морщины. По обе стороны раскинулись темной недвижной зыбью вспаханные целинные земли. Но Султанов, увлеченный собственным красноречием, ничего не хотел замечать.

— Мы должны бороться до конца, дорогой раис! — продолжал он. — Отступить-то нам, собственно, некуда, позади — пропасть. Чуть попятимся — и полетим вверх тормашками! Тебе председательское кресло не надоело? Мне мое пока нет. Если я соглашусь его сменить, так только... ха-ха... на более мягкое! Расти надо, председатель, — это закон нашей жизни! А поднимем мы руки, сдадимся, проголосуем за план Умурзаковой — и дадут нам, уважаемый раис, по шапке. Опоздали мы с белым-то флагом, нужно было выкидывать его весной. Признание ошибок нам уже не поможет. Осознал, дорогой, сложившуюся ситуацию?

Слова Султанова отвечали недавним мыслям самого Кадырова, он слушал внимательно, кивал головой в знак согласия, но пасмурное выражение не сходило с его лица. Положив под язык щепотку насвая, он пожевал его и сплюнул на дорогу.

— Да не сиди ты туча тучей! — укоризненно сказал Султанов. — У нас нет оснований впадать в панику. Имеются, слава богу, кой-какие зацепки, и падо их использовать на все сто! Ты не читал, Джурабаев тиснул в нашей газете статью, сводящую на нет выступление Юсуфия?

— Вот видишь!

— Что «видишь»? Не руками падо разводить, а действовать! Он сунул статью в районную газету, а я дам в областную. Они кричат о переселении, а мы раздуем историю с Муратали. Они хвастают тем, что целина поднята, а мы будем доказывать, что хлопок на ней не вырастет: помешают бури, суховеи. Да и ты не допустишь, чтобы колхоз твой стал как кунжут после обмолота. Нечего тебе разбрасываться рабочей силой, не давай людей на целину — и точка.

— Им не дашь! — проворчал Кадыров. — Правление-то пляшет под их дудку.

— А ты давно на побегушках у своего правления? Не обижайся, дорогой раис, но ты размазня. Заставь правление уважать тебя, считаться с твоим мнением! Ты хозяин колхоза. Ты сам волен решать, как распределить рабочую силу и устранять ли этой осенью, в ущерб работе, комедию с великим переселением народов. Это твое дело, а не Умурзаковой!

— Тут не знаешь, откуда взойдет луна. Вон и дехкане шумят... Слышал небось об их «митинге»?

Султанов пренебрежительно поморщился.

— Пошумят — перестанут. Отпустил ты вожжи — вот они и дерут глотки.— И вдруг, встрепенувшись, воскликнул: — А мы и это обернем себе на пользу! Мол, Погодин и Умурзакова натравливают дехкан на руководство колхоза, играют на отсталых настроениях масс! Эти «покорители пустыни» хотят поставить обком перед совершившимся фактом: претворят они свой план в жизнь — и обкому ничего не останется, как поставить на нем свою визу. Потому-то они так торопятся. Но ведь и мы не будем дремать. И к нам в обкоме прислушаются!

«Газик», замедлив ход, выехал на дорогу, пролегавшую по пустыне. От малейшего дуновения ветерка на дорогу патекал песок. Там, где пролетал ветер, оставались песчаные полосы, затруднявшие движение. Солнце уже принакало. Железные дверцы «газика» нагрелись. Султанов подвинулся поближе к шоферу. Перевесившись через спинку сиденья, он доверительно сообщил Кадырову:

— Так и быть, открою тебе одну тайну. Ты ведь знаешь, Абдуллаев держит нашу сторону, это мой хороший друг. Так вот, он скоро вступит в борьбу. Мы опираемся на гору, раис! Абдуллаев все сделает, чтобы сорвалась эта затея с целиной. Авось и сорвется. И тогда нашим героям придется ответить за свои противозаконные действия. Сами-то они хоть и машут кулаками, а тоже чувствуют себя неуверенно. Я недавно пригласил к себе Умурзакову, думал сделать ей внушение... Она, видно, поняла это, струсилась, не явилась.

Кадыров заметно повеселел. И впрямь, с чего это он ударился в пашику? Вон Султанов только посмеивается над его страхами. А Султанов — птица важная, ему известно побольше, чем Кадырову! За Султанова и падо держаться!

Они доехали до Шур-Куля. Машина остановилась. К прибывшим, переваливаясь, как утка, подбежал Рузынаван. Он находился здесь со вчерашнего вечера, навез всякой снеди для завтрака и обеда, закопал в песок глиняные кувшины с водой. Лицо его, всегда лоснившееся от жира, как щедро промасленная лепешка, сейчас от радости лоснилось вдвое, сияло, словно луна; заплывшие глаза источали сладчайший восторг и преданность.

Султанов первым выбрался из машины, сощурился от яркого солнечного света. Потянулся, разминая замлевшие плечи и спину.

— Хорошо здесь, раис! — крикнул он Кадырову. — Хорошо! А будешь хвататься за все сразу — завязнешь в делах, жизни не увидишь.

Султанов вырядился сегодня так, как, по его мнению, должны одеваться охотники: старые сапоги, темные брюки военного покроя, охотничья куртка, надвинутая на лоб кепка. Двустволку за ним нес шофер...

Приехавшие направились к разостланному на траве большому красному ковру. Посредине его белела скатерть, а по бокам, ожидая гостей, приманчиво красовались цветастые одеяла и мягкие подушки. Чуть поодаль вился дымок от костра, обтекая казан, в котором варился суп.

Султанов умылся. Рузы-палван поливал ему на руки из кувшина.

— Славное ты выбрал место! — похвалил его Султанов. — И погоду организовал недурную, ха-ха!..

Здесь и правда было по-своему хорошо... Рядом, в редких зарослях камыша, сверкало под солнцем озеро. Сверкало так ослепительно, что трудно было различить его цвет. А вокруг, куда ни кинешь взгляд, — пески, сухая трава. Среди песчаного моря вздымались тут и там верблюжьими горбами волнистые барханы, кустился саксаул, скупо зелели низкие, почти безлистые туранги — деревья, годные лишь на дрова, рос колючий янтак. И все это залито золотой солнечной лавой.

Пейзаж пустыни хоть однообразен, но привлекателен своим диким, необжитым простором. Пустыня — это простор и солнце.

Перед охотой Султанов и Кадыров плотно, с аппетитом позавтракали. Рузы-палван угостил их холодной тушеной бараниной, жирным шашлыком и хасип-шурпой, супом с колбасой из тонких бараньих кишок, начиненных мясом и рисом.

— Ну вот, — удовлетворенно сказал Султанов, поглаживая живот. — Подкрепились — и все заботы побоку! Хорошо! — Он обернулся к Рузы-палвану. — На обед, надеюсь, у нас будет мясо джейрана?

— Хотите все-таки рискнуть, товарищ Султанов?

— А зачем же мы сюда приехали? Настреляем джейранов и закатим настоящий пир! Ты что, не веришь, что охота будет удачной?

— Верю, верю, — поспешил успокоить его Рузы-пал-

ван.— С пустыми руками мы не вернемся. Только, может, вы сперва отдохнете?

Но Султанова уже обуял охотничий азарт.

— Отдохнуть успеем. Где мое ружье? Берегитесь, джейраны!

От еды, обильно политой копыяком, он отяжелел и до машины дошел, опираясь на Кадырова и Рузы-палвана.

Не успели они отъехать на километр, как вдали показались движущиеся точки. Это были джейраны. Их не видел только Султанов, у которого все расплывалось перед глазами.

«Газик» через пески устремился наперерез стаду. Джейраны свернули вправо. Они бежали быстро, высоко вскидывая длинные ноги, часто меняя направление. «Газик» тоже вилял, подпрыгивая, его заносило на поворотах, и охотников бросало из стороны в сторону. Но вот они приблизились к стаду на расстояние выстрела, и Рузы-палван возбужденно закричал:

— Стреляйте! Товарищ Султанов! Стреляйте! Вот же они!

— Берегитесь, джейраны! — снова воинственно воскликнул Султанов, выставил наружу дуло двустволки, сделал подряд два выстрела, опять прицелился, опять выстрелил, но джейраны как ни в чем не бывало продолжали свой бег. Теперь они бежали спокойней, словно зная, что глаз у охотника неверный, а ружье дрожит как в лихорадке, и вскоре исчезли, будто растворились в расплавленном воздухе пустыни. Проблуждав среди песков еще часа два, охотники паткнулись на джейрана с детенышем. Снова загрохотали выстрелы, а джейраны, словно дразня преследователей, попрыгали перед машиной и скрылись в глубоком сае — русле пересохшей реки.

Усталый, раздраженный, Султанов приказал шоферу остановиться, вылез из машины и, метнув на спутников яростный взгляд, будто они были виноваты в неудачной охоте, молча растянулся на траве, надвинул на лицо кепку и тут же уснул, огласив пустыню тяжелым храпом.

Кадыров и Рузы-палван сами были огорчены, что не смогли угодить высокому гостю. Посоветавшись, они решили, что Кадыров останется возле спящего Султанова, а Рузы-палван, как более опытный охотник, отправится заглаживать общую их «вину».



— Без добычи не возвращайся,— мрачно пригрозил Кадыров.— Голову сниму!

Исполнительный Рузы-палван не подвел своего председателя. Через каких-нибудь полчаса он уже выволакивал из машины тяжелые туши трех взрослых джейранов. По серым с желтинкой шкурам еще пробегала дрожь, глаз у одного из убитых джейранов был приоткрыт, в нем застыл печальный испуг...

Обрадованный Кадыров разбудил Султанова. Тот протер глаза и с удивлением взглянул на богатую добычу.

Показывая на самого большого джейрана, Рузы-палван подобострастно сказал:

— С удачей вас, товарищ Султанов. Этого джейрана убили вы, я его только подобрал. А остальных подстрелил я.

Султанов почувствовал угрызение совести.

— Ты, верно, ошибся. Мои пули как будто не достигли цели.— Он вопросительно посмотрел на Кадырова.— Так ведь, раис?

— Это ты ошибаешься, товарищ Султанов! — возразил Кадыров, понимая, что от него ждут такого возражения.— Мы в пылу погони и не заметили, что тебе удалось-таки прикончить одного джейрана. А когда ты уснул, Рузы-палван поехал еще пострелять и нашел этого вот молодца. Кто же мог его убить, как не ты?

Султанов поднялся, подошел к джейрану и не без самодовольства потрепал его по гладкой шерсти.

— А хорош! — И с гордой усмешкой бросил Рузы-палвану: — Не чета твоим!

Султанов был доволен. Кадыров и Рузы-палван тоже были довольны. Обед удался на славу.

Кадыров к вечеру устал, но настроение у него было отличное. Джейрана он ни одного не убил, но не жалел, что поехал с Султановым на охоту: после этой поездки он снова воспрянул духом.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ

ОТЕЦ И ДОЧЬ

В кабинете Кадырова на столе всегда красовался пузатый графин с холодной водой. За день Кадыров опустошал несколько таких графинов, особенно если этому дню предшествовало буйное разгулье. Свежую воду наливала

в графин Назакатхон, являвшаяся к Кадырову по первому его зову, а порой и без зова. Она же по утрам поила председателя крепким кок-чаем. Прислуживать Кадырову ей пришлось больше, чем возиться с бумагами. Когда она входила к нему в кабинет, на лице ее неизменно играла улыбка, благодарная, многообещающая. Правда, если Кадыров с косолапой нежностью обнимал ее за плечи или неуклюже-ласково гладил по голове, ей хотелось отстраниться, оттолкнуть его тяжелую, потную руку, но она не отстранялась, а даже подавалась ему навстречу. И не только потому, что отец советовал ей быть с Кадыровым податливой и уступчивой. Она сама не могла обойтись без чьего-либо поклонения, а Кадыров из всех ее здешних почитателей казался самым достойным: как-никак хозяин колхоза, прямой ее начальник, а ласка и похвалы начальства особенно лестны и приятны. Назакатхон старалась во всем угождать Кадырову, охотно отзывалась на его отнюдь не отеческую ласку, искусно подлаживалась к его настроению. Когда он был хмур, развлекала его ловким, бойким разговором. Когда он на что-нибудь удрученно сетовал, притворялась огорченной, сочувствующей, делала вид, что еле удерживает слезы. Когда же он посвящал ее в свои замыслы, изумленно охала. Однако внимание Кадырова доставляло ей не только бескорыстное удовлетворение. Пользуясь его расположением, она добивалась для себя всяческих потачек и выгод. Рассказывая ему о кишлачных новостях, событиях — чаще всего это были сплетни и досужие вымыслы — она преподносила все так, как было на руку ей и Аликулу.

На следующее же утро после охоты, ближе к полудню, Кадыров пожаловал наконец в правление. Назакатхон встретила его радостным восклицанием:

— С выздоровлением вас, раис-амаки! — И с жеманной томностью пожаловалась: — Без вас здесь было так скучно!

Кадыров зачем-то потер поясницу, поморщился, словно от боли, и с упреком произнес:

— Нет тебе веры, красавица. Не могла пайти время навестить больного!

— Стыдно было... — тихо сказала Назакатхон и застенчиво добавила: — Боялась я... Вашей жены боялась.

— Что ее бояться! Она не волк — не съест. Пришла бы с отцом, он-то меня не забывал.

— Сильно вам нездоровилось, раис-амаки? — сочувственно осведомилась Назакатхон.

— Врагу такого не пожелаю! — сказал Кадыров и, словно желая убедить секретаршу, что недомогание еще не прошло, опять схватился за бок. Покряхтывая, он протиснулся к своему месту за столом.

Через несколько минут Назакатхон унесла опустевший графин и вернулась с полным. Кадыров подставил стакан. Назакатхон налила ему воды, которую он тут же с жадностью выпил. Стакана хватало ему на пару глотков.

— Может, вы чаю хотите, раис-амаки?

— Чаю? Давай чаю! Дала бы море — я бы сейчас выпил и море!

— У вас, верно, жар... — пожалела его Назакатхон. — Вам не надо было вставать с постели.

— Нет, милая девушка, некогда болеть! Колхоз-то без Кадырова трещит по всем швам!

Кадыров говорил, а сам не отрывал глаз от лица Назакатхон. На нежно-бархатистых, как персики, щеках розовел румянец, длинные ресницы были полуопущены; в их тени, как омуты, чернели глаза. А губы были зовущие, яркие, влажные...

Дав Кадырову вдоволь собой налюбоваться, Назакатхон ушла и вскоре принесла чай в красивой пиале, разрисованной цветами джиды, и блюдце с конфетами. Принимая из ее рук пиалу, Кадыров успел пожать пухлые пальцы девушки. Назакатхон скромно потупила взор и, как всегда делала, когда хотела изобразить смиренное смущение, прикусила нижнюю губу.

— Спасибо, дочка, — поблагодарил ее Кадыров. — Видишь, раис не ошибается в людях. Когда я брал тебя на работу, я знал, что лучшей секретарши мне не найти. Твой отец может радоваться, что у него такая дочь.

— Мой отец так же предан вам, как и я...

— Знаю! Твой отец — мой лучший друг. Выдвигая его председателем совета урожайности, я верил, что найду в нем надежную опору. Так и вышло!

Кадыров пересел на диван, стоявший у стены, потянул Назакатхон за руку и усадил рядом с собой.

— Расскажи, как тут вам без меня жилось. Тебя пикто не обижал?

Назакатхон на всякий случай достала носовой платок, лицо ее приняло покорно-несчастное выражение.

— Как вы заболели, раис-амаки, так все ко мне начали придирааться: то не так, это не так. Жизнь не стало. Ведь, кроме вас, некому защитить бедную девушку.

— Говори, кто твои обидчики?

— Без вас я как травинка в степи,— продолжала причитать Назакатхон.— Позавчера ворвались во мне Михри и Керим. Их теперь водой не разольешь: куда одна, туда и другой. Ворвались и потребовали списки членов всех бригад: «Нам, говорят, надо знать, где сколько комсомольцев». А я все эти дни была такая рассеянная, раис-амаки...— Она многозначительно взглянула на Кадырова.— У меня все из рук валилось. Рылась я, рылась в бумагах, а этих проклятых списков так и не нашла. Сама не знаю, куда они подевались. А Михри разозлилась и говорит: «Тебе не у телефона сидеть, а взять бы кетмень да в поле. У меня, когда я тут работала, все было в полном порядке!» — Назакатхон надула губки.— Она думает, раз она звеньевая, так ей можно и нос задирать! Я бы тоже рада в поле, только не для этого я училась!

— Куда тебе в поле, дочка! — почувствованно сказал Кадыров.— С твоей кожей... С твоими руками... С твоим голосом... Когда ты поешь, у меня сердце тает, как масло в котле. Твои песни прекрасны, как ты сама.

Он протянул было руку, чтобы обнять Назакатхон, но, глянув в окно, выходящее на улицу, отодвинулся от соблазнительницы и, кашлянув, суше и строже произнес:

— Михри нечем хвастаться. Когда она у меня работала, за ней нужен был глаз да глаз. Дерзка она. И упряма.

— На меня и Керим накинута! — перебила Кадырова Назакатхон.— «У нашей Назакатхон,— сказал он,— нет времени выполнять свои прямые обязанности. Ей надо клеюзы в газеты строчить». А ведь это вы велели мне написать письмо в газету, правда?

— Гхм... Им-то ты этого не брякнула?

— Вот еще! — фыркнула Назакатхон.— Стану я перед ними отчитываться! На месте Михри я бы помалкивала. На нее и так все пальцами показывают! Стыда у нее нет, виснет при всем народе на шее у своего Керима. Я сама видела, как они любезничали...

— Сама видела? — оживился Кадыров.— А ну расскажи, расскажи.

И Назакатхон рассказала...

Накануне вечером в летнем алтынсайском кинотеатре

показывали новый фильм. Кинотеатр расположен рядом с клубом, окружен высоким дувалом из сырцового побеленного кирпича. Дувал, впрочем, нисколько не мешал сорванцам-мальчишкам бесплатно смотреть кинокартины: они забирались на деревья, удобно устраивались на ветках и сучьях и глаз не отрывали от экрана. В эти минуты даже тихий шелест листьев, щекотавших их шеи, был шумней их дыхания.

В кино алтынсайцы ходили, как в гости, — целыми семьями, разряженные, с торжественными лицами. Старики шли с внуками, мужья с женами, девушки с друзьями и подружками. И только Назакатхон была в тот вечер одна. В Алтынсае ее все знали, даже любили за веселый нрав, но жила она от всех словно бы на отшибе. Когда отец был занят, ей приходилось ходить в кино одной. Она брела через просторную, чисто подметенную площадь, отвечала на приветствия, перешучивалась со знакомыми, губы ее привычно улыбались, а сердце скучало. У самого входа в кинотеатр она встретила Михри и Керима.

Те ее не заметили: так увлеклись своей беспечной болтовней. Как и все алтынсайцы, они принарядились по-праздничному: на Кериме — легкий кремовый костюм, рубашка из белого шелка, франтовской галстук, на Михри — модные туфли-лодочки, белое шелковое платье, узорчатая тюбетейка, похожая расцветкой на пеструю клумбу. Лица их покраснелись, глаза сияли, как звезды! Назакатхон, отвернувшись, проскользнула мимо и поспешила занять свое место. Но и во время сеанса она продолжала наблюдать за влюбленными. Они примостились на задних рядах. Назакатхон то и дело на них оглядывалась, сама не понимая, почему так волнуется, видя их счастливые лица. Было прохладно. Керим и Михри сидели, тесно прижавшись друг к другу. Поглощенный происходившим на экране, Керим крепко сжимал упершуюся в скамейку руку Михри. Они, казалось, забыли друг о друге, но смотрели на экран одним взглядом, чувствовали одно и то же, думали об одном и том же... В сердце Назакатхон шевельнулась тревожная зависть. Вот бы и ей так — сидеть рядом с любимым, ощущая тепло его рук, слушая близкое дыхание... И чтоб он был так же молод, как Керим, так же красив и так же любил ее, как Керим любит Михри.

Назакатхон ушла, не досмотрев фильма, и теперь, рассказывая обо всем Кадырову, приправляла свое повество-

вание такими подробностями, которые могла подсказать ей только зависть. Кадыров укоризненно мотал бритой головой, покряхтывал, причмокивал и старался сообразить, какое бы практическое применение найти этим фактам.

— Как это вы держали такую секретаршу! — с упреком и недоумением сказала Назакатхон. — Спору нет, Михри красивая...

Кадыров сощурился.

— В Алтынсае я знаю лишь одну красавицу.

— Ой, что вы, раис-амаки! — возразила Назакатхон. — Какая уж я красавица. Вот Михри — та как цветок.

— Ядовитый цветок!

Назакатхон довольно улыбнулась. Теперь, хваля Михри и Керима, она только подливала масла в огонь.

— Керим тоже хоть увлекающийся, но симпатичный.

— Увлекающийся? — вскипел Кадыров. — Ха! Комсомольский вожак на виду у всего кишлака милуется с бесстыжей девчонкой, тоже комсомолкой! Это похуже легкомыслия. Какой пример подают они молодежи!

Считая, что разговор перешел на деловую почву, Кадыров поднялся и прошествовал к столу.

— Мне давно известно о похождениях этих алтынсайских Лейли и Меджнуна! — Он тяжело опустился на стул. — Твой правдивый рассказ подтверждает, что они совсем потеряли стыд. Они могут навлечь позор на весь кишлак! Куда смотрит этот старый крикун Муратали, который так любит драть горло... — он хмуро побарабанил толстыми пальцами по столу и закончил: — ...когда не надо.

— А вон и сам Муратали! — воскликнула Назакатхон, показывая на окно. — Вон идет по улице!

— Легок на помине! — проворчал Кадыров. — Ты вот что... Позови-ка его ко мне. И побудь пока у себя. Мне надо с ним поговорить.

Назакатхон вышла. Вскоре перед столом Кадырова выросла поджарая фигура Муратали. Бригадир возвращался с поля. Его старый халат, бельбог, сапоги — все было серым от пыли.

Кадыров через силу приветливо ему улыбнулся, широким гостеприимным жестом пригласил сесть, посетовал, что Муратали ни разу не зашел к нему за время болезни.

Муратали оправдывался:

— Сам знаешь, раис, пора сейчас горячая, ни минуты нет свободной.

Кадыров осведомился, далеко ли направлялся Муратали.

Старик объяснил:

— В магазин, говорят, привезли сапоги. Я и надумал купить, старые-то тесноваты...

Закончив расспросы, Кадыров решил наконец заговорить о том, ради чего позвал бригадира. Но речь свою он повел издалека, зная, как своеволен, как вспыльчив старый Муратали: скажешь ему неосторожное слово — так он из упрямства может затеять горячий спор.

— Ты знаешь, дорогой, как я тебя уважаю, — начал Кадыров, разыгрывая грубоватую дружескую откровенность. — Не один пуд соли мы с тобой съели. Ты меня всегда поддерживал... гхм... я — тебя.

Муратали выжидающе молчал. Кадыров в разговоре с Назакатхон напрасно назвал его крикуном: старик, пока его не задевали, был немногословен.

— И дочь твоя мне как родная, — продолжал Кадыров. — Помнишь, у нее еще молоко на губах не обсохло, а я взял ее в секретарши. Три года она была у меня под крылом, каждая колючка, вопзвившаяся ей в ногу, причиняла мне не меньше боли, чем ей самой. Я учил и воспитывал Михри. Я доверял ей! Я, как отец, переживал за нее. Так что я тоже в ответе за твою дочь.

Тонкие губы Муратали были сжаты, и лишь глаза, коллоче сверкавшие из-под седых кустистых бровей, выдавали его настороженную заинтересованность.

— Славная девушка твоя дочь. Потому и друзей у нее — хоть пруд пруди. Все тянутся к ней, как к солнцу! — Кадыров понял, что зарапоровался, остановился с разгона и сказал уже деловитым тоном: — М-да... Только этому солнцу я посоветовал бы быть поразборчивей. Ты знаешь, с кем якшается твоя дочь?

— Керим хороший парень, — строптиво молвил Муратали.

— Да ты что, ослеп?! — разозлился Кадыров. — Весь кишлак смеется над нашими Лейли и Меджнуном! Только и слышишь ото всех: Михри виснет на шее у Керима, Керим, как тень, повсюду тянется за Михри! Безде вместе: в клубе, в кино, на танцах.

— Парням и девушкам не заказано ходить в кино, — упорствовал Муратали, хотя сам был готов излить на дочь и Керима потоки ярости. — Теперь не старые времена.

— Ныгче, значит, дозволено заниматься любовными шашнями? — усмехнулся Кадыров. — Нет, дорогой, луну подолом не закроешь. Михри и Керим забыли приличия. Ты думаешь, они ходят в кино смотреть фильмы? Да им там просто удобней обниматься!

— Кто это видел?

— Весь кишлак говорит об этом! А без ветра, сам знаешь, листья не колышутся. Вот притащит Михри в твой дом внука — посмотрим, как ты тогда запоешь.

Муратали встал, оперся дрожащими руками о стол.

— Не возводи на мою дочь напраслину, раис! Михри не опозорит своего отца. И Керим...

— Керим!.. — Кадыров откинулся на стуле, тучное его тело сотряс хохот. — Да для этого сопляка нет ничего святого. Он и меня... гм... Он поносит тебя на всех перекрестках. Ты, я слышал, стал ему подпевать, а вот он тебя не жалеет! Это он уговаривает Михри бросить родное гнездо и поселиться в новом кишлаке! Это он, Керим, развозил по всему кишлаку, что отец у Михри — темный, отсталый и, как скупой над золотом, трясется над костями предков. Ты их защищаешь, а они смеются над тобой, старым дурнем!

— Бог накарает тебя, раис, если ты говоришь неправду.

— Не мастер я на выдумки, — строго сказал Кадыров. — Я тебе и твоей дочери добра желаю. С Михри спрос невелик, она еще несмышленная девчонка. Для нее же будет лучше, если она станет держаться подальше от Керима. Тогда и сплетники прикусят языки. Так-то вот, дорогой.

Муратали ничего не сказал Кадырову, только клокастые его брови встопорщились, как иглы у ежа. Выйдя из правления, он направился не к магазину, а в поле. Кадыров, проследив за ним взглядом и убедившись, что ему удалось-таки допечь старика, что Михри теперь не поздоровится, вдруг помрачнел, сжал кулаками виски и неожиданно для себя с тяжелой, равнодушной безразличностью подумал: «Докатился ты, раис. Докатился». Кадыров сам не понимал, что с ним происходит. Казалось бы, он отвел душу, убил одним выстрелом трех зайцев, насалив сразу и Михри, и Муратали, и Кериму. Ему бы потирать руки от удовольствия: поделом, мол, вам, горлопаны! А он не

чувствовал удовлетворения, на душе было тягостно и горько.

В это время взбешенный Муратали шагал по дороге, ведущей к полевому стану. В глазах было темно от ярости. Он ни о чем не думал, не хотел думать. Он лишь повторял про себя слова Кадырова, ядовитыми жалами впивавшиеся ему в сердце.

В бригаде был обеденный перерыв. За длинным столом, выпесенным на открытый воздух, сидели колхозники, перед ними дымились миски с шурпой. Иные из дехкан, укрывшись в тени, подкреплялись закуской, захваченной из дому. Михри под навесом перелистывала журналы. Завидев Муратали, она поспешила ему навстречу.

— Отец! А я вас жду. Купили сапоги?

— Не до сапог было, — отрывисто бросил Муратали.

— Вы... вы еще не обедали?

— Мне не до обеда! Пойдем куда-нибудь, у меня к тебе дело.

Михри растерянно и недоуменно пожала плечами и пошла вслед за отцом. Он повел ее подальше от дехкан, за ивы, обступившие хауз.

Остановившись, Муратали резко повернулся к дочери. Михри увидела его глаза, в которых пылал гнев, его белые трясущиеся губы и поняла — сейчас произойдет бурное объяснение. Но вместо того чтобы спокойно выслушать Муратали, который был вне себя от гнева, она, еще не зная, за что гневался на нее отец, приготовилась к отпору. Михри была упряма не меньше, чем старый Муратали!

Сверля дочь горящими глазами, Муратали спросил свистящим шепотом:

— Долго это будет продолжаться, бесстыдница?

— О чем вы говорите, отец?

— Не притворяйся! Сколько раз я тебе твердил: не путайся с Керимом, не приведет это к добру! А об тебя слова — как горох об стену! Ты все норовишь сделать по-своему! Вот и дождалась... И я дождался на старости лет!

— Объясните, отец, в чем дело.

— Не притворяйся, ты знаешь, о чем моя речь! Вы стали посмешищем всего кишлака! Сплетни облепили вас, как болотная грязь! Теперь вовек ее не отмыть! Знаешь, как кличут вас в кишлаке? Лейли и Меджнун!

— А чем вам не по душе Лейли и Меджнун, отец? Хладнокровие дочери, в котором были и насмешка и строптивость, еще больше разозлило Муратали.

— Мне не по душе твои пашни! Я не хочу, чтобы ты покрыла позором мою седину!

Михри стояла перед отцом, бледная, решительная.

В ее хрупкой фигурке, стройной и ладной, чувствовалось напряжение, как у туго натянутой струны. На переносице темнело упрямое пушистое пятнышко. Михри любила отца, была послушной дочерью, но он сам учил ее ненавидеть клевету, несправедливость и ложь. Ей больше певмоготу было терпеть его вздорные, несправедливые упреки.

— Отец! — звенящим голосом сказала Михри. — Я ведь никогда не скрывала от вас, что дружу с Керимом.

— Дружишь!.. — недобро усмехнулся Муратали. — Ты смеешь называть это дружбой! В старые времена, я помню, это называлось по-иному...

Михри гордо вскинула голову, взглянула отцу в глаза.

— Хорошо, отец. Пусть будет так. Мы с Керимом любим друг друга. Я люблю его, ради этой любви готова скрыть высокие горы, переплыть бурные реки. Лейли и Меджнун любили друг друга меньше, чем мы!

Муратали опешил от такого признания, брови его вздрогнули, но он быстро оправился от растерянности и, словно уличая дочь в чем-то непристойном, с сарказмом воскликнул:

— Вот она, ныпещняя-то молодежь! Она уже не боится выставлять свою любовь напоказ! Как у тебя язык повернулся сказать такое?

— Нам нечего стыдиться, отец. Наша любовь чиста, как снег на горных вершинах. Керим женится на мне...

— Не бывать этой свадьбе! — крикнул Муратали. — Твой Керим — пустой болтун. Непочтительный, дерзкий мальчишка. Я сам выберу тебе мужа.

— Я выйду замуж только за Керима.

— А я говорю: будет по-моему! Ты молода и глупа, ты не разбираешься в людях!

Михри уже нечего было терять. Она перешла в наступление и, чувствуя в груди колючий холодок страха, выкрикнула:

— А вы! А вы, отец!.. У вас-то какие друзья! Уж не выдадите ли вы меня замуж за Гафура?

— Захочу — пойдешь за Гафура. Чем он тебе не приглянулся?

— Гафур — спекулянт. Он отлынивает от работы, целыми днями торчит на базарах.

— Не тебе судить старших.

— Гафур и Рузы-палван на одном базаре покупают коров, а на другом перепродают их втридорога, — не унималась Михри. — Гафуру некогда ухаживать за хлопком. А вы ему потакаете. Вы — бригадир, а смотрите на это сквозь пальцы!

— Как ты разговариваешь с отцом, дерзкая! Замолчи, не то я...

— Нет, вы не ударите меня, отец. Вас ослепил несправедливый гнев, но вы меня не ударите. Вы за всю жизнь ни разу не тронули меня. И я буду говорить! Гафура надо гнать из нашей бригады! Он же и вас предал, отец. Он один продолжает твердить, будто вы оговорили Айкиз!

— А я уважаю его за это! У него открытая душа, он не стесняется говорить в лицо все, что думает!

Михри пристально посмотрела на отца, плечи у нее устало сникли, на глазах показались слезы — слезы сильного сострадания. Спор с дочерью утомил и Муратали, но голос его, когда он заговорил снова, был тверд и холоден, как сталь клинка.

— Вот мое последнее слово, Михри. Выбирай: или я, или Керим.

Михри грустно покачала головой.

— Говорят, любовь как костер. Но костер можно затоптать, а любовь — нет. Я не могу без Керима.

— Тогда уходи к нему!

— Я не могу без вас, отец...

— А я вижу, Керим тебе дороже отца! Ты забыла, неблагодарная, сколько сделал для тебя старый, глупый Муратали!.. Ступай к своему Кериму!

— Отец!

— Ступай! Ты уж, верно, подобрала себе дом в новом кишлаке?

— Мы будем жить в нем вместе, отец!

— Старый Муратали не переступит порога этого дома! Живи там одна! И чтоб ноги твоей не было в Катартаме!

— Отец!

— И не реви. У тебя нет больше отца. — Муратали долгим взглядом посмотрел на Михри и дрогнувшим го-

лосом закончил: — А у меня... у меня с этого дня нет дочери!

Стараясь шагать как можно тверже, уверенней, он направился в поле, к своему участку. Он не оглянулся, даже когда Михри, плача, окликнула его...

Весь день они не перемолвились ни словом, Мураталли остался почевать на стане, Михри ушла к Айкиз.

Когда-то, когда они еще учились в школе, Михри называли тенью Айкиз. У Михри не было тайн от своей старшей подруги. Со всеми своими радостями и бедами, большими и крохотными, она шла к Айкиз, а та делила с ней радость, умным, ласковым словом разведала тоску и тревоги подруги.

Михри рассказала ей о своем столкновении с отцом; Айкиз задумалась. За эти дни она стала серьезней, сдержанней, меж бровями появилась глубокая, резкая морщина — след недавнего горя. Когда Айкиз задумывалась, морщина становилась особенно заметной.

— Ты не погорячилась, сестренка? — спросила она, испытующе заглянув подруге в глаза. — Ведь он же отец тебе. А отец...

Не находя слов, Айкиз рассеянным движением потеряла переносицу, словно хотела избавиться от непривычной морщинки, а Михри всхлинула и тихо сказала:

— Я... я готова даже просить у него прощения. Сама не знаю, за что... Да ведь ты же знаешь отца! Он и разговаривать со мной не желает!

— Ты тоже упряма, как шайтан! — улыбнулась Айкиз. — Ну что тебе стоило уступить отцу?

— И никогда не встречаться с Керимом?

— Ну вот! Теперь тебе и ягнепок кажется ростом с верблюда! Безвыходных положений нет, Михри. Я знаю твоего отца. Я уверена: пройдет время, он поостынет и все поймет. А мы постараемся помочь ему в этом. Ты будешь и с отцом и с Керимом.

— Правда, Айкиз-апа?

— Конечно, правда! — рассмеялась Айкиз. — Все уладится, увидишь! И честное слово, если ты выйдешь замуж за Керима, я буду рада за вас обоих. Керим славный. И ему так нужна дружба. Ведь он рос без отца, Михри...

Глаза Айкиз влажно заблестели, и теперь уже Михри принялась утешать подругу.

— Ты пока живи у меня, сестренка, — сказала Айкиз,

когда они вдоволь наплакались. — Я рада тебе... Когда дома нет Алимджана, порой бывает так одиноко, тоскливо... А потом ты перейдешь в новый дом в новом поселке. И Муратали будет там жить. Он ведь с нами, Михри. Твой отец будет с нами!

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ
АБДУЛЛАЕВ ПРИНИМАЕТ РЕШЕНИЕ

Секретарь обкома Абдуллаев, опора и надежда Султanova, был не в духе. Заложив руки за спину, он нервно расхаживал по кабинету, от стола к окну и обратно. Он напряженно раздумывал, как с честью выйти из того трудного положения, в котором неожиданно-негаданно очутился.

Мягкий ковер заглушал шаги. За распахнутым окном трепетала листва высокого, раскидистого дерева, густой, пышной кроной своей заслонившего все окно и закрывавшего вид на улицу.

Кабинет Абдуллаева был обставлен со вкусом, на широкую ногу; вся мебель — из полированного ореха... Помятая, вся в жестких складках газета, скромно лежавшая на столе у блестящих телефонов, рядом с громоздким чернильным прибором из белого мрамора, выглядела в этом просторном, роскошном, солидном кабинете какой-то особенно неказистой, прозаичной, будничной. Но именно эта газета ввергла Абдуллаева в дурное настроение.

Газета напомнила ему, что пора недвусмысленно и окончательно выразить свое отношение к плану освоения целины, разработанному в Алтынсае и одобренному райкомом партии. План давно утвержден райкомом, целина уже осваивалась, а обком еще не сказал решающего слова, и виноват в этом был Абдуллаев, ведавший вопросами сельского хозяйства. Первый секретарь, с самого начала заинтересовавшийся почином алтыпсайцев, требовал, чтобы Абдуллаев поскорее представил ему свои соображения. Но Абдуллаев не говорил ни «да», ни «нет», хотя до сегодняшнего дня склонялся к отрицательному ответу.

Абдуллаев принадлежал к числу тех все реже встречающихся партийных работников, которые любят отождествлять себя с партией, любят выступать от имени партии, а живут всю жизнь по подсказкам.

Небольшую ответственность Абдуллаев еще мог на себя взять, он, например, без колебаний рекомендовал Султа-

нова на пост председателя райисполкома. Но более крупные и сложные вопросы предпочитал решать лишь в строгом соответствии с конкретными указаниями «сверху». Проводить линию партии значило для него выполнять распоряжения вышестоящих инстанций, и только. Он мыслил волю партии не как сконцентрированную волю советского народа, а как некую отвлеченную силу, стоящую над всем, что не было облечено властью. Он не мог и не хотел понять, что партия не только направляет, но и прислушивается, не только учит, но и учится, не только решает и указывает, но и горячо подхватывает все ценные народные начинания. Инициатива снизу путала карты Абдуллаеву, нарушая ясные и спокойные принципы, которых придерживался он в своей работе. По существу, он был не проводником воли партии, а словно бы трансмиссией, передающей решения высших партийных органов низшим. Обратного хода эта трансмиссия не имела.

План алтынсайцев вызвал у Абдуллаева серьезные сомнения уже потому, что выдвинули его «снизу». Точных указаний на этот счет «сверху» не было. Не было единогласия и среди районного руководства. Вопрос был спорный, и, по мнению Абдуллаева, обкому следовало от него просто-напросто отмахнуться, дабы не наживать лишних хлопот и неприятностей.

Вот если бы этот план был спущен хотя бы из Ташкента... Но Ташкент не предлагал Абдуллаеву в циркулярном порядке заниматься освоением алтынсайской целины. А посему благоразумнее будет положить предложение алтынсайцев под сукно, похоронить его как несбыточную фантазию. Абдуллаев, конечно, понимал, что свою позицию следует обосновать. Но это уже чистая формальность. Пока труженики Алтынсая, засучив рукава, вспахивали новые земли, единоборствовали с бурей, в обкоме, по настоянию Абдуллаева, создавались и заседали комиссии. Эксперты составляли длинные, противоречившие одна другой докладные записки. Благородное начинание алтынсайцев погружалось в бездонные бумажные омуты.

Но алтынсайцы не опускали рук. Свою правоту они старались доказать делом. Юсуфий одернул их, однако в ответ на его выступление в той же газете появилась статья Джурабаева, и, что уж там говорить, статья толковая, дельная. На защиту «целинного» плана поднялись простые дехкане.

Первый секретарь обкома, знавший обо всем этом, все настойчивее торопил Абдуллаева.

Однажды он вызвал его к себе и, предложив сесть, сказал резко и, как показалось Абдуллаеву, раздраженно:

— Предложение алтынсайцев давно следовало вынести на обсуждение бюро обкома. В чем причина задержки?

Абдуллаев пожал плечами.

— Надо тщательно во всем разобраться. Авторы этого предложения как будто выдвинули веские доводы. Но не менее серьезные соображения и председателя райисполкома товарища Султанова...

— Что же это за соображения?

— Он совершенно справедливо полагает, что мы еще не все выжали из наличных земель. В первую очередь надо увеличить густоту стояния растений, повышая таким образом урожайность хлопчатника.

— Верно. Это важнейший фактор, но не единственный!.. Резко поднять производство хлопка мы сможем лишь в том случае, если будем еще и расширять посевные площади. Расширять за счет освоения целины.

— Но это мнение не только Султанова!..

— А вы полагаетесь не на чужие мнения, а на живой опыт, на практику. Так-то оно надежней.

Абдуллаев передернулся и проговорил:

— Вот я и хочу разобраться. Освоение целины — мероприятие рискованное. Товарищ Султанов утверждает, что авторами «целинного» плана не учтена специфика местных условий. Не исключено, что он прав. К тому же... Ведь никаких директив мы пока не имеем!..

— Голову на плечах надо иметь! — сердито бросил первый секретарь. — Разбирайтесь, да поживее. А то на словах вы за подъем хлопководства, а сами чините помехи этому подъему, маринуете важные вопросы. Какие вам еще нужны директивы? Разве вам не известно, что партия дает полный простор народной инициативе, творчеству масс?.. В ближайшие дни представьте ваши окончательные выводы.

Решительный тон первого секретаря обкома не сулил ничего доброго. Он уже давно внимательно, настороженно присматривался к Абдуллаеву и вот потребовал, чтобы тот ясно и недвусмысленно определил свою позицию. Возможно, по этой позиции Абдуллаева первый секретарь будет

судить о его деловых качествах. В сложный переплет он попал.

А тут еще появилась эта статья в республиканской газете...

Все складывалось так, что тянуть дальше было нельзя, Абдуллаеву оставалось либо одобрить план алтынсайцев, либо, ссылаясь на мнение Султанова и туманные формулировки комиссий и экспертов, перечеркнуть его.

Одобрить?.. Но рука Абдуллаева не поднималась расписаться под планом, попявшим в обком не из Ташкента, а из какого-то Алтынсая.

Перечеркнуть?.. Но дело зашло слишком далеко. Признав этот план нереальным и не соответствующим интересам государства, пришлось бы привлечь к суровой партийной ответственности его авторов и исполнителей. Подобные действия обкома получили бы широкую огласку. Наказанные наверняка обратились бы в высшие инстанции. В этом случае, чтобы доказать правильность своих действий, Абдуллаеву понадобились бы более обстоятельные и солидные возражения против «целинного» плана, чем те, какие были в его распоряжении сейчас. А тут еще эта газета...

Абдуллаев сел за стол, взял газету, внимательней перечитал встревожившую его статью.

Статья, казалось бы, никак не касалась самого Абдуллаева. В ней доставалось, и крепко доставалось, секретарю парторганизации одного крупного совхоза за то, что он вкуче с директором пытался заморозить новаторскую инициативу простых рабочих. Абдуллаев знал этого секретаря и до этого дня считал его неуязвимым. И вот — нате же! — добрались и до него! Выходит, никто теперь не застрахован от жесткой партийной критики! Трудные, тревожные времена настали для Абдуллаева. «Вот уж правда, — подумал он с досадой, — не знаешь, откуда взойдет луна».

Разные люди по-разному восприимчивы к критическим газетным выступлениям, имеющие прямое или косвенное отношение к их собственной деятельности. Одни небрежно усмеваются: «Это не про меня писано, у меня и обязанности иные, и должность крупней». Другие, поумнее, принимают упреки, содержащиеся в статье или фельетоне, в свой адрес, но полагают, что фельетонист должен бояться лишь тот, чья фамилия там названа, а лично для них опасность миновала: одного барана дважды не режут, снаряды в одну воронку два раза не попадают. Третьи же, то ли

потому, что они пронизательней, то ли потому, что трусливей, видят в таких материалах конкретную для себя угрозу. «Сегодня газета посвятила свое выступление моему знакомому, а завтра, не ровен час, влетит мне. Ныче нелегко увильнуть от критики...»

Так думал и Абдуллаев. Он не решался поддержать алтынсайцев. Но еще больше боялся он, что в газете, подвергавшей резкой критике совхозного партийного «вельможу», как назван он был в статье, в недалеком будущем могут за подобные же действия дать нахлобучку Абдуллаеву, и ему придется отвечать не за то, что он одобрил план алтынсайцев, а за то, что вовремя его не одобрил!

Абдуллаев боялся разноса, и только разноса. Но, настраивая себя на доброжелательное отношение к «целинному» плану, внутренне готовясь к тому, чтобы на бюро обкома рекомендовать его к утверждению, от страха теряя привычную осторожность, он силился согласовать свои предстоящие действия с обычными своими принципами. Ведь статья в газете была хотя и не вполне, но все же указанием «сверху», — «сверху» требовали, чтобы партийные руководители поддерживали инициативу «снизу». Нужно было выполнять это требование.

Смущало Абдуллаева одно обстоятельство. Как быть с самым ярким противником освоения целины Султановым? Ведь Абдуллаев обещал председателю райисполкома свою поддержку, и, если убрать плечо, на которое тот опирался, это будет предательством. Но хуже всего, что, потеряв опору, брошенный на произвол судьбы, Султанов мог потянуть за собой и Абдуллаева, своего друга и покровителя. С другой стороны, выгораживать Султанова, успешного уже наломать дров, было рискованно. «Ладно, — успокоил себя Абдуллаев, — после что-нибудь придумаю. Как-нибудь выручу незадачливого друга!»

И усмехнулся со снисходительным сожалением.

ГЛАВА ТРИДЦАТАЯ

КАДЫРОВ ОСТАЕТСЯ ОДИН

После того как обком поддержал план освоения целины, забот у Айкиз прибавилось, но, как и прежде, охотней и чаще всего наведывалась она в новый кишлак. Ей не терпелось увидеть его ожившим, повеселевшим от людской

разноголосицы, от хозяйской хлопотливости новоселов. Что же это за гнездо, если в нем нет птиц.

Уста Хазраткул, как и обещал, сдал поселок колхозу намного раньше срока. Дело теперь было за Смирновым. Праздник переселения Айкиз намеревалась устроить лишь после того, как вступит в строй большой канал и в поселок придет вода.

В один из августовских дней она отправилась к Смирнову узнать, много ли осталось работы на канале. Смирнов протер привычным движением очки, надел их, подвел Айкиз к окну и показал рукой на открывавшийся перед ними строительный пейзаж.

— Смотри сама, Айкиз! — И сварливо добавил, как будто Айкиз в чем-то обвиняла его: — Не бездельничаем, не сидим сложа руки...

Работы на водохранилище близились к завершению. Там, где канал выходил из искусственного озера, высилась железобетонная плотина. Над самым каналом, уже достаточно глубоким, клонились стальные шеи экскаваторов, скреперы и бульдозеры усердно разравнивали дно. Всюду — люди, машины, горы земли и щебня. Но воды из смирновского кабинета не было видно, и не потому, что ее загораживала выросшая круговая дамба. За последние месяцы озеро обмелело. Его воду выпили хлопковые поля. Смирнову, день за днем наблюдавшему, как убывает вода в озере, эти поля казались живыми. Чудилось, прильнули они к воде жаркими, жаждущими губами, как стадо на водопое, и пьют, пьют, не могут утолить жажды! Вечно недовольный сделанным, Смирнов старался придумать, как бы увеличить годовой запас воды в озере и так организовать ее распределение, чтобы не пропадала даром ни одна драгоценная капля!

— Неплохи у вас дела, Иван Никитич, — одобрительно сказала Айкиз, оглядев водохранилище.

Инженер усмехнулся, горошинка-родинка на его подбородке чуть подпрыгнула.

— Какое там неплохие! Сроки жмут, Айкиз.

— Вы же укладываетесь в сроки, Иван Никитич.

— А я не о тех сроках, какие в плане. Мы для себя иные сроки установили. Они-то и поджимают!

Айкиз рассмеялась:

— Вот и у меня беда со сроками! Когда же, Иван Никитич, зазвучит вода в новом канале?

— Скоро, Айкиз, скоро! Да вы приступайте пока к переселению, а немного погода мы дадим воду. Денек-другой могут новоселы потерпеть?

— Ни одного дня! Мы обещали, что они будут жить в благоустроенном кишлаке, и обязаны выполнить свое обещание. Поднажмите, Иван Никитич.

— Вот жизнь! — вздохнул Смирнов. — От самого себя нет покоя, так еще ты паседаешь. Ладно, Айкиз, поднажмем.

Разговор их был прерван неожиданным появлением Джурабаева. Секретарь райкома накануне вернулся из Ташкента, куда его вызывали вместе с Абдуллаевым. Глаза у него улыбались, радостно-возбужденные, даже лукавые. Он поздоровался с Айкиз и Смирновым и загадочно проговорил:

— Ну, друзья, я к вам с таким подарком, о каком вы, верно, и не мечтали!

— Не томите! — сказала Айкиз. — Рассказывайте!

Джурабаев порывисто шагнул к окну, встал к нему спиной и, выкинув вперед руки, словно желая обнять друзей, торжественно воскликнул:

— С победой вас, дорогие товарищи! С огромной победой! В Ташкенте рассмотрели наш план и не только одобрили его, но сделали далеко идущие выводы. «План ваш, — сказали мне там, — это камешек, который должен родить лавину!» И еще сказали: «Республика накануне больших событий, ваша инициатива — это приток могучей реки!» Понимаете, товарищи? В общем, освоению целины под хлопок предложено придать еще больший размах. Нам обещали оказать серьезную помощь. Я обратно как на крыльях летел, спешил вас всех обрадовать.

— Лучшего подарка и правда не придумаешь, — согласился Смирнов. — Но иного мы и не ждали...

— Что ж, что не ждали! — перебила его Айкиз. — Радость наша от этого не меньше! Я чувствую, как и у меня растут крылья.

— Верно, Умурзакова, — поддержал ее Джурабаев. — Но вот о чем помните: нам еще предстоят серьезные испытания. Султанов и Кадыров пугали нас трудностями, и в одном они были правы: дорога перед нами не гладкая, не наезженная. Кстати, я давно не был на ваших полях — как там идет работа?

— Урожая ждем богатого,— сказала Айкиз.
— А как Кадыров? Не лезет больше в драку?
— Кадыров?..— Айкиз на минуту задумалась.— Кадыров притих, от него пока ни вреда, ни пользы...
— Значит, уже вред!

Джурабаев присел на угол стола, крепко потер ладошью щеку, огорченно проговорил:

— Проморгали мы с Кадыровым! Да, да, проморгали! Верно молвит пословица: век живи, век учись. Я бы только добавил: учись у народа! Ведь видел же я, как переменялся Кадыров. Понимал, что не справиться ему с новыми задачами, вставшими перед колхозом. А все нянчился с ним, либеральничал, жалел его, ждал, когда он осознает свои ошибки. А простые дехкане не меньше меня уважают раиса, но не хотят потакать его зазнайству. Они поставили вопрос жестко и круто: не надо нам такого председателя, и точка. И они правы. Кадырова давно пора заменить хозяином дальновидным, мыслящим экономически грамотно, современно!

Надо же было случиться так, что как раз в это время в коридоре конторы очутился сам Кадыров, шедший к Смирнову, чтобы выпросить своему колхозу побольше воды для очередного полива. Дверь в кабинет инженера оставалась открытой. Кадыров услышал последние слова Джурабаева. Услышал — и, стараясь ступать тише, попятился назад, к выходу. Опасливо озираясь, он выскочил на улицу, тяжело подбежал к своему коню. Нога его долго не попадала в стремя. Наконец ему удалось взобраться на спиходца, и Кадыров помчался в район.

Когда секретарь обкома, эта «гора», на которую предполагал опереться Султанов, вместо того чтобы в решающий момент выступить против плана освоения пустынных земель в Алтынсае, вдруг объявил себя сторонником этого плана, Кадыров понял, что на посту председателя колхоза ему уже не удержаться. Понял, но не хотел в это верить. Он заправлял колхозными делами, хлопотал, распоряжался, торопил бригадиров, но выполнял эти свои обязанности вяло, без охоты, без удовольствия. Все его мысли, все чаяния и желания слились в одну мысль, непрерывно сверлившую мозг, мешавшую сосредоточиться на повседневных заботах: а вдруг простят, помилуют, не тронут? Ведь у него опыт... И в районе, и в области должны учесть его прежние заслуги. Только бы оставил его пред-

седателем, а он уж показал бы, на что способен Кадыров! Он в лепешку расшибется, а сделает все, что от него требуют! Он не то что эту проклятую целину — всю пустыню засеет хлопком! Только бы не снимали...

Кадыров надеялся на чудо, но чуда не произошло. Случайно подслушанный им разговор в кабинете Смирнова окончательно отрезвил его. «Спета твоя песенка, райс,— сказал он себе с горьким отчаянием.— Бывший райс!..»

В кромешной тьме, обступившей Кадырова, слабым светом светился лишь один маячок. И Кадыров, не задумываясь, ринулся в райисполком, к Султанову. Он не был уверен, что Султанов может его спасти, но председателю райисполкома наверняка известно больше, чем Кадырову. Султанов умеет глядеть вперед, он всегда вливал в своего друга силу и бодрость! Кадыров спешил к нему за поддержкой, за советом, за утешением. Он шел на дно и рад был ухватиться хоть за соломинку.

Пока он добрался до района, его носовой платок, которым он то и дело вытирал лицо, шею, затылок, так вымок, словно Кадыров выполоскал его в речке.

Но вот и знакомое здание райисполкома. Широкая аллея, обсаженная зонтами-деревьями. Аккуратные скамейки для заждавшихся, приученных к терпению посетителей. Приемная, где грозным стражем султановского покоя восседала пышнотелая секретарша. Заветная дверь, оббитая щегольской черной кожей...

Секретарша сухо кивнула Кадырову и зачем-то спросила:

— Вы к кому, товарищ Кадыров?

— Султанов у себя?

Секретарша выплыла из-за своего столика и прочно утвердилась между Кадыровым и дверью, к которой он хотел шагнуть.

— Товарищ Султанов у себя, но никого не принимает. У него совещание.

Кадыров побагровел, провел мокрым платком по вспотевшей шее.

— Мне-то он, думаю, уделит пару минут.

— Товарищ Султанов ни для кого не делает исключения.

— А вы все-таки доложите ему обо мне. Меня он должен принять.

Секретарша пожала плечами и скрылась за дверь. Выйдя через минуту, она с укором сказала:

— Я же вам говорила! Товарищ Султанов очень сожалеет, но у него важное совещание. Если хотите, посидите пока в саду... Но вряд ли он скоро освободится.

— Та-ак... — понимающе протянул Кадыров. Он постоял еще немного, потом круто повернулся и ушел, яростно хлопнув дверь. Все было ясней ясного. Никакого совещания Султанов не проводил — уж Кадырову-то знакомы были эти штучки! Он просто не пожелал видеть Кадырова. Он больше не нуждался в своем друге... Да, товарищ Султанов умел глядеть вперед!

Когда Кадыров вернулся в Алтынсай, солнце клонилось к горизонту. Возле колхозного правления никого не было. Кадыров, обрадовавшись этому, направился в свой кабинет. По дороге он заглянул в комнату, где обычно сидела секретарша. Назакатхон еще не ушла, но была не одна: она разговаривала с отцом.

— Аликул! Когда кончишь разговор, зайди ко мне, — на ходу бросил Кадыров.

Сев за свой стол, он потянулся было к графину с водой, но тут же с досадой убрал руку: графин был пуст. Вот уже несколько дней, как Назакатхон не потчевала раиса ни чаем, ни конфетами, ленилась даже паполнить графин свежей водой. Она стала сторониться Кадырова... Кто знает, может быть, в Назакатхон, позавидовавшей однажды чистой, самозабвенной любви Михри и Керима, проснулось чувство брезгливости — и к себе и к тем, кому она без любви беспечно дарила свою благосклонность. Но у Кадырова сложилось иное мнение: «Почуяла, красавица, что не быть мне раисом, — думал он хмуро, — вот и запела другую песню! То ластилась, лебезила перед председателем, а теперь задрала носишко! Так оно и бывает в жизни: теряешь почет и власть — теряешь друзей. Не хватает еще, чтобы от меня отвернулся твой отец! Ну нет, этот не покинет меня в тяжелую минуту, одной мы веревкой связаны!»

Аликул, войдя в кабинет, поклонился председателю и присел на диван с постным, смиренным выражением лица.

— Слышал? — обратился к нему Кадыров. — Плохи наши дела. Умурзакова добилась-таки своего! Просчитались мы, видно. Крепко просчитались.

— Это ты, ты просчитался, раис, — спокойно возразил Аликул. — Прошу тебя, не вали с большой головы на здорую.

— Погоди, погоди... — нахмурился Кадыров. — Что ты мелешь?

— Худо тебе придется, раис. Ой, худо! — Аликул даже зажмурился от огорчения. — И зачем ты лез на рожон, да еще других мутил?

— Погоди! — Кадыров стукнул кулаком по столу. — Я-то знаю, что меня ждет. Так ведь и тебе не ходить больше в председателях совета урожайности. Вот и давай подумаем...

— А что мне думать, раис? Мне эта должность нелегко досталась. Ой, нелегко! Сколько лет я трудился в поте лица своего, чтобы заслужить уважение народа! Дехкане выбрали меня председателем совета урожайности. Это хорошая должность, раис. Зачем же мне от нее отказываться?

Кадыров тупо уставился на Аликула, еще не понимая смысла его слов. Аликул скромно сидел на диване, перебирая тонкими пальцами тощую козлиную бородку. В прищуренных глазах таилась хитрая лисья усмешка.

Заметив наконец эту усмешку, Кадыров раздраженно сказал:

— Ты что овечкой прикидываешься? Давай говорить откровенно, по-мужски. Ты знаешь, что нам грозит?

— Тебе грозит, раис, — опять пропел Аликул, — тебе, а не мне...

— Да у тебя, видно, дырявая память, а? Мы ведь оба были против целипы! Вместе состряпали это проклятое письмо в газету! Оба мы промахнулись, обоим нам и отвечать перед народом!

— Нет, раис, ты отвечай один. А мое дело — сторона.

Аликул смотрел на него снизу вверх с издевательской хитрецей и теребил, теребил свою бородку...

— Ты что же это, дорогой друг, — с угрозой произнес Кадыров, — в кусты метишь? Хочешь, чтобы я за всех отдувался? Так не пойдет, дорогой. Я пока еще коммунист. Я себя не пощажу, но и вам всем несдобровать!

— А кто тебе поверит, раис? — спросил Аликул, и голос его звучал слащаво, но зловеще. — Слова твои для дех-

кап как пустой орех. Нет тебе веры! А меня колхозники уважают...

— Они еще не знают о твоих темных делах!

— И не узнают. Не узнают, раис. Уж не ты ли им об этом поведаетшь!

— Я своим дехканам не враг. Я расскажу им всю правду и про себя, и про Султанова, и про тебя, старая лиса!

— А я скажу, что это клевета. Председатель, мол, сам напакостил, а теперь валит все на других. Ведь вот как нескладно получается: ты больше всех разорился на собраниях, а я молчал, твое имя попало в статью Юсуфия, а мое нет...

— А твои речи на пирушке? Ведь это ты натравливал меня на Айкиз! Или ты забыл об этом?

— А кто их слышал, эти речи? Рузы-палван? Гафур? — Аликул сжал свой сухонький кулачок. — Так они у меня вот где! Мне ведь известно, чем они занимаются на базах! Меняют породистых коров на захудалых, развлекают брачком колхозное стадо, а денежки кладут себе в карман или тратят на взятки раису. И раис брал их подарочки. У раиса тоже совесть запачкана. Плохо, плохо будет, если об этом узнают дехкане!

Слова Аликула пронзали Кадырова, как пули. Он впилился в старика ненавидящим взглядом, прохрипел, задыхаясь:

— Не боюсь я тебя, старый шакал!

— Боишься, раис, — с каким-то сожалением вздохнул Аликул, — боишься. Да и как тебе не бояться? Ты сам рассуди: покаешься ты перед колхозниками, перед райкомом в своих грехах — не во всех, не во всех, раис! — скажешь, что туман застлал тебе глаза, оттого ты и не разобрался в этом деле с целиной. Ну, побранят тебя, переведут в бригадиры, тем все и кончится. А начнешь топить других — так и другие не будут молчать, и не видать тебе партийного билета как своих ушей. Поверь мне, раис, в этом случае все остальное покажется тебе сладкой халвой! А мне что? Не пойманный, говорят, не вор. Был, правда, грех, видели дехкане, как я с вами пил. Так ведь если и видели — не осудят! Я человек маленький, чего нельзя коммунисту Кадырову — Аликулу простительно. Я скажу: это ты, раис, втянул меня в свою компанию. Я скажу: ты и дочери моей не давал проходу. Мне ведь такое известно,

в чем ты не осмелишься признаться ни на одном собрании!

Кадыров еле сдерживался, слушая Аликула. Сердце переполнилось бессильной яростью. Не помня себя от бешенства, он шагнул к старику, схватил его за ворот, выдал из себя осипшим шепотом:

— Старый шакал! Змея!.. Ты тоже за все поплатишься!

— Пусти! Опомнись, раис!..— Аликул вырвался из рук Кадырова, бросился к окну и, раскрыв его ударом кулака, крикнул:

— Люди добрые! Слушайте меня!

Кадыров за плечи оттащил Аликула от окна, ладонью зажал ему рот.

— Молчи, шайтан! Молчи!

Аликул высвободился из тяжелых объятий друга и довольно ухмыльнулся:

— То-то же, раис! Скажи спасибо, что на улице пикого не было! — Он выпрямился, в глазах его мелькнуло жестокое, беспощадное выражение.— Слаб ты со мной тягаться, раис. Я-то всегда выйду сухим из воды, а ты сам себя погубишь! Разные у нас с тобой пути, дорогой.

Аликул исчез, и Кадыров остался один.

Он сидел на диване, сгорбившись, стиснув коленями большие, тяжелые руки, которым доводилось когда-то держать и кетмень и винтовку. За окном быстро темнело, в кабинете тоже было темно...

Вот и пришел час расплаты, Кадыров...

А до этого часа был в твоей жизни другой час, когда ты, приняв победы колхоза за свои собственные, стал уважать только себя, верить только себе. Жизнь ушла далеко вперед. Люди мужали, учились, тянулись изо всех сил, чтобы быть вровень со временем. А ты самодовольно стоял в стороне, полагая, что все уже постиг. Ты оброс жирком, Кадыров, и сам не заметил, как твоя суровая решительность превратилась во властность, хозяйская расчетливость — в трусливую осторожность, спокойное сознание своей силы — в сытое, тщеславное самодовольство. Ты не хотел этого замечать!

Погляди, Кадыров, кого ты пригрел, с кем советовался все эти годы, кого называл своими друзьями! Только что волчьим оскалом сверкнула тебе в глаза беспощадная усмешка Аликула. А Гафур, Рузы-палван, Молла-Сулейман — разве они лучше, разве не стоят один другого?

Ты чванился, хвастал перед самим собой: «Дехкане меня на руках готовы носить!» А кто расточал перед тобой льстивые речи? Воры, отпетые лодыри, клеветники, подхалимы! Ты утешал себя в трудные минуты: мне есть на кого опереться. Но кто поддерживал тебя, пока ты был в чести? Волки и лисы!

Но они-то и были тебе нужны, Кадыров. Сладкими словами, от которых кружилась твоя голова, они баюкали твою совесть. Им не претили твои самоуспокоенность, самонадеянность, они стремились показать тебя — тебе же — таким, каким ты уже не был, до сказочных размеров раздувая твои истинные и мнимые добродетели. Они помогали тебе жить спокойно, и ты считал себя достойным всяческих похвал, ты даже искренне уверовал в свою правоту, когда пошел против тех, кто боролся за освоение пустынных земель. Неужели ты не видел, что они делают это на благо народа? Видел! Но черная зависть застилала тебе глаза. Ты хотел покоя, вечного почета за свои прошлые заслуги. В твою душу ни разу даже не закралось сомнение: «Как же так — если я прав, то почему меня окружают не лучшие люди кишлака, а лишь те, у кого на уме пиры да забавы?»

Опьяненный тщеславием, ты на все закрыл глаза, чтобы не видеть правды.

Теперь ты узнал цену своим друзьям. Они предали тебя, а ты запутался и не можешь даже отомстить им, вывести их на чистую воду. У тебя связаны руки, Кадыров! Иначе и не могло быть! Ведь Аликул сказал правду: в любом случае он сумеет выкрутиться. А откройся ты во всем перед колхозниками, перед партией — тебе, пожалуй, придется распрощаться с партбилетом.

Нет, ты еще не все понял, раис! Вот и сейчас ты думаешь о себе, о том, как спасти свою шкуру! Чтобы сохранить партийный билет, ты готов пожертвовать партийным долгом и честью, ради этого ты пошел уже на молчаливую сделку с Аликулом! Значит, главное для тебя — не служить партии, а только быть в партии? Но так и перестают быть коммунистами, Кадыров!

Нет, ты еще не все понял...

Ты ведь все еще думаешь, что Умурзакова и ее друзья отстаивали свои планы из карьеристских соображений. Ты до сих пор считаешь, что они тебя «подсживали». Когда ты с горечью заявил Аликулу: «Умурзакова добилась-

таки своего!» — ты ведь хотел этим сказать, что она стремилась к каким-то благам лично для себя. Потому, мол, и торжествует!

Ты так и не видишь, раис, большой их правоты. Не видишь хрустальной сердцевинки этой правоты: заботы о народе, веры в народ. Теперь, видя, как мечта их становится явью, ты сожалеешь, что оплошал, промахнулся, что в свое время не поддержал их, не пошел вместе с ними. Но вспомни, что удерживало тебя от этого? Ты боялся заплатить почетной своей должностью за рискованную попытку, а боялся потому, что не верил в удачу, не верил в своих дехкан, в их коллективную мудрость, в их силу. Нет, не прошла еще твоя слепота, Кадыров!

И если ты не наберешься мужества, не отрешись от мелких забот о своей особе, не взглянешь правде в глаза, не постарайся понять все-все до конца — ты останешься совсем один.

А это самое страшное в жизни — остаться одному...

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ПЕРВАЯ ДОЛГОЖДАННЫЙ ДЕНЬ

Алтынсайцы на общем колхозном собрании выбрали председателем правления «Кызыл юлдуз» Алимджана. Кадырову дали звено в одной из новых, целинных бригад. «Можно считать, легко отделался, — с горечью подумал бывший раис, — могло быть хуже. Что ж, поделом тебе... размазня!» Так и не отважившись на полное и чистосердечное раскаяние, Кадыров намеревался загладить свою вину честным трудом на целине, а кстати показать всем, что есть еще у него порох в пороховницах. Прежние друзья от него отшатнулись, но он был рад этому: отдалившись от них, он уже не чувствовал себя их соучастником.

К концу августа по арыкам новых поселков побежала вода. По всему району началось массовое переселение, которое, по расчетам райкома и сельсоветов, должно было завершиться перед уборкой урожая. В киплаки, выросшие в пустынной степи, вселялись колхозники Алтынсайского, Яккатутского, Аккумского и Кукташского сельсоветов. Степь оживала. Оживала степь, где раньше встречались

лишь редкие землянки чабанов, отчего она казалась еще пустынной, необозримее, неприятней.

Но прав был Джурабаев — дело, начатое инициаторами «Кызыл юлдуз», оказалось прекрасным началом широкого движения за освоение пустынных земель, превращение их в благодатные хлопковые поля.

Многие из колхозов, расположенных по соседству с «Кызыл юлдуз», успели уже вспахать целинные земли, пришедшиеся на их долю. Яккатутцы, посоветовавшись с трактористами, решили дополнительно освоить еще двести гектаров целины. Целинная степь переставала быть целинной. Камешек, кинутый алтыпсайцами, рожд-дал лавину.

В Катартале почти все семьи — а их там было не меньше двадцати — покидали старые дома. Новоселы побывали в новом кишлаке, придирчиво осмотрели отведенные им жилища, навели порядок во дворах и на приусадебных участках, посадили плодовые деревья, заготовили топливо на зиму. Кишлак был хорош; он сразу полюбился катар-тальцам, и они спешили в нем обосноваться.

Наконец наступило утро переселения.

Перед рассветом в Катартал прибыла колонна грузови-ков и выстроилась длинным праздничным караваном на единственной улице. Борта машин были украшены кумачом, над кабинами пламенели плакаты, на радиаторах бились по ветру красные флажки. На каждом из грузови-ков, на борту или на кабине, крупными буквами было начертано имя главы семьи, для которой предназначалась машина.

В кишлаке царило радостное оживление. В центре его, прямо на улице, разожгли костер, который казался изда-лека огромной, трепетной махровой розой. Пока катартал-цы с веселым энтузиазмом грузили на машины ковры, сто-лы, одеяла, кровати и непременно громоздкие, тяжелые сундуки, набитые одеждой и всякой домашней утварью, у костра не смолкала бодрая музыка. Мерно гремел бубен, горланно трубили карнаи, звенели струны дутара и тамбу-ра, переливчато пели сурнай и флейта. Музыканты стара-лись, и дехкане, не удержавшись, один за другим пуска-лись в пляс. В этом празднестве участвовали не только катарталцы, сюда пришли гости из Алтынсая — попля-сать, повеселиться, порадоваться за друзей, родичей, това-рищей по труду.

Были тут Бекбута, Сувапкул, Керим. Собралось много и других алтынсайцев. Когда начал плясать Керим, к костру сошлись все колхозники, гости и хозяева. Они дружно хлопали в ладоши, подбадривая танцора, и Керим упруго, как пружина, взлетал над землей, лихо перебирал плечами, кружился волчком, стремительно переступая с ноги на ногу. Гибкий, ловкий, он был подвижным, как пламя, и казался невесомым, как пламя.

Разгоряченный, с каплями пота на висках, он остановился против Сувапкула, приглашая тракториста поразмяться в танце, а тот потянул за собой Бекбуту. Сувапкул не столько плясал, сколько топтался на месте, тяжело поворачиваясь, неуклюже взмахивая богатырскими ручищами. А Бекбута с кокетливой грацией выюпом вился вокруг друга, двигая бровями, умильно улыбаясь, подмигивая. Зрители смеялись, аплодировали, танец имел успех. Керим, полный сил, задора и восторга, приглашал в круг все новых и новых танцоров. Пришлось показать свое умение и Смирнову с Погодиным. Погодин был грузноват, но в веселом этом состязании одержал верх над инженером: он так плясал вприсядку, такие выделял коленца, что все только диву давались.

Утро постепенно вступало в свои права. Оно началось робкой светлой полоской у горизонта, потом зарозовели пышные облака, скопившиеся на востоке. Вскоре весь воздух стал прозрачно-розовым, и уже в утреннем свете, залившем горы, небо и землю, побледнело пламя костра, зато ярче заалел кумач на машинах.

Погрузка была окончена. Перед дехканами с короткой речью выступила Айкиз, после нее взял слово Уста Хазраткул. Он был в тот день вдвойне именинником: вместе со всеми катартальцами бригадир строителей перебирался в новый кишлак, а кишлак этот был детищем самого Уста Хазраткула. Голову мастера не покрывала обычная соломенная шляпа, он заменил ее новенькой тюбетейкой; по случаю праздника он обзавелся новыми сапогами, брюками-галифе, серым камзулом. Принарядившись, он выглядел не таким длинным и нескладным, как в старой одежде.

— Ныпче у нас праздник, друзья мои,— сказал Уста Хазраткул.— Большой праздник! Такие выпадают не каждый год. Новый дом — это новая жизнь, оттого с такой охотой переезжают люди в новые жилища. Поселишься в новом доме,— а он во сто раз краше прежнего,— и своими

глазами видишь, всем сердцем чувствуешь: «Да, сегодня я живу лучше, чем вчера! Не зря я, значит, трудился, вознаграждены мои старания». Когда одна семья переселяется, радуются и сами новоселы, и родные их, и друзья. Веселым новосельем отмечают они этот день! А тут весь кишлак снимается с места, новоселье ждет всех катарталцев! Великая это радость, друзья, и спасибо за нее родной партии, всему народу! А я, дорогие, счастлив еще потому, что это ведь моя бригада приготовила вам такой подарок! — Бригадир горделиво разглядил свои пышные, чуть опущенные книзу усы. — Не хвалясь, скажу, молодцы мои работали не покладая рук и одно держали в уме: как бы сладить такие дома, чтобы вы, друзья мои, ни к чему не могли придуриться! Мне тоже дали дом в этом кишлаке, и уж поверьте, заживу я в нем на славу, а я-то знаю толк в домах! Лишь слепым упрямам это переселение не в радость, а в тягость. Есть у нас в кишлаке такие... Они остаются в Катартаге, и мне их, ей-богу, жалко! Подождем, может, они еще прзреют. Вас же всех я от души поздравляю с новосельем, желаю вам на новом месте светлой, честной, счастливой жизни...

— По машинам, друзья! — взволнованно воскликнул Алимджап после речи Уста Хазраткула. — Приглашаем вас в ваши новые дома!

Новоселы и гости с шумом разместились в грузовиках. Праздничный караван двинулся. Впереди, на «газике», ехали Айкиз, Алимджап, Смирнов, Погодин. За ними — грузовик с оркестром. Дальше — машина с семьей и имуществом Уста Хазраткула, которому выпала честь первым из новоселов въехать в новый кишлак и занять новый дом.

Катартал опустел, но ненадолго. По инициативе Алимджана здесь предполагалось создать молочную ферму, за которую он ратовал уже давно, но встречал до последнего времени упорное сопротивление Кадырова, смотревшего и на ферму как на лишнюю обузу.

Катарталцы с музыкой, с песнями проследовали через Алтыисай. Зазеленели с обеих сторон дороги хлопковые поля. Гости распрощались с хозяевами, спрыгнули с машин, заторопились в свои бригады.

Караван с новоселами хорошо был виден с того участка, где работала бригада Муратали. Услышав гром оркестра, ликующие возгласы, старик обернулся к дороге и долго стоял, сурово сомкнув губы, то ли с завистью, то ли с не-

одобрением глядя на грузовики, сливавшиеся в длинную алую ленту.

Муратали не пошел в Катартал проводить своих земляков в недалний счастливый путь. Он не хотел ожесточать свое и без того наболевшее сердце. Чуть-чуть завидуя новоселам, он не мог понять, как решились они оставить родной кишлак, где столько лет жили, горюя, радуясь, растя детей, где земля была полита их потом, а могилы близких — жгучими слезами, где с таким тщанием, так бережно и любовно ухаживали они за каждым деревцем, за каждой зеленой травинкой. Глядеть на то, как они уезжают оттуда, — все равно что смотреть, как рубят и увозят деревья, оставляя в земле корни, без которых дереву не жить.

Так думал старый Муратали. А еще с печностью и тревогой думал он о своем урюковом дереве. Каким-то оно стало за это время? Зреют ли его плоды? Не ленится ли сосед, взявшийся присматривать за урюком, поливать прихотливое дерево?

Муратали давно не был в Катартале. Настала страдная пора, а в такие дни он всегда ночевал на полевом стане. По чести сказать, хотя сам Муратали не хотел в этом созпаться, его не тянуло домой. Тоскливо было изо дня в день отмерять в одиночестве длинный путь от Катартала до Алтынсай и обратно. Дома стало пусто и неуютно, когда ушла Михри...

Муратали любил дочь больше всего на свете. Ей не было и двенадцати лет, когда она потеряла мать. С тех пор Муратали неуслыно заботился о дочери, наставлял ее, воспитывал, радовался ее успехам, гордился ее прямо-той, честностью, трудолюбием, а когда она прихварывала, на руках относил ее в Алтынсай. Он часто повторял, что Михри для него — все...

И вот уже несколько дней, как он встречается с ней только на работе, дает ей как бригадир нужные указания и тут же отворачивается, отвечая упрямым молчанием на все ее слова, просьбы и слезы. Михри искала примирения, она все делала, чтобы смягчить отца, но Муратали оставался непреклонным. Все видели, как тяжело переживает он ссору с Михри. За эти дни он стал еще суровей, неразговорчивей. Но как ни тяжело ему было, на уступки он не шел и строго-настрого запретил всем произносить при нем имя дочери. Он не мог простить Михри ни позорной любви

к Кериму, любви, не получившей отцовского благословения, ни того, что она вопреки его воле согласилась переселиться в новый кишлак.

Сейчас она, верно, сидит на одном из грузовиков, возле вещей, которые забрала из дому, а рядом развалился Керим. Они весело, беспечно смеются, и пет им никакого дела до старого Муратали, «темного, глупого старика», как, по словам Гафура, назвал его этот невоздержанный на язык мальчишка.

Он и не догадывался, старый упрямец, что Михри, уже получив дом в новом кишлаке, о переселении еще не помышляла. Айкиз посоветовала подруге:

— Подожди пока уезжать из дому. Не серди отца. Пусть сама жизнь его образумит.

— А что скажут дехкане, Айкиз-апа? — возразила Михри. — Я, комсомолка, призывала всех переселяться, а сама остаюсь в старом доме!

— Не бойся, дехкане тебя поймут. Потерпи немного. Одной тебе нельзя переселяться. Нехорошо это...

И Михри согласилась с Айкиз — ведь и она любила отца больше всего на свете...

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ВТОРАЯ ПРОЗРЕНИЕ МУРАТАЛИ

На другой день Муратали занемог. Пришлось лечь в районную больницу. Он уже давно страдал болезнью печени, но на этот раз приступ оказался особенно острым.

Бригадиром вместо себя Муратали оставил Гафура — назло дочери, назло Айкиз, приютившей строптивицу, назло самому себе! Старик недолюбливал Гафура, но из упрямства убеждал себя, что Гафур — человек надежный. Он, правда, любил гонять лодыря, да это, верно, оттого, что черная работа не по нем, а когда ему придется отвечать за всю бригаду, он подтянется, не захочет уронить свое достоинство. Алимджан в тот день был в районе, а председатель совета урожайности Аликул с легким сердцем одобрил решение Муратали: Гафур мог ему пригодиться. Пусть покомандует бригадой, понаслаждается властью — власть всем по сердцу...

В больнице Муратали пробыл около двух недель. Михри несколько раз пыталась пройти к нему, но он не велел

ее пускать. Наведывался в больницу и Керим, но и ему не удалось проникнуть к больному. Муратали никого не хотел видеть. Врачам и сестрам, которым раздражительный старик доставлял немало хлопот, ничего не оставалось, как пуститься на хитрость: они брали передачи, но не говорили, кто их принес.

Почувствовав себя лучше, Муратали попросил немедленно выписать его. Не без скандала добился своего. Когда он вышел на улицу, у него с непривычки закружилась голова. Он превозмог слабость и твердым шагом направился к шоссе, где сел на попутную машину. Однако до Алтынской он не доехал, а сошел неподалеку от своего участка. Все дни, пока он лежал в больнице, его грызла одна забота, одна тревога: не подвел ли его Гафур? В эту пору хлопок пуждался в тщательном окучивании, в своевременном поливе. Муратали хотелось поскорей увидеть свой хлопчатник.

Время близилось к вечеру. В поле никого не было. Минувая земли соседних бригад, Муратали добрался до своего поля. Сердце у него упало. Некоторые участки поля были заброшенными, хлопок в этих местах густо зарос сорняком, в иных междурядьях на сухой, плохо обработанной земле валялись опавшие цветы и бутоны. Случилось самое страшное: хлопок, не получивший достаточно воды и заботливого ухода, начал сбрасывать цветы! Еще день-другой — и все цветы осыплются. Зеленые, похожие на орехи коробочки, уже появившиеся в нижней части кустов, останутся, а новых не будет!

Так Гафур отплатил старому Муратали за все добро! Гафур и думать не думал о хлопке, о чести бригады, не следил, как работают дехкане, и те из них, кто всегда отличался перадивостью, в эти дни совсем не брались за кетмень. Ведь хлопок красноречивей всяких слов рассказывал бригадиру о том, кто как трудился...

У Муратали слезы подступили к горлу. В отчаянии он смотрел на участок, где рядом с заботливо окученными кустами пригорюнились забытые, непоенные, и в душе закипала злость и на себя и на Гафура. Обманщик, лодырь и пьяница — вот кто такой Гафур! Он сам как сорная трава, заглушившая хлопок, как вот та повилика, обвинившая куст хлопчатника! Нежно обняв этот куст, прильнув к нему с дружеской доверчивостью, она душит хлопок! У повилики нет корней, она питается соками растений, кото-

рым дарит свою коварную дружбу. Растение высыхает, гибнет, а повилিকা торжествующе тянется к солнцу. Так и ты, Гафур, кормишься чужой бедой! Старый Муратали доверил тебе бригаду, положился на тебя как на друга, а ты, почуяв свободу, бросил все и помчался на базар. Уж, наверно, все было именно так! Недаром же Михри назвала тебя спекулянтом. За хорошую цену ты готов продать свою совесть, дружбу, чужое доверие! Тебе, как повилিকে, вольготно лишь тогда, когда плохо другим. Где ни ступит твоя нога, там осыпаются цветы и лезет из земли сорняк!

Но погоди!.. Не бесконечно твое благоденствие! От повилики можно избавиться. В том месте, где она разрослась, дехкане поливают землю керосином, поджигают его, и повилিকা обращается в пепел! А вместе с ней сгорает все, что росло по соседству... Тебя настигнет кара народа, Гафур, а Муратали уже наказан, жестоко наказан за упрямство, за то, что не научился отличать врагов от друзей. Дорого платит он за свою слепоту: загубленный тобой хлопок уже не спасти...

Муратали глубоко вздохнул, повернулся и побрел к левому стану, чтобы взять кетмень и отвести душу в работе. Но на стане он неожиданно встретил Айкиз.

— Поправились, Муратали-амаки?! — воскликнула она с искренним дружелюбием. — Я от души рада за вас.

— Радоваться-то печему, — растерянно сказал бригадир. — Беда у меня, дочка...

Лицо у Айкиз стало серьезным. Она участливо кивнула.

— Знаю, Муратали-амаки. Я сегодня прошлась по всем участкам, была и на вашем. — И спросила с мягким упреком: — Как же это вы, ни с кем не посоветовавшись, поставили бригадиром Гафура?

— Я сказал Аликулу.

— И Аликул согласился с вашим решением? Непонятно. Всем же известно, что за птица Гафур!

— Ой, дочка... Я-то вот поверил этому нечестивцу.

— Так ли, Муратали-амаки? — В голосе Айкиз слышалось сомнение. — Вы не знали, что представляет собой мой дядюшка?

Муратали поднял на нее глаза, в которых были сейчас только печаль и усталость, и тяжело вздохнул.

— Знал, дочка. Я сам во всем виноват.

— Да вы не огорчайтесь, Муратали-амаки! — ласково сказала Айкиз. — Хлопок еще можно спасти.

— Ты добрая, Айкиз. Но боюсь, что спасти его трудно.

— А мы постараемся. Придумаем что-нибудь!

— Поздно думать, дочка! — Муратали обреченно махнул рукой. — Бригаде понадобится не меньше недели, чтобы выходить хлопок. У нас ведь немало и других забот. А за неделю чахлые кусты сбросят все цветы и бутоны.

Айкиз задумалась, и снова ее лицо осветилось ободряющей улыбкой.

— Никогда не надо терять надежду, бригадир. Увидите, все будет хорошо. Идите домой и отдохните. Вы давно из больницы?

— Днем выписался.

— Ну вот! Не бережете вы свое здоровье.

— До здоровья ли тут, дочка? Ступай, а я немного поработаю.

— Ведь уже темнеет, Муратали-амаки. Какая теперь работа глядя-то на ночь! Пойдемте, я провожу вас до Алтынсае, а там — садитесь на Байчибара и поезжайте к себе в Катартал. Или вы хотите почевать в Алтынсае?

— Нет, я домой... Соскучился по Катарталу.

Когда они вышли на дорогу, Айкиз заинтересовалась:

— Вы так и не надумали переселяться, Муратали-амаки? Ваши все уже справили новоселье. И очень довольны.

У Муратали не было сил ни спорить, ни возмущаться, он только проворчал:

— Мне за другими не угнаться! Ты слышала, что говорят про меня приткие на язык комсомольцы? Муратали — темный, глупый, никуда не годный старик!

— Полно вам, Муратали-амаки! Никто так о вас не говорит.

У Муратали задрожали губы.

— А ваш хваленый Керим? Мало ему, что он отнял у меня дочку, он еще обливает старого человека грязью! И ты хороша, Айкиз! Вместо того чтобы усостыжить их, ты дала Михри уют...

— Михри — моя подруга, я не могла отказать ей в убежище. Но вы... Кто-то оклеветал перед вами Керима! Поверьте, Муратали-амаки, мало кто относится к вам с таким уважением, как Керим. Спросите у дехкан, он всегда говорит о вас с сыновней почтительностью. Кто же вздумал чернить его?

Муратали молчал.

— Нет, ни от кого я не слышала о вас худого слова,— продолжала Айкиз.— Хотя, скажу вам честно, нас очень огорчило, что вы не хотите переселяться. Нам больно было за вас, Муратали-амаки! Вы же всегда были с народом и вдруг оказались в стороне от общего дела. Все покинули Катартал, вы один упрямитесь. Подумайте, Муратали-амаки, может ли быть, чтобы все заблуждались, а вы один были правы? Вы не обижайтесь, но, если человек остается один, значит, он неправ! И вам, я уверена, в тягость ваше одиночество. В одиночестве человек и сам несчастлив, и других не может осчастливить. В одиночестве даже гора разрушается под дождем и ветром! Вы сами, чуть отошли от людей, уже попались в сети к злоязычному сплетнику! Дереву и то трудно одному...— Айкиз замолкла, вспомнив о чем-то, и после недолгого раздумья опечаленно сказала: — Вы еще не знаете, Муратали-амаки... Урюк-то ваш погиб.

Муратали не поверил Айкиз, но ее слова заставили его поторопиться. С благодарностью он принял от нее Байчи-бара и вскоре был уже в Катартале. Привязав копя к калитке, старик кинулся к урюку. Над землей сгустились вечерние сумерки. Но темнота не мешала разглядеть, что урюк засох. На ветках, не опав, засохли листья... Он с горькой нежностью погладил нижнюю ветку. Листья рассыпались под его ладонью. Кора оказалась жесткой, шероховатой. Айкиз сказала правду.

Ослабевший после болезни, изнуренный событиями прошедшего дня, старик еле доплелся до постели. Не зажигая огня, не раздеваясь, он лег, но спал дурно, беспокойно. Всю ночь его мучали кошмары.

Утро принесло ему и горе и утешение.

Когда в комнату просочился бледный рассвет, Муратали поднялся и увидел, что в доме ничего не тронут. Все вещи оказались на месте, кровать дочери аккуратно застелена, словно Михри никуда не уходила. Выходит, зря он на нее сердился. Она все еще живет у Айкиз, а не в новом поселке. Она еще не оставила мысли вернуться к отцу.

Выйдя во двор, Муратали чуть не заплакал от жалости, увидав, каким стало родное его сердцу дерево. Его, паверно, еще весной побил морозом, а Муратали не заметил этого. У дерева хватило сил выпустить листья, расцвести в последний раз, а в июле оно зачахло, высохло. Как бы

пи поливал его Муратали, как бы за ним ни ухаживал, оно уже было обречено. Но в последнее время старик редко бывал в Катарале и мало ухаживал за своим деревом.

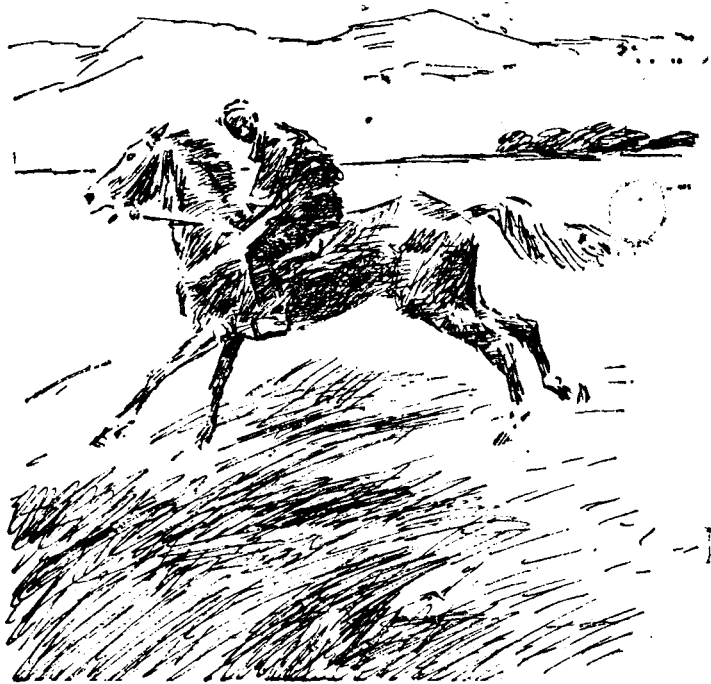
Внизу, в колхозном саду, урюковые деревья выстояли, не потеряли ни одного листочка, завязали плоды. Их было много, они прикрывали друг друга от резкого, ледяного ветра, делились друг с другом теплом, помогали друг другу. Мороз оказался не страшен для них, дружных и сильных. А его дерево, одинокое и незащитное, стоит с голыми ветвями, почерпелое, словно обуглившееся, покрытое сухими, свернувшимися в трубочку листьями... Верно сказала Айкиз: дереву и то трудно одному.

С тяжелым сердцем вышел Муратали на работу. А когда пришел к себе на участок, не сразу понял, что там происходит. Поняв же, не поверил глазам.

В поле была не только его бригада, но и бригады Бекбуты и Керима. Муратали никогда не видел, чтобы на одном участке трудилось столько народу. Дехкане выпалывали сорняки, рыхлили землю, в междурядьях весело журчала вода. Вдали, ближе к каналу, усердствовали «Универсалы», проводя культивацию. Тракторы мог прислать только Погодин, — значит, и он не остался безучастным к чужой беде. Вот они, настоящие его друзья, которые в трудную минуту, не раздумывая, поспешили ему на помощь! Муратали был ошеломлен, даже не знал, за что ему приняться. Он сгреб в охапку вырванные из земли сорняки, отнес их к дороге. Вернувшись, хотел окучивать куст хлопчатника, но кетмень выскользнул из его рук. Старик разогнул спину, растерянно огляделся. Его уже заметили, дехкане смотрели на него с добрыми, чуть лукавыми улыбками. Неподалеку от Муратали прополку вела Айкиз — она в это утро тоже взялась за кетмень, и Муратали, обходя кусты, направился к своей спасительнице. Он не сомневался: это она вывела народ в поле, ведь обещала же она ему что-нибудь «придумать». По щекам старика катились слезы. Он крепко обнял Айкиз и не нашелся даже, что сказать.

— О чем плачете, Муратали-амаки? — молвила Айкиз и сама вдруг почувствовала, как у нее защищало глаза. — Ведь все теперь хорошо.

— Спасибо тебе, дочка, — сказал Муратали. — До конца жизни я этого не забуду...



— За что спасибо? Это все Керим, Бекбуга. Я вчера сказала о вашей беде Алимджану, а он, оказывается, обо всем уже позаботился. Он еще вчера совещался с бригадирами, и Бекбуга с Керимом обещали ему, управившись у себя, поработать и на вашем участке. Сами видите, Муратали-амаки, они выполнили свое обещание! Бекбуга так и сказал Алимджану: снег, заваливший дом соседа,— это снег и на моей крыше.

— Отцы ваши могли бы гордиться вами! — растроганно произнес Муратали.— Дай бог и тебе с Алимджаном таких же разумных и добрых детей!

Айкыз слегка покраснела и, чтобы скрыть смущение, посоветовала:

— Вы бы пошли к своей дочери, Муратали-амаки. Вон она, видите? И Керим там же. Не сердитесь на них. Они оба молоды, и мысли у них как горячие иноходцы: скачут порой, не разбирая дороги!



— Я не держу па них зла в сердце. Молодость как бутон цветка: бутон живет, чтоб распуститься, молодость — для счастья и любви.

Дождавшись, когда Керим и Михри оказались рядом, Муратали пошел к ним. Они переглянулись, прервали работу и, выпрямившись, ждали старика. Оба стояли, потупив глаза, смущенные и взволнованные.

Подойдя к ним, Муратали поцеловал в лоб дочку, поздоровался с Керимом.

— Спасибо, сынок...

Впервые старый Муратали назвал Керима сыном. Он в эту минуту чувствовал себя так, словно перевалил через высокую гору.

— Спала с моих глаз повязка, дорогие, — тихо сказал он. — Теперь я знаю, кто мне друг, кто враг...

Старик оглянулся, ища глазами виновника свалившейся на него беды — Гафура. Но Гафура не было.

Не явился он в бригаду ни на другой, ни на третий день. Прослышав о выздоровлении Муратали, он исчез, как пашкодивший кот. Гафур страшился гнева своего бригадира, знал, что не будет ему поблажек и от нового председателя. Тот уже выгнал с фермы Рузы-палвана, а Молла-Сулеймана — из бригадиров. Гафур собрался навсегда покинуть кишлак. Он ненавидел всех — племянницу, Алимджана, Муратали, всех дехкан, весь Алтынсай, всю эту новую жизнь, в которой ему было так тревожно и неуютно.

Перед уходом он решил отомстить хоть кому-нибудь из своих недругов. Месть его была грязной и мелкой, под стать пакостной и мелкой душонке Гафура.

Подлый свой замысел он осуществил на исходе ночи, когда все спали. Только Муратали, почевавший, как обычно, на молевом стапе, поднялся рано-рано, перед самой зарей, и пошел на канал умыться.

Старик уже наклонился над водой, как вдруг певдалеке раздался глухой цокот копыт. Муратали оглянулся. Было темно, но сумрак уже начал редеть, и зоркие глаза старого бригадира заметили силуэт всадника, едва различимый на фоне предрассветного неба. Всадник скакал вдоль берега канала, по тропинке, ведущей в степь. Он изо всех сил подгонял коня. Куда же это он спешил в такой неурочный час?..

— Эй!.. Кто такой?.. — крикнул Муратали, и голос его прозвучал в устоявшейся тишине сильно и звонко.

Услышав оклик, всадник резко повернул коня и стал удаляться от канала. Это насторожило Муратали, и он, не мешкая, спустился с берега. Поблизости паслась лошадь, принадлежавшая его бригаде. Старик освободил ее от пут и уже через миг, прихватив с собой веревку, мчался вслед за подозрительным незнакомцем. Лошадь, выбранная им, долгое время ходила в упряжи, но не утратила былой резвости, она бежала легко, а конь незнакомца, видно, артачился; и расстояние между ним и Муратали неуклонно сокращалось. Неожиданно всадник, которого преследовал старик, опять изменил направление: он пустил коня через поле к целинной степи. Муратали бросился наперерез и вскоре приблизился к нему настолько, что мог разглядеть седока. Велики же были его удивление и ярость, когда он узнал в беглеце... Гафура, а в коне, на котором тот сидел, Байчибара.

Так вот оно что!.. Этот мерзавец под покровом ночи увел у Айкиз ее любимого скакуна, надумав, видно, удрать из колхоза и заодно напакостить племяннице. Судя по всему, он держал путь в Кызылкумы, стремясь поскорей скрыться от людских глаз.

— Стой! Стой, шайтан!..— снова крикнул Муратали.

Гафур, не останавливаясь, обернулся, вынул из-за голенища нож и погрозил им старику.

Ночная мгла быстро таяла, Муратали легче стало следить за каждым движением беглеца. Гафур нещадно колотил по запавшим бокам Байчибара новыми сапожками, и конь с громким протестующим ржаньем летел вперед, как стрела, выпущенная из лука. Но и лошадь Муратали не отставала от Байчибара. Она неслась, плотно прижав уши, и старик лишь изредка подхлестывал ее веревкой, из которой на ходу успел сладить аркан.

Однако воспользоваться арканом ему не пришлось. Путь Гафуру преградил арык, идущий от старых земель к целинным. Гафур, понукая коня, хватил его кулаком по шее; Байчибар взвился на дыбы и, сбросив седока, перемахнул через арык. Очутившись на другом берегу, он замер как вкопанный, пошевелил ушами, словно прислушиваясь к чему-то, а потом тряхнул гривой и устало побрел к кишлаку...

Поднявшись и разлепив глаза, забитые пылью, Гафур увидел рядом с собой Муратали, уже спрыгнувшего с лошади. Преступник изготовился было бежать, но старик цепко схватил его за рукав.

— Ты что же это затеял, негодяй?..

Гафур, будто только сейчас узнав старика, с наглой развязностью воскликнул:

— Это ты, бригадир?.. Слава аллаху!.. А я уж думал, какой бандит за мной гонится.

— Сам ты бандит! Был вором, вором и остался. Я твою черную душу насквозь вижу. Идем в сельсовет, злодей, там ты получишь по заслугам!..

Гафур дернулся, стараясь вырваться из рук бригадира, но у Муратали была железная хватка. Наглая ухмылка сползла с лица Гафура, глаза воровато забегали. Лстыиво, просительно он принялся уговаривать:

— Не кричи, дружок! Зачем кричать? Мы с тобой старые приятели...

— Такой друг, как ты, опасней врага!

— Ай-яй, зачем так говоришь? Твои враги в Алтынсае. Враги твои те, кто задумал лишить тебя дома и дочери. А я всегда желал тебе добра...

— От твоей доброты зачах наш хлопок!

— Хлопок-то не твой, а колхозный. А тебе я всегда был другом. Я один понимал, как дорог твоему сердцу Катартал. Вспомни-ка, кто защищал тебя, кто помогал тебе добрым советом, когда стали к тебе приставать с этим переселением.

— Спасибо за советы, Гафур,— с усмешкой сказал бригадир,— спасибо! Они пошли мне на пользу. Уж если ты против какого дела,— значит, дело это хорошее, стоящее... Вот я и решил переселиться.

— Ай-яй!.. И ты зашлясал под их дудку?

— А ты думал, я вечно буду слушать таких, как ты? Слепец лишь однажды теряет посох! Глаза мои раскрылись, я уже не спутаю черное с белым!

— Сколько лет ты знаешь меня, Муратали...

— Я знаю, что ты вор, торгош, разбойник с большой дороги!

— Ну погоди...— прошептал Гафур.— Погоди...

Весь этот разговор Гафур затеял, чтобы выиграть время, усыпить внимание Муратали. Выбрав удобный момент, он подставил старику подножку, толкнул его в грудь, и Муратали упал на землю. Гафур прижал коленом его руку и торжествующе прорычал:

— Что? Отчего же ты не ведешь меня в сельсовет?

— На помощь! — крикнул Муратали.— Помогите!

— Тише ты, старый пес! — Гафур достал нож.— Заткни свою поганую глотку!..

— На по-омощь!..

К арыку с полевого стана уже бежали дехкане, которых давно разбудил шум погони. Топот все приближался. Гафур оглянулся. Муратали, воспользовавшись его минутной растерянностью, выбил нож из его руки. Гафур, выругавшись, вскочил на поги, сильным пинком толкнул старика в воду и, перейдя арык вброд, кинулся бежать в степь...

Очнувшись, Муратали увидел склонившиеся над ним лица дехкан из его бригады. Он был весь мокрый, тело бил озноб, болела рука, плечо, затылок, но он пересилит боль и с трудом приподнял голову.

— Это Гафур... Это он меня... Надо его задержать, он украл коня.— Старик протянул в темноту трясущуюся руку.— Он побежал туда, в степь...

Михри, плача, вытирала кровь с отцовского лица, а дехкане бросились ловить преступника. Их опередил Суванкул, который в это время в степи заправлял трактор горючим. Услышав крики о помощи, он настиг Гафура, сгреб его в охапку и поволок к тому месту, где лежал Муратали. Гафур бился в могучих руках тракториста, как заяц.

Кинув своего пленника на траву, Суванкул не удержался и в сердцах крепко пнул его. Гафур очутился перед Муратали, которого подняли, поддерживая под руки. Злодея тоже подняли. Он встал, поникший, опустив голову, колени его мелко дрожали... Муратали взглянул на него в упор, плюнул и, отвернувшись, тихо вздохнул:

— Не человек это... Сорная трава, повилика. Выпальвать ее надо, выжигать, чтоб и духу от нее не осталось...

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ТРЕТЬЯ БОРЬБА ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Пролетели дни, прошли недели, наступила осень — пора уборки хлопка, пора волнения, которое охватывает всю республику. Кем бы ни был человек, живущий в Узбекистане, где бы он ни работал, в эти дни он думает о том, сколько колхозами собрано хлопка, много ли не хватает до тех трех миллионов тонн, которые обещаны государству. В эти дни все следят за боевой сводкой, которую публикуют газеты. В пей отмечается, как проходит сбор хлопка в каждой из областей. Ученые и писатели у радиоприемников внимательно выслушивают сводку, рабочие на заводах, толпясь в перерывах у газетных витрин, горячо спорят, какая из областей окажется в этом году впереди. Студенты, спеша на лекции, задерживаются у репродукторов и с искренней, пылкой заинтересованностью обсуждают ход хлопкоуборочных работ. Даже приезжих захватывает общее волнение, и, покупая газету, они ищут глазами все ту же сводку.

В эти дни хлопок — главная тема разговоров, главная причина беспокойств и радостей, главная задача, главное занятие.

Осень!.. Счастливая, тревожная, трудовая пора!..

В один из таких осенних ласково-теплых дней Айкиз и Джурабаев, встретившись в конторе Смирнова, пошли пешком по полям взглянуть, как спорится дело у колхозников «Кызыл юлдуз», каковы у них успехи, какие трудности им мешают.

Тропинкой, бегущей вдоль широкого старого канала, где вода, как это всегда бывает по осени, стала совсем прозрачной, они дошли до тракторного стана и там разыскали Погодина. Погодин в эти дни был хмур, придиричив, старался взвалить на себя побольше работы, и все понимали, что делает он это, чтобы отвлечься от грустных мыслей о невесте, о Лоле, которая опять уехала в город продолжать учение.

Обращаясь к Джурабаеву, Погодин ворчливо спросил:

— О чем думают у вас в районе? Почему до сих пор нет дороги на целину?

— Всему свое время.

— Вот-вот! Есть у меня такие трактористы: выйдет из строя какая-нибудь деталь, а им и горя мало — после, мол, исправим! А из-за этого пустяка в разгар работы трактор останавливается — и на ремонт требуется уже не полчаса, а неделя! Вы ведь знаете, товарищ Джурабаев, отложивши дело — так его снегом занесет, плесенью займет.

Айкиз засмеялась: Погодин опять щегольнул узбекской половицей, а Джурабаев, с недоумением посмотрев на нее, добродушно проговорил:

— Ты, Иван Борисыч, ринулся в атаку, не разобрав еще, есть ли перед тобой противник. К зиме дорога будет, твердо тебе это обещаю!

— Вы не обижайтесь на нашего директора, — сказала Айкиз Джурабаеву, и в глазах у нее запрыгали лукавые огоньки. — У него в силу некоторых причин дурное настроение...

— Настроение у меня обычное.

— Так ли, Иван Борисыч? А мне кажется, после моих слов твое сердце забилось чаще.

— Мотор у меня всегда работает ровно, — неуклюже пошутил Погодин, но таиться от Айкиз ему не хотелось, и он откровенно сказал: — Только теперь вот забарахлил. И какой черт выдумал эти разлуки!

— Не кручинься, Иван Борисыч, тем радостней будет встреча! Я это по себе знаю.

Погодин ушел к своим трактористам. Джурабаев и Айкиз направились к хлопковым полям.

— Слыхал я, Айкиз, что тебя прочат в председатели райисполкома,— сказал Джурабаев.— Не хотел говорить об этом раньше времени, да не утерпел.

— Почему же именно меня? — с испугом воскликнула Айкиз.— Не справлюсь я, товарищ Джурабаев. Опыт у меня очень мал.

— Справишься! Тут главное — сердце, а не опыт. Сердце, чувствующее нужды народа! А опыт накопишь на работе. Сначала работа, потом опыт — так ведь бывает в жизни, а не наоборот?

— А как решили с Султановым?

Джурабаев нахмурился.

— Султанова пытаются вывести из-под удара. Абдуллаев настаивает, чтобы его послали на учебу. У нас ведь как порой получается: провалит человек работу, а его как товарища номенклатурного отправляют учиться. А потом дают должность поважней прежней, и он проваливает дело уже более крупное и ответственное. Есть люди, которые считают, что не человек красит номенклатуру, а номенклатура человека!

— Султанов будет только рад такому исходу дела! — с гневной иронией сказала Айкиз.— Ему не придется заново завоевывать утраченное доверие. На новом месте его снабдят готовым авторитетом, и он опять возомнит о себе бог знает что.

— Был я в обкоме,— досадливо морща лоб, произнес Джурабаев.— Говорил об этом с Абдуллаевым. Султанов, говорю, не оправдал доверия своих избирателей, пусть он и ответит перед ними за свои ошибки. Но Абдуллаев упрямится: «Нет, на это мы не можем пойти. Это был бы подрыв авторитета». — «Да Султанов же, говорю, сам подрывал свой авторитет». — «А я, товарищ Джурабаев, имею в виду авторитет не Султанова, а Советской власти». — «При чем здесь Советская власть? Не она ошиблась, а только Султанов!» — «Но ведь рекомендовал его обком? Обком. Следовательно, резкое осуждение Султанова было бы дискредитацией действий обкома. Единственный выход — подвергнуть Султанова дружеской партийной критике, разъяснить ему его ошибки и отправить на учебу.

Не будем выносить сор из избы, товарищ Джурабаев!» Хороша логика? Нет, с этим мириться никак нельзя.

— Как же так? Абдуллаев навязал нам Султанова, а теперь не желает признать свою ошибку?

— А как же! Ведь это тоже был бы «подрыв авторитета!» Эти деятели никак не хотят понять, что Султанов еще не Советская власть, а Абдуллаев, конечно, не партия.

— Они забывают о том, что партия наша сильна как раз тем, что умеет смотреть правде в глаза!

— Так, Айкиз... Так! Партия никогда не скрывала правду от народа!

У Айкиз упрямо и решительно сдвинулись брови, еще резче выступила складка над переносицей.

— Я так думаю, товарищ Джурабаев, не удастся Султанову спрятаться! Его надо послать на низовую работу, чтобы он на глазах у народа искупил свою вину перед ним. Так мы и поставим вопрос перед райкомом. Перед вами, товарищ Джурабаев!

— Ты права, Айкиз! Я так и думал, что ты будешь до конца непримиримой! Тогда не останется на нашем большом поле ни одного сорняка. Кстати, Абдуллаев мне заявил: «Дался, говорит, тебе этот Султанов. Ведь тебе-то он больше не будет мешать. Мы уберем его из твоего района». Утешил, называет! Из твоего района, — передразнил Джурабаев. — И тут меня взорвало. Крепко мы поругались с Абдуллаевым, ох крепко! Был я после этого у первого секретаря обкома, все ему высказал. Погорячился немного, видно, нервы сдали...

Айкиз удивленно посмотрела на вечно спокойного и рассудительного Джурабаева. Он перехватил ее взгляд и рассмеялся.

— Не веришь? Вот, мол, разоткровенничался секретарь. Да, Айкиз, разоткровенничался. Ведь и секретарь райкома человек, а не машина...

Они поднялись на холм, с которого когда-то обозревал свои владения Кадыров.

Справа, словно застывшая черная лава, лежала распаханная целинная степь. Она тянулась далеко-далеко. Где-то, у дальней ее кромки, трудолюбивыми муравьями ползали тракторы, поднимая новые и новые гектары. Созданные за это лето степные поселки в лучах осеннего солнца, еще яркого и жгучего, выглядели празднично нарядными.

Слева в осеннем убранстве красовался Алтынсай. Деревья пылали буйными красками увядания. Листва стройноствольных тополей обрела оранжево-красный оттенок. Куполообразные, словно обстриженные, кроны деревьев «сада», — как рыжий лисий мех. Урюковые сады отливали золотом, купы карагачей напоминали своей окраской огненно-алый закат. Алтынсай утопал в многоцветной кипении рыжих, желтых, золотых, алых листьев, которые ослепительно вспыхнули перед тем, как сгореть. Взгляд Айкиз остановился на кирпичном здании сельсовета. Над сельсоветом вилял красный флажок.

Прямо перед холмом расстилались хлопковые поля. Листья хлопка, убитые вечерними заморозками, уже опали. Поля были сплошь белыми. Хлопок, пенясь, выступал из раскрывшихся коробочек, где покоился недавно нежными лимонными дольками. В этом белоненном море медленно плыли хлопкоуборочные машины. Там, где не было машин, виднелись согнутые спины дехкан, собиравших хлопок в фартуки. В эти дни все, кто мог, вышли в поле: старики и молодые, хлопкоробы и горожане, мирабы и строители.

Уборка шла уже второй месяц, коробочки раскрывались одна за другой. На участках, где урожай, казалось, был уже весь собран, через несколько дней опять становилось белым-бело.

На дорогах в эти дни было шумно илюдно. От хирмапов, где сушился хлопок, тянулись арбы, доверху нагруженные тугими мешками. К хлопкопунктам мчались грузовики. По дорогам сновали «газики» и мотоциклы. Медленно шествовали верблюды с тюками хлопка по бокам. Садоводы везли к полевым станам дыни, арбузы, яблоки. Звучали песни арбакешей, слышался скрип колес, перезвон колокольцев...

Рожденные дружным, умным трудом, на хлопкопунктах росли горы хлопка.

Айкиз с холма хорошо были видны эти громадные, в пятьсот — шестьсот тонн каждый, хлопковые бунты, высокие, как Коктау, белые, как его заснеженные вершины.

Айкиз стояла зачарованная. Теплый ветерок шевелил складки ее простенького ситцевого платья, легкую косынку, не прикрывавшую кос, лепестки цветка, который она приколола к белой жакетке.

Из этого восторженного оцепенения ее вывел Алимджан. Он подошел, обменялся рукопожатием с Джурабаевым и с беспокойством, с упреком, ласково посмотрел на жену: ему казалось, что Айкиз не бережет себя, мало отдыхает, переутомляется...

— Как дела, раис? — спросил Джурабаев. — Чем нас порадуешь?

— Уборка идет к концу, товарищ Джурабаев. Обязательство выполним!

— Молодцы! Зря, выходит, каркали Султанов и компания: за двумя, мол, зайцами погонишься — ни одного не поймаешь. Народ — охотник умелый и сильный!

— Мы могли бы собрать и лучший урожай... — сказала Айкиз.

— Точно, товарищ Джурабаев! — подтвердил Алимджан. — Если бы нам не вставляли палки в колеса, хлопка мы вырастили бы больше. Пропало много хлопка на участке Молла-Сулеймана, сбросили часть цветов кусты и на участке Муратали. Не бури нам помешали, не нехватка рабочих рук, не трудности, помешали те, кто пугал нас этими трудностями.

— Помешали, создав трудности искусственные! — подхватил Джурабаев. — Сначала спорили с нами, спорили по принципиальным вопросам, а потом принялись умышленно чинить препятствия. И в этом есть своя логика. Если рутинер, консерватор восстает против нового, он вынужден действовать с помощью интриг. Что еще может он противопоставить законам нашей действительности? Кто борется за новое, тот заботится об общем благе! Кому новое не по нутру, кто видит в нем угрозу своему спокойствию, тот думает только о себе, о том, как бы сберечь свои привилегии. Когда такой любитель спокойной жизни вступает в борьбу против смелого плана, он не задумывается — а не помешает ли он людям в их борьбе за счастье? Он не разбирается в средствах, готов спекулировать даже на народной беде, она ему выгодна. Если бы буря погубила весь хлопок, противники нашего плана возликовали бы: «Ага, мол, голубчики, дождались! Так вам и падо». Вот к чему можно скатиться, позабыв хоть на миг о цели нашего дела, о том, ради кого, ради чего мы живем, работаем, боремся, позабыв о народе, о его благе! У Муратали, говорите, тоже пропал хлопок?

— У него небольшие потери, — сказала Айкиз, — но

сама эта история какая-то странная... Помните, вы спрашивали меня об Аликуле?

— Что-то не припомню... Но при чем он тут?

— Муратали, в пику своим мнимым недругам, назначил бригадиром Гафура — этот Гафур сейчас снова в тюрьме. Аликул, по словам Муратали, одобрил его назначение. А когда я спросила об этом самого Аликула, он от всего отказался.

— Действительно, странно. Ты сама-то что об этом думаешь?

— Я верю Муратали. Прав у него тяжелый, но это человек честный. Не мог он очернить Аликула.

— Значит, Аликул хитрит?

— Н-не знаю... Я к нему последнее время приглядываюсь.

— Смотри, от излишней доверчивости не спархнись к излишней подозрительности. Может быть, он ошибся в Гафуре и не решается признаться в ошибке. Это, конечно, никак его не оправдывает: ведь и этой ошибкой колхозу нанесен ущерб. Любой огрех, любой промах в работе ведет к ощутимым материальным потерям. Если в колхозе плохие хозяева, то колхозник недополучает за свой труд, государство терпит убытки. Растяпа доверил дело лодырю или жулику — опять-таки страдает народ, государство. Директор завода, заботясь лишь о выполнении плана, положил под сукно рационализаторское предложение — и тем украл у государства дополнительный доход. Болтун оторвал людей от дела пустопорожней речью,— значит, украл у них время, помешал созданию реальных благ. Упущенные, вовремя не использованные возможности — это тоже транжирство. Если ты сегодня мог сделать что-то полезное и не сделал,— значит, колхозник купит себе мотоцикл не завтра, а позже, зарплата у рабочего не возрастет. Мы говорим: человек плохо работает... Но ведь тем самым он, может, сам того не желая, по сути дела, обворовывает парод! Вот если бы каждый над этим задумался... Впрочем, я и сам, кажется, отнимаю у вас драгоценное время. Ты сейчас куда, Алимджан?

— Хочу проверить работу хлопкоуборочных машин. Колхозники к ним еще не привыкли. Надо убедить их в преимуществе техники! Сердцу больно, когда видишь согнувшихся над хлопком дехкан...

— Понимаю тебя, Алимджан. Мне теперь и во сне

сняты машины. Ведь на новых землях нам нужно много хороших машин. У тебя нет срочных дел, Айкиз? Не посмотрим ли новый кишлак?

— Чтобы похвалиться своим кишлаком, она все на свете готова бросить,— засмеялся Алимджан.— Я буду обедать на полевом стане, Айкиз. Приходи туда... Приводи с собой товарища Джурабаева, пообедаем вместе.

Джурабаев и Айкиз отправились в новый поселок.

Секретарь райкома шел по широкой, прямой, обсаженной деревьями улице. С любопытством оглядывал новые дома, прочные, уютные, на каменных фундаментах, под светлыми шиферными крышами. Стены были побелены, около каждого дома стоял столб — поселок был уже электрифицирован.

— Зайдем к кому-нибудь?

— Все на работе, товарищ Джурабаев.

— А кто это возится в саду?

— Это Муратали. Он упрямился дольше всех, а теперь, как только выпадет свободная минута, спешит домой, благо дом теперь близко. Занимается благоустройством. Зайдите к нему.

Муратали был не один. Он сегодня позвал к себе Халим-бобо. Садовод, невысокий, узкоплечий, в новых сапогах, в белом неподпоясанном халате, ставил саженцы в ямы, еще вчера вырытые Муратали, а хозяин что-то мыл, склонившись над арыком.

— Хормангляр! — сказал Джурабаев.

— Хормангляр! — сказала Айкиз.

Старики вытерли полами халатов руки, подошли к пришедшим, почтительно поздоровались.

— Как живетесь на новом месте, Муратали-амаки? — спросила Айкиз.

— Спасибо, дочка. Видишь, сколько у меня теперь урюковых деревьев. Земля тут хорошая, воды много. «Сто лет цвести твоему урюку», — говорил мне отец. А я и сам, дочка, хочу прожить до ста лет... Хочу коммунизм увидеть!

— Увидите, Муратали-амаки!

— Увижу, — согласился Муратали. — Коли так шагать, как в этом году, увижу! Жаль, отец твой не дожид до светлых дней...

Взгляд Айкиз затуманился. Джурабаев спросил Муратали:

— Что это вы там мыли, бригадир?

— Бог мой, да это же сандал! — удивленно воскликнула Айкиз. — Зачем вы притащили его в новый дом, Муратали-амаки? У вас же есть печка.

На берегу арка действительно лежал сандал, пыльный, закопченный, немало, видно, лет послуживший хозяину. Муратали упрямо сказал:

— Молода ты учить меня, дочка. Печка печкой, а без сандала старикам никак нельзя.

Айкиз стало и смешно и грустно...

Еще недавно сияли перед ней степные просторы, которые не охватишь взглядом. Когда смотрела она в необозримую даль, ей казалось, что она смотрит в будущее. Муратали прав: они сделали в этом году широкий, могучий шаг в будущее, к коммунизму! И этот же Муратали решил прихватить с собой в светлый завтрашний день память седой старины, сандал!

Целина поднята, но борьба не окончена, Айкиз!.. Тебе и твоим друзьям предстоит еще перепахать, очистить от сорной травы души иных твоих земляков. Много впереди новых трудных дел! Но тебе ли, Айкиз, бояться трудностей? У тебя тысячи, сотни тысяч верных помощников. Ты сознаешь это и потому так бодра, так уверена в успехе. В грядущих днях и далекой дали времен видятся тебе новые замыслы и свершения, борьба и победы...

Хормангляр, дорогие друзья!

1953—1958

ПОЯСНИТЕЛЬНЫЙ СЛОВАРЬ

Амаки — вежливая форма обращения, букв.— дядя.

Апа — почтительное обращение к женщине, букв.— старшая сестра.

Ападжан — сестрица.

Афтияк — учебник, который в мусульманских религиозных школах штудируют перед изучением Корана.

Дугар — струнный щипковый музыкальный инструмент.

Джанбыл (жапбил) — пахучее растение, чабрец.

Ичиги — мягкие сапоги.

Кавардак — жаркое.

Камзул — полухалат, полупальто.

Катаргал — таловая роцца.

Кок-чай — зеленый чай.

Комуз — струнный щипковый музыкальный инструмент.

Нават — сахар местного производства.

Най — флейта.

Райхон — ароматное растение, приправа к пице.

Сюзьма — кислое молоко.

Уткыр — острый.

Хандаляк — сорт дыни (ранней).

Чилим — курительный прибор, наподобие кальяна.

См. также пояснительный словарь I т. настоящего Собрания сочинений.

СОДЕРЖАНИЕ

СИЛЬНЕЕ БУРИ. Роман. Авторизованный перевод Ю. Карасева	5
<i>Глава первая.</i> Урюк в цвету	7
<i>Глава вторая.</i> Светлый родник	16
<i>Глава третья.</i> Письмо	25
<i>Глава четвертая.</i> На разных позициях	29
<i>Глава пятая.</i> Куй железо, пока горячо	39
<i>Глава шестая.</i> Перед наступлением	43
<i>Глава седьмая.</i> В сельсовет пришла девушка	57
<i>Глава восьмая.</i> В степи	61
<i>Глава девятая.</i> На переднем крае	70
<i>Глава десятая.</i> Тревожная ночь	79
<i>Глава одиннадцатая.</i> После бури	91
<i>Глава двенадцатая.</i> С народом горы своротим	98
<i>Глава тринадцатая.</i> Похождения Аликула	107
<i>Глава четырнадцатая.</i> Снова в Алтынсае	123
<i>Глава пятнадцатая.</i> На берегу канала	128
<i>Глава шестнадцатая.</i> Султанов философствует	145
<i>Глава семнадцатая.</i> Михри и Керим	162
<i>Глава восемнадцатая.</i> Прямая душа	168
<i>Глава девятнадцатая.</i> Человек-тень	175
<i>Глава двадцатая.</i> Статья	185
<i>Глава двадцать первая.</i> Труд — наше оружие	189
<i>Глава двадцать вторая.</i> Жить ему вечно	196
<i>Глава двадцать третья.</i> Ночь сменяется утром	200
<i>Глава двадцать четвертая.</i> Слово за дехканами	209
<i>Глава двадцать пятая.</i> На сердце светлеет	225
<i>Глава двадцать шестая.</i> Кадыров складывает оружие	234
<i>Глава двадцать седьмая.</i> На охоте	241

<i>Глава двадцать восьмая. Отец и дочь</i>	249
<i>Глава двадцать девятая. Абдуллаев принимает решение</i>	261
<i>Глава тридцатая. Кадыров остается один</i>	265
<i>Глава тридцать первая. Долгожданный день</i>	275
<i>Глава тридцать вторая. Прозрение Муратали</i>	280
<i>Глава тридцать третья. Борьба продолжается</i>	291
<i>Пояснительный словарь</i>	300

Рашидов Шараф.
Р 28 Собрание сочинений в 5-ти т.— М.: Худож.
лит., 1979.

Т. 2. Сильнее бури: Роман / Авториз. пер. с
узб. Ю. Карасева. 1979. 302 с.

В романе «Сильнее бури» действуют уже известные читателю, знакомому с романом «Победители», герои — Айкиз, Алимджан, Джурабаев... Столкновения характеров, конфликты идей и мировоззрений, и глубоко развитые, и только намеченные в «Победителях», во втором романе стали еще драматичнее и напряженнее, приобрели исчерпывающую смысловую законченность и литературную завершенность, подлинное эпическое звучание.

Р $\frac{70303-180}{028(01)-79}$ подписное

С (Узб)2

РАШИДОВ ШАРАФ РАШИДОВИЧ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

В 5-ти ТОМАХ

Том 2

Редактор

С. Князева

Художественный редактор

С. Данилов

Технический редактор

Л. Ковнацкая

Корректоры

Т. Крылова

и М. Пастер

ИБ № 1519

Сдано в набор 13.11.78. Подписано к печати 05.04.79. Формат 84×108¹/₃₂. Бумага типографская № 1. Гарнитура «Обыкновенная». Печать высокая. 15,96 усл. печ. л. 16,573 уч.-изд. л. Тираж 150 000 экз. Заказ № 3432. Цена 1 р. 30 к. Издательство «Художественная литература». Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19. Ордена Октябрьской Революции и ордена Трудового Красного Знамени Первая Образцовая типография имени А. А. Жданова Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. Москва, М-54, Валовая, 28